



ДРУЖБА НАРОДОВ



ДРУЖБА НАРОДОВ 3/2011

- *Илья ФАЛИКОВ*
Жидкость жизни
Стихи
- *Вячеслав ПЬЕЦУХ*
Базон Хиггса
Рассказы
- *Владимир НЕКЛЯЕВ*
Возвращение Веры
Повесть. С белорусского
- *Бернардас БРАЗДЖИОНИС*
Жизнь без края и без конца
Стихи. С литовского
- *Александр ДЖУМАЕВ*
Бухара: попытка постижения
непостижимого города

3'2011

ДРУЖБА НАРОДОВ



Независимый
литературно-художественный
и общественно-политический
журнал

3'2011

Учредитель — трудовой коллектив редакции «ДН»

Основан
в марте 1939 года

СОДЕРЖАНИЕ

Проза и поэзия

Илья ФАЛИКОВ. Жидкость жизни. Стихи	3
Вячеслав ПЬЕЦУХ. Базон Хиггса. Рассказы	8
ДВОЙНОЙ ПОРТРЕТ	
Георгий ЕФРЕМОВ. Отчизна ливня. Стихи	24
Йонас СТРЕЛКУНАС. Слитовского. Перевод Георгия Ефремова	
Владимир НЕКЛЯЕВ. Возвращение Веры. Повесть. С белорусского. Перевод Павла Антипова	27
Бернардас БРАЗДЖИОНИС. Жизнь без края и без конца. Стихи. Слитовского. Перевод Елены Печерской	73
Кирилл КОВАЛЬДЖИ. Моя мозаика. Рассказы	75
Мария РЫБАКОВА. Гнедич. Стихи	86
Григорий КАКОВКИН. Мужчины и женщины существуют. Роман. Окончание	90
Лариса МИЛЛЕР. На счастье намеков. Стихи	146

Публицистика

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ, СЛИШКОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ	
Елена ЧУМАЕВА. В районной больничке рядом с Москвой	148

Нация и мир

Ульви Мехти МАМЕДОВ. За рубежом	173
Александр ДЖУМАЕВ. Бухара: попытка постижения непостижимого города	187

Критика

Евгений АБДУЛЛАЕВ. В поисках героя утраченного времени.
Глеб Шульпяков и проза «тридцатилетних»

201

Книжный развал

Евгений СТЕПАНОВ. Эволюция души

212

Елена ЗЕЙФЕРТ. Десять шагов Бога

213

Евгений МОСКВИН. Песни на болоте

217

Эхо

Какой ты мне бог... Рубрику ведет Лев Аннинский

220

Summary

224

ИЗДАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНО ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО
АГЕНТСТВА ПО ПЕЧАТИ И МАССОВЫМ КОММУНИКАЦИЯМ И



МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО ФОНДА
ГУМАНИТАРНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА
НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ (МФГС)

Главный редактор
Александр ЭБАНОИДЗЕ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Лев АННИНСКИЙ, Леонид БАХНОВ, Наталья ИГРУНОВА, Галина КЛИМОВА,
Владимир МЕДВЕДЕВ, Леонид ТЕРАКОПЯН (заместитель главного редактора)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Рамазан АБДУЛАТИПОВ, Вячеслав АР-СЕРГИ, Сухбат АФЛАТУНИ, Муса АХМАДОВ,
Резо ГАБРИАДЗЕ, Алла ГЕРБЕР, Денис ГУЦКО, Иван ДЗЮБА, Валерий ИСХАКОВ, Александр
КЛЯЧИН, Валентин КУРБАТОВ, Ольга ЛЕБЕДУШКИНА, Давид МУРАДЯН,
Захар ПРИЛЕПИН, Кнут СКУЕНИЕКС, Валери ТУРГАЙ, Сергей ФИЛАТОВ, ЭЛЬЧИН,
Леонид ЮЗЕФОВИЧ

© «Дружба народов», 2011

Илья Фаликов

Жидкость жизни

На Тверском

Получили свое, повернули оглобли,
от ворот поворот. На Тверском
ИТАР—ТАСС надрывался, мобильники глохли,
прыскал молнией Ростелеком.
Пожилых фонарей, не внимающих ору
из овечьих девических уст,
недостало согреть сорняковую флору,
и звезда не упала без чувств.

На Тверском? Чудный вид, Божий сад, уголовка,
безотцовщина в оба конца,
перегар, передоз, перманентная ломка —
наша смена, баран и овца.
В водостоках журчит, натекая на пятки,
жидкость жизни и запах ее —
сам ты, сам на бегу разбросал без оглядки
бесконтрольное семя свое.

На рассветной скамейке, под гам воробыный,
никого — кроме тени своей —
не нащупывал рядом, и щечной щетины
не касался еще брадобрей.
А в кофейне у грека играли в орлянку,
чистил горло индейский петух,
Маяковский тянул триумфальную лямку,
Ходасевич проигрывал в пух.

Прямиком на скворчиные фиоритуры
в неформатно коротком плаще
весь апрель референтка из прокуратуры
шум сирени несла на плече.
За чугунной решеткой большого балкона,
где царили допрос и вещдок,
из какого такого давали флакона
абсолютной свободы глоток?

Фаликов Илья Зиновьевич — поэт, прозаик, литературный критик. Родился в 1942 г. во Владивостоке, где окончил университет по специальности филология. Печатается с 1964-го. Автор 9 книг стихов, в т.ч. «Олень», «Ель», «Сговор слов» (2009, совм. с Н.Аришиной) и др., 4 романов прозы и книги эссе «Прозапростихи» (2000). Лауреат нескольких литературных премий. Живет в Москве.

Пел в зажиточном Дойчланде хор безработных,
на себе разрывал воротник
Эйяфьятлайокудль непроизносимый,
бессловесный по жизни ледник.
Белобашенным пеплом застлало планету,
пополняя замолчанный счет
безответственно пропитых авиарейсов
и полученных сверху щедрот.

Польский борт из гранита смоленского высек
пламя факельной яркости, чтоб
неизвестный украл двадцать восемь сосисок
в тайниках ресторана «Стар Дог».
У «Макдоналдса» ходит влюбленная пара,
Апокалипсис ходит не там,
но сквозит из подвалов снесенного бара
разводненного мозга фонтан.

А столица стоит, где тебя не стояло,
приобщая к вселенской туфте,
чтоб с наемным убийцей любезничать вяло,
на одном подымаясь лифте.
А скажи-ка еще: Эйяфьятлайокудль,
а заплачь на бегу ни о ком,
а зачем тебя фьордовой дымкой окутал
фосфорический свет на Тверском?

* * *

Памяти А.М.

Угловая акация на концовке бульвара
расцвела с опозданием, все равно сухопара,
до поры совершенно суха.
Было молодо-зелено, и пахуче, и густо,
весь бульвар закипающий — то ли речь златоуста,
то ли просто морская уха.

Угловая акация зеленеть не хотела
и в глубокой подагре стариковского тела
по весне продолжала скрипеть.
Костью в горле стояла, ни полушки не стоя
меж граффити, которые из пластов мезозоя
притащила рыбацкая сеть.

Не останется в памяти бульвардье голозадых
эта нота, растущая на столетних досадах,
этот стон, этот старческий скрип,
хрящ гортани в скоплениях горной породы,
иероглиф Творца, сей костяк полоротый,
голос доисторических рыб.

Угловая акация, ветеранская кляча,
у причальной стены не исторгшая плача,
ни с того ни с сего расцвела.
Окровавленный выкидыш, эмбрион большелобый,
дым креста твоего, поглощенный трущобой,
долетел до родного угла.

* * *

В девяностом году в магазине «Табак»
табака не бывало в помине,
человек озирался на мусорный бак —
запах бунта стоял в магазине.
Кроме запаха не было там ничего,
потому как табличка «закрыто»
на ничтожные ценности мира сего
положила с прибором, — забыто.

Но из каторжных нор дымовая струя
и кромешная туча вставала —
перекрыла дорогу толпа, состоя
из теней Беломора-канала.
Досмолили свои самокрутки зэка,
совершая бессрочную ходку,
и, похожа на ветку, сухая рука
потрясала талоном на водку.

А дорога летела к ларьку, например,
мимо будущих транспортных пробок —
там толкался, допустим, Борис Мессерер
с Александром Сопровским бок о бок.
А конвойных овчарок залиvistый лай
задохнулся. Теперь на Арбате
дым столбом и пойла хоть залейся — гуляй.
Отчего бы и не погуляти?

* * *

Плащом не прикрытую шею осенний Арбат холодит —
сквозит, и бумажному змею открыл перспективу зенит.
Достигли небес переростки среди устоявших деревьев,
а ты на пустом перекрестке
останешься, окаменев.

Ходить тебе больше не надо куда-то, с поклажей и без,
и за соблюдением ряда следит на посту ДПС,
и не перестроиться джипу, летящему без тормозов, —
и влипшему в дерево випу
досталась утечка мозгов.

Нормальная точка обзора, и вроде соринки в глазу
застряло биение курсора, который не выбьет слезу.
Лишь ветер раззяву достанет, хрусталиков не пощадя,
и башня до облака встанет
без плотника и без гвоздя.

Среду зафиксировал в оба — дрожит на ветру небоскреб.
Скорее всего, с небоскреба пыль времени ветер нагреб.
Сквозит. Относительно хмурый, вернешься в пустое жилье.
Скула твоя — сколок скульптуры.
Разодрано сердце твое.

* * *

Песенки летят, пеночки летят, песенки летят.
Матери поют, папеньки мычат, пасынки молчат.
За каким кустом материнский дом,
за каким кустом?

Хлеба накрошу, выскочу на снег — ты куда, снегирь?
Снова за Можай? Иль за Израиль? За мою Сибирь?
А ступает там на мои снега
не моя нога.

А мороз трещит, а заря горит, а бездомный пес
на тебя глядит, за тобой бежит, совершает кросс.
Говорят о том, что барбос не слаб,
отпечатки лап.

Существует мощь белоствольных рощ, колокольных чащ.
А тоска как клещ, а закат зловещ, а певец пропащ.
Материнский дом — за каким кустом
материнский дом?

Ты куда, снегирь? Там глядит в бутыль и подсел на штырь,
и сломал костыль, и ушел в кусты русский богатырь.
А его оттель зазвала в постель
ель-фото модель.

Песенки летят, лебеди летят, песенки летят,
дети солнца спят, золотых ребят не томит распад.
А его и нет, успокойся, брат,
говорят.

* * *

Где томились Орфей и Овидий,
а Тарковскому было легко,
море, ставшее супом из мидий,
за парное сошло молоко.
Козье млеко похоже на птичье.
Белым облаком стала коза.
На приветственном спиче
захлебнулась гроза.

Птичье млеко похоже на козье.
Не о музе ли сказ?
Как косарь о покосе,
о козе — козопас.

О словесной полове
вижу тяжкие сны,
то есть жилы воловьи
мне на струны нужны.

Будьте, Фракия, Гиперборея,
нефтегазовые севера!
Щелкоперством боля,
не бросаю пера,
ибо сам буду брошен
в мировой океан,
на перуны не прошен
и на звезды не зван.

* * *

Плохая погода дана для того,
чтоб сплавить убожество и божество,
точней говоря — для стиха.
Сиди себе в башне, сегодня твоей,
оплачь человека в сезоне дождей,
слеза совершенно суха.

А черное море шумит на дому,
а черная молния в белом дыму —
как трещина на потолке.
А выскочишь к небу, что сажи черней,
останется там от кроссовки твоей
протектор на черном песке.

Похоже, уже никому не нужны,
на гребне прибоя лежат пацаны,
как выкидыши нереид.
Кто выпустил их без призору, одних?
Над жизнью твоей, исходящей от них,
русалочий хохот стоит.

Уборка территории

Совковая, садовая и прочая лопата
в корявости спины моей бесспорно виновата.
А тачка — просто чудище, и гнет ее жесток.
Уборка территории, тяжелый ты песок.
Сезонные работнички, бухие на заре,
сырую кучу вечности оставят во дворе.
Зачем, к примеру, сетовать на местную печать,
чего-нибудь за кем-нибудь имея подчищать?

Пернатые, объятые безоблачностью синей,
увлечены цветением сиреней и глициний.
Пока свежак орудует, упал в морской кювет
на лебедь белогрудую акациевый цвет.
А эта птица белая, а этот жадный зверь
в небесное отечество распахивает дверь.
Мослы мои проевшая зеленая тоска
намного отвратительней тяжелого песка.

Песок, однако, сыплется в течение полета
из алеманда старого. Нормальная работа.
Короче, встань до времени, возьми за черенок,
свое вспомни тулово, упрись на сваи ног,
и ты ходил в бетонщиках, и ты из-за ворот
смотрел на пастернаковский рабочий огород.
На внутренние качества не будем упирать,
и кто-то будет, кажется, за нами убирать.

Редакция ДН пользуется случаем поздравить
нашего постоянного автора и друга журнала
Вячеслава Алексеевича ПЬЕЦУХА
с присуждением ему российской независимой премии
поощрения высших достижений
литературы и искусства «Триумф».

Вячеслав Пьецух

Базон Хиггса

Рассказы

История вещей

Жили мы себе жили, перебиваясь с петельки на пуговку, и вот в самом начале 60-х годов прошлого столетия вдруг настала пора народных восторгов по поводу рая на земле (не на всей, конечно, а в пределах от Салехарда до Кушки и от Бреста до Колымы), который нам торжественно пообещал узкий синклит вождей, некогда выбившихся из разнорабочих и пастушков.

Что за рай, на каких основаниях нам предстояло в него ввалиться, как мышь в крупу, никто тогда толком не понимал, но вся штука была в том, что вожди сулили народу всеобщее и безразмерное счастье не на морковкино заговенье, а чуть ли не к будущим выходным. Получалось, что вроде бы не сегодня завтра машины заменят людей у рабочих мест, и освобожденный человек, отмеченный уже некоторыми признаками совершенства, получит взамен право на даровые увеселения, провизию и штаны.

Ну, выдающаяся чепуха, даром что в нее поверил и стар и млад, поскольку мы народ легкомысленный и, можно сказать, несколько не в себе. Во-первых, с машинами дело обстояло довольно туго, во-вторых, наш металлист, воспитанный на коммунальной кухне, имел обыкновение безобразничать в будни и праздники, да еще регулярно напивался по обе стороны проходной. Но главное, и у мусульман представление о рае было куда внятнее, чем у нас, социал-агностиков, (все-таки гурии — это вполне конкретно), и у христиан фигурировало ложе Авраамово, и буддисты уповали на мудрое небытие, а наши вожди придумали черт-те что: распределение якобы по потребностям вместо распределения якобы по труду. Наверное, они нас считали за дураков, что было отчасти и справедливо, или они сами на старости лет окончательно запутались и не ведали, что творят.

Как бы там ни было, народные восторги, вызванные праздничным ожиданием чуда, имели одно странное следствие — люди стали выбрасывать на помойку старые вещи, как то: штучную мебель, гарднеровскую посуду, лежалую одежду вплоть до придворных мундиров, шитых серебряной канителью, шандалы и подсвечники из фразе. Много лет спустя они рвали на себе волосы, потому что, продав какое-нибудь канапе эпохи императрицы Елизаветы, можно было купить себе самолет, но в 60-е годы об этом как-то не думалось, не гадалось, и народ с легким сердцем избавлялся от старины. Рассуждали так: уж если новая, сказочная жизнь стучится в дверь, то и вещи пускай будут новые, так или иначе отрицающие распределение по труду.

В эту пору из семейного обихода стали исчезать предметы, о существовании которых нынешнее поколение даже не подозревает, и сейчас уже никто не скажет,

если не считать зажившееся старичье, что такое «подзор» у кровати или «бутоньерка» на лацкане пиджака. В домах у людей стало просторней, но как-то пустынно, однообразно и невыразительно, словно в зале ожидания где-нибудь у черта на рогах, а впрочем, новое веяние вполне отвечало духу того времени, когда богатейшая страна прозябала в поголовной бедности и вожди культивировали ту спасительную идею, что счастье не в деньгах и не в вещах, а в чем-то другом, воздушном, неосязаемом, даже несказуемом, но только не в деньгах и не в вещах. Кто бы мог подумать, что и тридцати лет не пройдет, как откроется простая истина: счастье как раз в вещах.

Отчего да почему — это особенный разговор. Нужно начать с того, что в отличие от плоти человеческой вещь нетленна, по крайней мере, она значительно долговечней своего создателя, и какой-нибудь хрупкий кузнецовский соусник способен пережить десять поколений отъявленных едоков. Потом: ежели человека закопать, то он уже ничего не расскажет, а вещь может поведать о разных разностях, хоть она тысячу лет пролежи в земле. Наконец, вещь нужно любить и лелеять уже потому, что она обеспечивает связь эпох, и никто не чувствует себя несчастным, заброшенным во времени и в пространстве, если сидит на стуле, который прапрадед в суматохе выкрал из барских хором, когда односельчане подпустили лиходею «красного петуха». Я, во всяком случае, хотя и живу бобылем, нисколько не чувствую себя потерянным, одиноким и отчасти по той причине, что в моем доме имеется ряд вещей, которые ведут свою историю, если не от царя Гороха, то уж точно от императрицы Елисавет.

Не думаю, чтобы мои покойные родители были дальновиднее прочих, а скорее поленивей да победней и поэтому сохранили в неприкосновенности дедовское наследство, состоящее в дряхлой мебели, кое-каких артефактах и разных знаменательных мелочах.

Например, у меня в кабинете стоит секретер Александровской эпохи, украшенный медным орнаментом, со множеством ящичков и с выдвижной столешницей, крытой зеленым сукном, за которой хоть читай, хоть пиши, хоть поверяй счета. Правду сказать, этот секретер мне за ненадобностью оставила моя бывшая жена, и поэтому он прямого фамильного значения не имеет, но прадед жены был почтовым чиновником десятого класса по тогдашней Табели о рангах и, видимо, в пору выкупных платежей¹ приобрел секретер у какого-нибудь *продувшегося помещика*, которые тогда кутили, как перед Судным днем

В ящичках секретера с левой стороны я храню счета, фотографии, вырезки из газет, художественные открытки, коллекцию почтовых марок в класерах размером с записную книжку и разные документы, как то: свидетельства о смерти обоих родителей, паспорт, военный билет, водительские права. Потайной же ящичек, так хитро устроенный, что его не отыщет самый искусный вор, служит у меня заместо копилки для мелочи, и когда ее набирается порядочно, я иду с холщовым мешочком пить пиво в заведение под названием «У Петровича», и официанты сразу разбегаются, как только завидят меня в дверях. Полагаю, что во время оно в этом ящичке прятали связки любовных писем, отнюдь не предназначенных для глаз ревнивой супруги, и какой-нибудь отставной корнет и мелкопоместный дворянин Модест Аполлонович Приходько-Скоропадский перечитывал их на старости лет при спермацетовых свечах и глотал внутреннюю слезу. Это было, если было, весьма давно, когда еще существовал эпистолярный жанр, то есть когда люди писали друг другу письма, и более того — хранили их, обвязанные голубой тесемкой, паче, чем расписки и векселя. Иисусе Христе! как с тех пор опростилась жизнь.

В ящичках с правой стороны до сих пор лежат старинные вещицы, которые как изначально лежали, так себе и лежат. Среди них: карандаши фабрикацией известного пройдохи Арманда Хаммера, нажившего себе состояние при большевиках, печатка с вензелем, акварельные краски фирмы «Песталоцци», бонбоньерка «Товарищества А.И.Абрикосова Сыновей», золоченые пуговицы от мундира «гражданских инжене-

¹ Имеется в виду компенсация, которая выплачивалась землевладельцам в связи с манифестом от 19 февраля.

ров» и «секретка», представляющая собой что-то вроде почтовой открытки, только миниатюрная, в пол-ладони, которыми обменивались гимназистки и гимназисты, поскольку непосредственные контакты были исключены; на «секретке» написано вечное — «Сам дурак!!!»

Уже сколько лет прошло, как перемерли последние гимназисты, умевшие шаркнуть ножкой, и гимназистки в коричневых платьях по щиколотку и черных фартуках с обрезанными крыльями на плечах, а вещи, оставленные ими, все дышат и, кажется, источают человеческое тепло. Вот именно что род людской ненадежен, а вещь — субстанция положительная, прочная, хотя и намекающая на бренность личного бытия.

Лет так, наверное, сорок с гаком я храню и таскаю за собой с квартиры на квартиру, казалось бы, совершенную чепуху, а именно брюки-«дудочки», перешитые из байковых шаровар, в которых зимней порой ходили физкультурники и прочая гражданская молодежь. Эта вещь у меня появилась в ту пору, когда наши девушки носили шляпки-«менингитки» и прически «лошадь хочет какать», а шпана щеголяла в хромовых «прохарях»¹.

Интересное было время: инвалиды, обезноженные по пах, оседлав тележки на подшипниках, сновали туда-сюда (они потом куда-то вдруг подевались, точно их ветром сдуло), в магазинах по окраинам было шаром покати, если не брать в расчет консервированные крабы «чатка», развесную паюсную икру и водку, кажется, за двадцать рублей с чем-то, запечатанную коричневым сургучом; только-только снимали портреты людоеда Сталина, еще в ходу были трофейные патефоны, еще газета «Правда» стоила тридцать копеек и была нечитабельна, как катехизис, наши учителя носили одинаковые костюмы из темно-синего бостона, и старшеклассники на своих вечеринках декламировали лирические стихи. Но уже что-то новое, живое носилось в воздухе, и вдруг появилась мода, как летающие тарелки появляются, как феномен, доселе неведомый в народе, заикнувшись на строительстве и борьбе. Тут-то и возникли ниоткуда шляпки-«менингитки», а парни принялись самосильно обуживать брюки, чтобы в них невозможно было влезть без специальной подготовки, и за такое вольтерьянство их срамили на комсомольских собраниях, ставили двойки за поведение и вызывали на педсовет. Потом у девочек пошла мода на синтетические чулки без шва, а у нас на черные рубашки, красные носки, стрижку «под бобрик» и остроносые башмаки; самые дешевые из таковых стоили около десяти рублей новыми деньгами, а самые дорогие — целых двадцать четыре целковых, и в простых семьях эту сумму было не потянуть.

Властям придерживающим эти модные веянья страсть как не понравились, точно они в них учуяли пролог к угасанию веры отцов и дедов, и тогдашние газеты согласно окрысились на юнцов, которые не разделяли идеи униформы и нищеты. Словом, крушение империи, как это ни странно, наметилось задолго до смерти «трех толстяков»², ушедших один за другим по манию Указующего Перста, а именно в ту пору, когда на брюки-«дудочки» перешли нынешние управленцы, магнаты и беглецы.

Как все же переменчива жизнь в России. Кажется, еще вчера мы, красногалстучники, делали ручкой перед портретом всемогущего грузина, а сегодня опасаясь выйти из дому по вечерам; неизменными из века в век у нас остаются только казнокрадство и дураки.

Вот бальный веер, доставшийся мне от бабки, костяной, инкрустированный перламутром, с петелькой для руки из шелкового шнура. Вообще мой род из простых, а прабабка по матери даже была чернососенная³ крестьянка Серпуховского уезда Московской губернии, но однако же ухитрилась дать своей дочери приличное образование, и моя бабка выглядит на пожелтевшей фотографии совершенно барыней в длинной юбке строгого покроя, в блузке, видимо, из батиста, с часиками на *длинной*

¹ На *фене* — сапоги с отворотами желтой изнанкой наружу.

² Генеральные секретари — Брежнев, Андропов, Черненко.

³ Крестьяне, состоявшие в собственности государства.

цепочке, носившимися на манер медальона, и в шляпке с пером, сдвинутой несколько набекрень.

Воображаю ее на балу... Нет, сначала вот о чем: это все выдумки, что в сословной России простой народ только водочкой занимался и день-деньской трудился на капитал. При последнем Романове в больших городах пооткрывались Народные дома для фабричных, извозчиков, белошвеек и прочей урбанизированной бедноты, где давали оперу и певал сам Шаляпин, в царские дни простонародью устраивались балы, даже и по окраинам обеих столиц и в совсем незначительных городах; как нигде в Европе, существовали бесплатные библиотеки, и книги стоили гроши благодаря почину Ивана Сытина, а мой родной дед, обыкновенный московский обыватель из дмитровских крестьян, по праздникам ходил во фраке и фетровом «котелке».

Так вот, воображаю мою бабу на балу: танцевальная зала, освещенная тремя хрустальными люстрами с настоящими восковыми свечами, как в церкви, музыканты, засевшие на антресолях, настраивают инструменты, публика в праздничном платье, и моя юная бабка со своим костяным веером в руках, посредством которого, между прочим, пока то да се, барышни объяснялись с кавалерами на специальном, так сказать, веерном языке; сделает веером так — «вы коварный обманщик», сделает сяк — «ваше красноречие сводит меня с ума». Тем временем распорядитель танцев, совершенно особенная фигура с огромным белым бантом на груди, носится как угорелый, потирая при этом руки, и вдруг как заорет:

— *Monsieurs, engagez vos dames!*¹

Тотчас молодые люди подлетают к барышням согласно расписанию, заранее начертанному на целлулоидном манжете химическим карандашом, и «пошла писать губерния», как язвил Павел Иванович Чичиков, который, как известно, сроду не танцевал.

Первым номером всегда «польский», это либо:

Александр, Елизавета,
Восхищаете вы нас...

или:

Гром победы раздавайся,
Веселися, храбрый росс...

Танцоры берутся за руки и парами, плавно, легко, движутся друг за другом, акцентируя шаг правой ноги, а музыка плывет под потолком, производя в публике сдержанное ликование и приятную немоту. Моя бабка в четвертой паре, торжественно-бледная от волнения, об руку с «белоподкладочником»², вот-вот свежим выпускником медицинского факультета, который метит в кандидаты³, состоит в партии социалистов-революционеров и пьет исключительно хлебный квас.

Любопытно, что история танца, равно как история вещей, до удивительного иллюстративна к обратной эволюции человека от мыслящего и духовного существа до примата, умеющего говорить и передвигаться на двух ногах. Во всяком случае, танец еще недавно был формой общения между полами посредством пластического искусства, а нынешний юнец, не сказать — танцует, а скорее, как зулусский шаман, бесится сам с собой.

А вот книга 1802 года издания, напечатанная на голубоватой бумаге, плотной и грубой, как оберточная, в кожаном переплете, с золоченым обрезом и библиотечным штампом на титульном листе, который естественным образом стерся за двести лет. Это — «Полидор, сын Кадма и Гармонии» сочинения Михаила Хераскова, некогда знаменитого версификатора и прозаика, прославившегося еще в царствование императрицы Елизаветы; он дрался на кулачках с поэтом Сумароковым, площадно

¹ Господа, приглашайте ваших дам (фр.)

² Своекоштные студенты, как правило, из дворян.

³ На советский салтык — «красный» диплом.

ругал Ломоносова, был замечен во многих неблагоприятных поступках и, в конце концов, упокоился на кладбище Донского монастыря.

Его могильный камень озаглавлен такой эпитафией:

Здесь прах Хераскова. Несчастливая супруга

Чувствительной слезой приносит дань ему...

— как дальше, не разобрать.

Человек ушел еще до нашествия «двенадцати языцев» под началом Наполеона, уже поди и косточек его не осталось, как от Гоголя¹, а камень с эпитафией все стоит, и книги его живут, хотя это чтение неблагоприятное и от него впадет в катарсис разве что узкий специалист. Вот наугад открываю роман на 33-й странице и читаю, надев очки:

«Долгое время надлежало бы пробыть Полидору в скитаниях, если бы хотел он внимательно рассматривать всю подлежащую его любопытству тайну, которая благоденствию царства Мавританского споспешествует; но царь Фивский, как благорассудный юноша, обращал свое внимание токмо на изящественнейшее в его путешествии — на человеколюбивые нравы, на нравы общему благу толико потребные, и наблюдение коих иногда в небрежении оставляют; а сие послабление не редко гибель государствам приключает; ибо ни науки, ни художества, ни слава, ни изобилие блаженства народу не доставят, когда пороки в царстве укоренятся и развраты обузданы не бывают...»

Первое, что приходит на ум: художественная литература со временем становится все более совершенной, то есть все более и более превышающей возможности обыкновенного человека, и действительно требует от читателя хорошего вкуса и взыскующего ума.

Второе, что приходит на ум: по историческим меркам, совсем *недавно писатель* считал свою миссию совершенно исполненной, если ему удавалось изобразить типичного современника или быт городских низов, на что, в сущности, способен почти каждый культурный человек, располагающий досугом и, главное, имеющий острый глаз. Но со временем, в силу неясных пока особенностей человеческой природы, изящная словесность забирается в такие дебри сознания, так скрупулезно разбирает по винтикам механизмы общественного и личного бытия, что литературный труд становится достоянием считанных единиц; эти ненормальные обыкновенно бывают отмечены неким божественным недугом, вроде падучей, сопровождаемой просветлениями, которой страдали Достоевский и Магомет. Таким образом, литература XVIII столетия — это сравнительно баловство. Даже Пушкина, первенца «золотого века», сочинившего, в частности, изящные анекдоты под вывеской «Повести Белкина», так и не осенило, как в прозе делается нечто из ничего.

Но какова же была моя оторопь, когда я обнаружил в томе Хераскова, между 164-й и 165-й страницами, раздавленного клопа. Останкам, возможно, было лет двести с лишком, и бедная тварь пала под чьим-то безымянным пальцем еще в первые годы царствования Александра Благословенного, когда эти зловерные насекомые безнаказанно населяли и хижины, и дворцы. Особенно иностранцы жаловались, что от «краснокожих» по русским гостиницам нет житья.

Исчезли клопы только в середине XX века, и я сам отлично помню, как школьником безрезультатно травил их керосином и от отчаянья подставлял под ножки своей кровати жестяные банки, наполненные водой. (Вода была для этих кровососущих непреодолимой преградой, но тогда они наводрились десантироваться с потолка.)

Так вот, даже от древлероссийского клопа осталось пятно ржавого цвета, навещающее на исторические реминисценции, и от зачинателей национальной литературы остаются плохие книги, которые, несмотря ни на что, возбуждают мысль. А от большинства русских людей, век живущих на положении смертников, ничего не остается, кроме старого пальто и пары стоптанных башмаков. Но пальто пустят на ветошь, башмаки выкинут на помойку, и тогда уже ничего не останется, ни синь-пороху, потому что у нас не любят валандаться с барахлом; Россия все-таки не Шотландия,

¹ В 30-х годах на Новодевичьем кладбище перезахоронили только берцовую кость великого писателя и один домашний тапочек, шитый чуть ли не серебром.

где в каждой приличной семье хранится как зеница ока, скажем, прапрадедушкино копье. Оттого-то у нас до сих пор не умеют улицы подметать.

В детстве и отрочестве я почему-то подозревал, что до меня не было ничего. Что, то есть, до моего появления на свет Божий не было ни Крестовых походов, ни Ивана Грозного, ни энциклопедистов (я уже тогда читал Вольтера и Монтескье), ни сражения при Бородине, ни коллективизации, а все эти злоключения выдумали взрослые, чтобы было за что получать двойки и вообще интересней жить. Ничто не могло сбить меня с того пункта, что история человечества началась в день моего рождения, а мать с отцом, рассказы, учебники, музейные экспонаты — это все для отвода глаз.

От этой теории я отстал только после того, как нашел в ящичке для мелких семейных реликвий обыкновенную вещь — допотопную бензиновую зажигалку, которыми мало пользовались старозаветные курильщики, предпочитавшие спички из Череповца, бог знает с какой стати «порта пяти морей». Зажигалка была стальная, рифленая, с поизносившимся колесиком для высекания искры, но главное — на ней был изображен германский орел со свастикой в когтях, из чего явно следовало, что Великая Отечественная война — отнюдь не баснословие, а такой же непреложный факт, как, например, мое новое пальтецо.

Не скажу, что со мной случился переворот, но я уже много серьезнее относился к преданиям старины. Во всяком случае, я поверил, что в нашем роду действительно воевали все мужчины, за исключением моего деда, очень тогда пожилого человека, которого не взяли даже в народное ополчение, что мой дядя, моряк, покоится на дне таллиннского залива, что мой крестный отец семь лет топил на «каталинах»¹ финские и немецкие подводные лодки, отделавшись при этом одной царапиной на запястье, что мой прямой отец бывало неделями размачивал в лужах окаменевшие сухари, чтобы не умереть с голоду, когда не было подвоза продовольствия, что мои старики, оставшиеся в Москве (матери было тогда семнадцать лет), питались картофельными очистками, которые они подбирали на задах офицерской столовой и ближних госпиталей.

До сих пор диву даюсь, вертя в руке немецкую трофейную зажигалку, — до чего же несгибаемый мы народ; причем как бы между делом несгибаемый, обиходно, в силу, что называется, производственной необходимости, а не потому, что мы такое геройское племя, которому самые страшные испытания нипочем. Ведь немец в прогулочном режиме подмял под себя пол-Европы, гордую Францию в две недели покорил, а на России обжегся, уже разгромив регулярную Красную Армию, которой руководили неучи и разгильдяи, уже осадив обе столицы и прогнав всю нашу промышленность на восток. Вернее сказать, немец обжегся на русском народе, который говорит: жив не буду, а себя докажу.

Правда, мы себя показали не с лучшей стороны, когда вступили в пределы Рейха и принялись подчистую грабить мирное население, набивая солдатские «сидоры»² невиданными заграничными штучками, — но это у нас в крови. Впрочем, разбою находилось веское оправдание, дескать, будете знать, как вывозить из родимой страны что ни попадя, включая наш сказочный чернозем.

С тех пор у нас в домах завелись *штучки*: немецкие и швейцарские *наручные часы*, «вечные» перья, мельхиоровые щипчики для сахара, бритвы «жиллетт», а у меня образовалась немецкая бензиновая зажигалка, которую отец, поди, отобрал у какого-нибудь Ганса, кутившего по случаю войны никудашные болгарские сигареты, — и поделом, чтобы неповадно было ходить на Русь.

В нашей семье не осталось фамильных драгоценностей — все проели. Вроде бы откуда им было и взяться, если моя бабка всю жизнь занималась хозяйством и воспитывала детей, а дед был рядовым бухгалтером на красильной фабрике и зарабатывал только-только на прожитие. А ведь были; был браслет с камнем червонного золота, нательные крестики и с полдюжины колец, то же самое золотые, дамский

¹ Гидросамолет американского производства.

² Запленный мешок из брезента, заменявший ранец.

кошелек, вязанный чуть ли не из платиновой канители, несколько империалов и полуимпериалов николаевской чеканки и даже столовое серебро.

Все проели; в пору перманентного голода, который из видов мировой революции и острастки ради учинили народу большевики, мои предки снесли в «Торгсин»¹ все, что было ценного в доме, включая столовое серебро. В благодарность за сочувствие революционному подполью в Португалии народ получал в этом заведении нитки, патефонные иголки, пшеничный хлеб, настоящую колбасу, цитрусовые и селедку-«залом», такую огромную, что при засолке в бочках ей заламывали хвосты.

И все же кое-что осталось из того, что нынче имеет стоимость не столько материальную (хотя и материальную тоже), а больше как снадобье для ума.

Например, часы, которых мне досталась такая уйма, что это даже и неловко во многих отношениях, поскольку, во-первых, каждые полчаса в доме стоит колокольный звон, как на Пасху, который наверняка тревожит соседей, во-вторых, они тикают, точно капают, и постоянно напоминают мне о том, что капля за каплей проходит жизнь, в-третьих, новый человек может подумать: а хозяин-то либо коллекционер, либо несколько не в себе.

Есть у меня часы с кукушкой, обыкновенные настенные часы фирмы «Павел Буре», часы каминные, изображающие всадника в полном боевом облачении, есть настольные в виде пригорюнившегося мальчика — эти каслинского литья, есть бабушкины нагрудные часики, переделанные в медальон, но уже без цепочки, давным-давно проеденной в «черный день»; в медальоне сейчас помещается миниатюрная фотографическая карточка моей бывшей супруги, когда она была еще молода и в своем уме.

Особенно любопытны массивные карманные часы из чистого серебра, которые играют «Коль славен наш господь в Сионе» и каждые *полчаса* *издают* характерный звон. На внутренней стороне крышки имеется гравировка: «Фейерверкеру 4-й батареи береговой артиллерии за отличие в примерных стрельбах в высочайшем присутствии — контр-адмирал Колчак». Так и вижу эту самую батарею: ветрено, орудия, тяжелые, как бегемоты, тускло поблескивают на осеннем солнце, возле них суетятся артиллеристы, держа в зубах ленточки бескозырок, за ними наблюдает контр-адмирал Колчак с профилем молодого Сулеймана Великолепного, в стороне, сложа руки за спиной, стоит государь в мундире капитана 1 ранга, а рядом с ним неразлучный Нилов, командир императорской яхты «Штандарт», с фляжкой шустовского коньяку за голенищем лощеного сапога. Государь:

— Здорово, ребята!

— Здр жел ваш импер ве-ли-чест-во!

Отмеченный фейерверкер — мой двоюродный дед Петр Петрович, который после участвовал в кронштадтском избиении офицеров, воевал у «красного генерала» Сорокина, расстрелянного за многочисленные безобразия, работал в наркомате тяжелой промышленности у Орджоникидзе и в 50-х годах был похоронен на Рогожском кладбище, хотя к старообрядцам никакого отношения не имел.

Любопытны также напольные часы фирмы «Terrier», стоящие у меня в кабинете, однако не тем, что они высотой в два человеческих роста, и даже не тем, что время от времени кашляют и чихают, а, собственно, тем, что другой мой дед их выиграл на пари. О чем уж они там спорили, неизвестно, но известно, что дед прятал в этих часах от бабки полштофы анисовой водки, которую он употреблял регулярно, бывало и натошак. Немудрено, что я тоже выпить не дурак.

Кстати, о пьянстве, древней нашей напасти, которая неисчислимому множеству жен и матерей отравила жизнь.

Есть у меня старинный стаканчик зеленого стекла граммов так на сто пятьдесят, знаменательный стаканчик, неизменно волнующий воображение и частенько вострящий мысль. Если предположить, что эта посуда существует с Петровских времен, а так оно скорее всего и есть, то надо быть бесчувственной дубиной стоеро-

¹ То есть «Торговля с иностранцами» — сеть специальных магазинов, где драгоценности обменивались на съестное и дефицит.

совой, чтобы не проникнуться некоторым даже трепетом, когда берешь ее в руки, наполненную волшебной влагой по поводу или без. Ведь кто только не пивал из моего стаканчика за триста истекших лет, может быть сам фельдмаршал Шереметев держал его в руках в связи с викторией при Лесной, и уж наверняка им пользовались господа обер- и штаб-офицеры, а то столоначальники и простые письмоводители, исправники, степные помещики, дуреющие от скуки, квартальные надзиратели, извозчики, провинциальные актеры, купцы III гильдии, имеющие 500 рублей капиталу, фельдшеры, оставшиеся без места, унтера на покое и прочая мелкота.

Естественное дело, неизмеримо количество и невообразимо качество горячительных напитков, которые в разное время вмещал мой стаканчик, от простого русского хлебного вина до какого-нибудь экзотического редерера, впрочем, изготовленного в Клину. С благословения Петра Великого особенно в ходу была анисовая водка, гнавшаяся из яблок, которой увлекался и Ломоносов, и генералиссимус Суворов, говоривший: «После баньки — исподнее продай, но выпей»; в провинции употребляли настойки да наливки на чистом спирту, травничек, желудочную, по кабакам сивуху, пенник и «очищенную» для господ, в городах по трактирам и ресторанам — сладкую смирновскую и воронцовскую, горькую, как слеза. Водка, какая она ни будь, вся достигала 30 градусов крепости, и только вследствие докторской диссертации Дмитрия Ивановича Менделеева в стране перешли на сорокаградусную как наиболее безвредную для нутра. Николай Рыков, председатель Совнаркома, отменивший еще царский «сухой закон», было вернулся к доменделеевскому стандарту и пустил в продажу пшеничную «рыковку», однако дело что-то не пошло и водке вернули законный градус, но, правда, уже гнали положительно из всего.

Оттого народ у нас и напивался до чертиков, что он от водки дурел, травился, а не хмелел. Когда бы человек употреблял чистый продукт органического происхождения, от этого была бы только польза, поскольку выпивши он не думает, а как-то растворяется сам в себе. Ведь не в том беда, что русский человек пьет, а в том беда, что русский человек думает; он думает о смерти, о царстве справедливости, которое наступит через триста лет, о горькой своей судьбине, о злой жене, перспективе кончить свои дни под забором, о безмозглых властях предержащих, нищих старухах, бездомных детях, десятилетних проститутках, о том, что кругом воруют, законов нет, чиновники на местах бесчинствуют и последний участковый уполномоченный может стереть тебя в порошок. Словом, жизнь в России испокон веков такова, что у думающего человека есть только два выхода — бунт и пьянство; это при том, что из опыта нам известно: пьяница положительней бунтаря.

Теперь о закуске, вернее, о том, что и как ели наши предки в стародавние времена.

Нам это покажется удивительным, но факт, как теперь говорится, тот, что когда-то в России никакой другой продукт не пользовался такой популярностью, как чай, и не было более распространенного предмета домашнего обихода, нежели самовар.

У меня их сохранилось целых три: один обыкновенный, медный, луженый, со вмятиной на боку, другой белого металла, похожий на гигантскую граненую рюмку, весьма элегантный и без изъянов, третий посеребренный, с деталями из слоновой кости, — последние два, видимо, результат крестьянских набегов на барские усадьбы, которые приняли всероссийский размах летом 1917 года, в период безвластия в центре и на местах.

Есть такое семейное предание: одна из моих бабок настолько пристрастилась к чаю, что выпивала по восемнадцать стаканов в день. За бедностью в нашем доме скорее всего заваривали спитой чай, природа которого такова — ушлые люди скупали по трактирам чай, уже бывший в употреблении, высушивали его на крышах и перепродавали задешево бедноте. Самовар ставили на «черной» лестнице, топили его лучиной и сосновыми шишками, придававшими кипятку какой-то малиновый аромат, к чаю в достаточных семьях подавали ром, сладкую водку, колотый сахар (отнюдь не пиленый и не песком, стоившие дороже) и почему-то непременно селедку хороших сортов, наверное, для контраста и остроты. В нашем же случае к чаю подавался

хорошо если калачик от Филиппова, припудренный мукой, в виде дамской сумочки с ручкой, из-за которой между чаевниками шла нешуточная война.

Помимо чая («Пожалуйста чай кушать» — это из времен горничных с кружевными «наколками» на груди) кушали также щи с ржаным хлебом в будни и с кулебякой по большим праздникам, квашеную капусту, кашу с маслом и моченые яблоки на десерт. Но были семьи даже по мещанским предместьям, где круглый год питались ржавой селедкой и не знали вкуса коровьего молока.

Стыд и срам: имеем в наличии чуть ли не богатейшую страну на планете, которая славилась самым блестящим двором в Европе, наладившую широкий хлебный экспорт, располагавшую неисчерпаемыми природными ресурсами, добывавшую горы золота, самоцветов и серебра, а русский народ от века недоедал. В сущности, не так давно миллионы людей после Рождества «ходили в кусочки» по всему лицу земли Русской, то есть собирали Христа ради объедки, чтобы не помереть с голоду, а Николай II, уже будучи арестантом, умудрился вывезти в Тобольск около пуда (16 килограммов) бриллиантов; а скромный служащий при казне, который обмолвился в присутствии государыни Анны Иоанновны, большой мотовки, де, «Петр Великий за каждую копейку давливался», — угодил в Сибирь; а немецкий крестьянин из какой-нибудь Тюрингии, где ничего, кроме клевера, не растет, по утрам баловался кофе и свежей газетной статейкой про русского дикаря. А что же наш Микула Селеянович? — он тем временем от бескормилы изобретал кашу из топора. Правда, нужно отдать немцу должное: он ходил в свой «гаштет»¹ пить кофе и читать газету, а наш русачок шатался по кабакам и пил горькую, предварительно заложив выходной платок, украденный у жены.

В кабаках разносолов не полагалось; в лучшем случае кабатчик мог предложить моченый горох, соленый огурец и деревянную колбасу. А то и вовсе за прилавком ничего не водилось, кроме бочки с сивухой, и Микула *Селеянович*, что называется, занюхивал выпивку рукавом.

Уж на что Иван Сергеевич Тургенев был критический реалист и, казалось бы, достоверно описал в своих «Певцах» кабацкий быт России, мы ему веры не даем, потому что от такого рациона не запоешь.

Аж с 60-х годов прошлого столетия у меня хранится вещь, замечательно типическая для той эпохи, когда наш народ по наивности впал в крайний идеализм, — именно так называемая «мыльница», то есть миниатюрный радиоприемник в корпусе из обыкновенной пластмассовой мыльницы, которую можно было купить в любом галантерейном магазине копеек примерно за пятьдесят. (В те времена пачка сигарет «Дукат» стоила семь копеек, бублик — шесть, билет на автобус — пять.)

Мою «мыльницу», отлично принимавшую по утрам даже «Немецкую волну», собственноручно собрал неведомый мне умелец, которые тогда водились во множестве на Руси, поскольку отечественной промышленности дела не было до мирного населения, и она работала главным образом на войну. Что-то, разумеется, выпускали для народа, например, вечный холодильник «Север», но портативный радиоприемник, работающий на коротких волнах, было не купить даже в комиссионных магазинах, и в первую очередь потому, что хозяева страны как огня боялись эту самую «Немецкую волну», постоянно выставлявшую их в виде злодеев и дураков.

Тогда записные книжки Ильи Ильфа, кажется, еще не были опубликованы и мы не знали его максимы: «Вот уже и радио изобрели, а счастья все нет» — и я носился со своей «мыльницей», как дурень с писаной торбой, серьезно полагая, что она представляет собой воплощенный научно-технический прогресс, который сулит моим соотечественникам райские времена.

Все-таки безобразно наивен человек, особенно если этот человек — русский. Вроде бы за семьдесят тысяч лет всего повидали и точно знаем, почем фунт изюма, ан нет: то в одно впадем блажное суеверие, то в другое, то у нас на повестке дня великий Страдалец за грехи человеческие и как следствие испанская инквизиция, то

¹ Забегаловка (нем.)

энциклопедисты, гильотина и Наполеон, то диктатура пролетариата, Эдем, замешенный на слезе ребенка, и «кадры решают все».

Наконец, дело уперлось в научно-технический прогресс как залог царства Божия на земле. То есть не «наконец», а уже лет двести, как мыслящий элемент бредит о совершенном человеке, который образуется в результате изобретения двигателя внутреннего сгорания и открытия галактики Большие Магеллановы Облака. Еще персонажи Антона Павловича Чехова (стало быть, в последней четверти XIX столетия) охали и стонали в предчувствии совершенного человека, в котором все будет прекрасно в связи с беспроводным телеграфом, успехами воздухоплавания, электрическим освещением, теорией бесконечно малых чисел и прочими изощрениями человеческого ума. Эти персонажи так прямо и заявляли с авансцены Художественного театра: через двести лет, когда наука постигнет все тайны мироздания, человек будет прекрасен, как серафим.

Черта с два: через двести лет оказалось, что мы сами по себе, а ученые с их наукой сами по себе, и технический прогресс уже вступил в стадию абсурда, когда по телефону можно заказать локальную революцию на Манежной площади, а человек как был свинья, так и остался свиньей, по крайней мере, в огромном, подавляющем большинстве. И даже наблюдается такая стойкая закономерность: чем ослепительней успехи науки и техники, тем озлобленней и бессовестней человек. Когда это было видано, чтобы в России воровали не заводами даже, а целыми отраслями? школьники расстреливали друг друга из автоматического оружия? чтобы тринадцатилетние девочки рожали в уборных и выбрасывали приплод в мусорное ведро? Именно тогда эти ночные кошмары сделались повседневностью, когда ученые стали Бога по косточкам разбирать.

В общем, наука — это отдельное государство, глубоко чужое, вроде Гондураса, и нам до нее нет никакого дела, потому что у нас задачи совсем другие и тем более, что наука необратима, как все человеческие пороки, включая половые извращения и склонность к избыточной полноте. Одно обидно: ученые в упоении расщепляют элементарные частицы бог весть чего ради, а мы тем временем опасаемся лишней раз выйти из дома и экономим на молоке.

Нам на это скажут: а модернизация страны? а государственный суверенитет? а продовольственная безопасность? а отставание от стран Запада? — мы в ответ: эти вопросы сама наука и сняла некоторое время тому назад, потому что из десяти тысяч ядерных боеголовок одна-то точно долетит, и некому будет заниматься сигнальными системами у собак.

И вот верчу я в руке свою допотопную «мыльницу», некогда навевавшую мне сладкие грезы о радостном будущем, и думаю: довольно странно устроена жизнь в частности и вообще.

Еще одно детское заблуждение: вот грянет свобода, тогда-то и заживем. Мы так в это верили, даром что отнюдь не рассчитывали дожить хотя бы до упразднения цензуры, что писали по трафарету антисоветские прокламации только-только появившимися фломастерами и подсовывали их в почтовые ящики — один из таких фломастеров торчит у меня в стакане для письменных принадлежностей как укор.

Какими же остолопами были мы, молодежь, наши старшие единомышленники, тертые диссиденты, и даже совсем пожилые бунтари, прошедшие лагеря. До того мы все были недалевидны, что никому из нас и в голову не приходило: вот грянет свобода, не приведи бог, и хоть в петлю лезь с горя, хоть в подполе поселись, чтоб эти рожи не видеть, хоть востри лыжи к черту-дьяволу на рога. Ведь совсем стало невозможно жить культурной единице, потому что свобода на поверку оказалась никому не нужной, избыточной, как костыли для здорового человека, и ее немедленно прибрали к рукам негодяи и дураки.

Неужели так трудно было загодя прийти к простой мысли: свобода — это не что иное, как неотъемлемое право каждого человека принять сторону добра.

За исключением совсем уж ненормальных представителей рода человеческого вроде Иоганна Вольфганга Гете или нашего Федора Ивановича Тютчева, люди обык-

новенно влюбляются в ранней молодости, когда в них бунтуют соки и, как правило, бывает нечем себя занять. Недаром Татьяна Дмитриевна Ларина отнюдь не влюбилась в Евгения Онегина, а просто в ней созрела любовь и «она ждала кого-нибудь». Отсюда делаем заключение, что влюбленность — понятие возрастное и так же физиологично, как сахарный диабет.

Я впервые влюбился, помнится, четырнадцати лет или около того, в свою одноклассницу, девушку крупную, с длинной пшеничной косой, зелеными глазами и мужским носом, в общем, не сказать чтобы в дурнушку, но и что в красавицу то же самое не сказать.

Она меня не любила. Вроде бы моя возлюбленная в то время *сохла* по одному отпетому хулигану с уголовными наклонностями, державшему в страхе всю округу, однако же меня не отваживала из какого-то своего девичьего расчета и даже принимала от меня разные незначительные подарки, которые я ей преподносил от избытка чувств. Я ходил за ней по пятам, часами болтался под ее окнами, наблюдая, не мелькнет ли ее тень за тюлевыми занавесками, а она время от времени демонстративно возвращала мои подарки, включая ту памятную брошь, которую она как-то швырнула к моим ногам на паркетный, надраенный школьный пол. Она вечерами прогуливалась со своим хулиганом, лузгая семечки, а я бредил ее образом с утра до вечера и с вечера до утра. Мои вождения были чисты, или почти чисты, и не заходили дальше мимолетного поцелуя, вообще то поколение юношей и девушек покидали школу сплошь девственниками, имевшими самое академическое понятие о взаимодействии двух полов.

Вот она, эта брошь: копеечное изделие, кажется, даже алюминиевое, с разноцветными камушками из стекла. Сейчас этот артефакт вызывает во мне умильное чувство, несмотря на то, что пятьдесят лет тому назад я был нешуточно оскорблен. Вспоминается наша романтическая юность, родной класс, в котором было одиннадцать мальчиков и одиннадцать девочек, скучные комсомольские собрания, бублик за шесть копеек, первая любовь, милый идиотизм, свойственный тогдашней молодости, и единственные штаны. Где они теперь, эти десять мальчиков и одиннадцать девочек, даже и поручиться нельзя, что кто-нибудь из них не отправился в мир иной.

С тех пор я еще дважды влюблялся сломя голову и любил. А чтобы меня любили, за это опять же не поручусь. Кажется, никто меня по-настоящему не любил, и это немного грустно, тем более что я был симпатичный парнишка, не злопыхатель и весельчак. Впрочем, сейчас это серьезного значения не имеет, потому что с годами любовь как гипнотическое состояние, присвоенное единственно человеку, приобретает иной характер и некоторым образом хронические черты. Ее возбуждает и ею руководит уже не предстательная железа, а некий закоулок головного мозга, или те самые две хромосомы, которые нас отличают от обезьян. Оттого-то мы способны до самой гробовой доски испытывать стойкую привязанность к друзьям-товарищам, основанную на сродстве душ, дорогим местам, родной литературе, своему дому, где всегда тепло и уютно, к распоследнему русскому мужику.

Протестанты говорят «Бог есть любовь», и это отчасти так, но мы бы сказали: человек есть любовь, прежде всего любовь, и даже если больное животное, вырезавшее целое семейство, искренне любит мать, то это уже сравнительно человек. Ибо нет другого такого сверхъестественного чувствования, которое в большей степени отвечало бы понятию — «человек».

Вещи тоже нужно любить и лелеять, хотя бы за то, что с ними не скучно и не так одиноко жить.

Кошмар

Говорят, родовая память бывает особенно сильна в тех социях и народах, которые основательно пострадали от богоданного климата, превратностей исторического процесса и, главное, от властей. Если так оно и есть, то мы, русаки, должны быть внимательны необыкновенно, потому что со времен Аскольда и Дира наши

люди немало хлебнули горя, и какие только беды мы не претерпели, и кто только нас не пробовал на излом.

Во всяком случае, Васе Ландышеву, студенту-историку Московского университета, было отлично известно, почему в России фунт лиха и какими последствиями у нас чреват независимый взгляд на вещи, и тем не менее он совершил поступок, который никогда не совершил бы осмотнительный человек.

Именно, на четвертом году учебы, когда приспела пора писать очередную курсовую работу, он заявил на усмотрение кафедры сразу две темы: «Стигматы¹ как психофизический феномен» и «Норманнские конунги на Руси». Василий вообще был юноша взбалмошный, строптивый и, по мнению сокурсников, даже несколько не в себе.

Заведующий кафедрой, Хохлов Павел Петрович, ему сказал:

— Не жалеете вы себя, Ландышев, просто-напросто лезете на рожон. Ну, виданное ли это дело, чтобы писать курсовую работу про стигматы, когда в стране тридцать лет как торжествует воинствующий атеизм?! Кем, простите за выражение, надо быть, чтобы продвигать реакционную норманнскую теорию, которая идет вразрез с курсом партии на борьбу против низкопоклонства перед Западом и которую еще Ломоносов изобличил?! Это вылазка, Ландышев, другого слова не нахожу!

Василий слушал и только моргал правым глазом в недоумении, поскольку он никак не ожидал такой ожесточенной реакции на предметы, казалось бы, далекие от злобы дня и представляющие голый академический интерес. Наконец, он попробовал возразить:

— Однако же, Павел Петрович, существование стигматов — это научный факт. И первых государей на Руси звали Ингвар и Хольг, а не Сережа и Михаил, — это тоже научный факт.

Профессор ему в ответ:

— Знаете, Ландышев, я не удивлюсь, если вам намылят холку за немарксистскую позицию и субъективный идеализм.

Как в воду глядел профессор: через два дня Василия неожиданно *перевели на вечернее* отделение, а еще прежде вклеили строгий выговор по комсомольской линии именно что за субъективный идеализм. Дальше — пуще: он было устроился бойцом вохра на Электроламповый завод, так как студентам вечерних отделений полагалось трудиться на производстве, но и недели не прошло, как его взяли неподалеку от знаменитой готической проходной, в Медовом переулке, посадили в черную «эмку» и увезли.

Ехать было недалеко, всего-то-навсего до Лефортовского следственного изолятора, но Василию показалось, что дорога заняла целую уйму времени, поскольку от неожиданности и испуга он впал в какое-то забытие. Поместили его в небольшую камеру, предварительно подвергнув классическим процедурам, однако же набитую заключенными сверх всякой меры, и в первую минуту у него сердце захолонуло от смрада и духоты. Он сел на пол рядом с поганым баком, который на *фене* называется «парашей», поджал под себя ноги, положил голову на колени и призадумался о горькой своей судьбе. Жизнь кончена, это было ясно, оставалось только сообразить, за что и почему на него свалились все давешние несчастья, включая тюремное заключение, неужели за пикировку с заведующим кафедрой, и что-то теперь с ним будет, и куда клонится его злонамеренная звезда...

Сосед, тоже устроившийся на полу бок о бок с Ландышевым, приличного вида мужчина, пожилой, лысый, с востренькой бородкой, его спросил:

— А тебя-то за что упекли, браток?

Василий, тяжело выдохнув, отвечал:

— Полагаю, за норманнских конунгов на Руси.

— Я, конечно, не в теме, но думаю, что за такую ерунду тебе светит так называемый «детский» срок. Лет пять лагерей, не больше, плюс, конечно, ссылка куда-нибудь в северный Казахстан.

¹ Кровоточащие раны на запястьях и ступнях, имитирующие крестные повреждения у Христа.

— Не весело...

— Куда уж веселей! Но все-таки это не «высшая мера социальной защиты», и даже не двадцать пять лет урановых рудников. Мне-то как раз *шьют* соответствующие статьи.

— Это за что же?

— За вредительство на производстве и шпионаж.

Василий испугался и даже отодвинулся от соседа, уперевшись в поганый бак.

— И на кого же вы шпионили? — настороженно спросил он.

— То ли я работал на Израиль, то ли на Парагвай. Я толком не разобрал.

— Невероятно! Неужели вы *взаправду* шпионили против нас?!

— Да бог с тобой! Я даже не знаю, где находится этот долбанный Парагвай! На воле я был начальником смены на «Серпе и молоте», у меня на шее шестеро детей, супруга работала уборщицей в райкоме партии, *один костюм* я таскал пятнадцать лет кряду — какой уж тут, к чертовой матери, шпионаж!

— Тогда в чем же дело?

— А хрен его знает, в чем! Я как-то раз пьяным делом поговорил по душам с одним мужиком из нашего цеха, сменным мастером по фамилии Петухов. Тема была такая: Ленин и его соратники по борьбе. Как это, говорю, товарищ Каменев скрывался вместе с Лениным в Разливе от ищеек Временного правительства и вдруг оказывается, что он планировал покушение на вождя?! Как это, говорю, товарищ Зиновьев с горсткой красногвардейцев отстоял Петрокоммуну от Юденича и вдруг он готовит фашистский переворот?! Нестыковка, говорю, получается... Вот, видимо, на этой теме и погорел.

— Это что же такое творится, сосед, что такое с нами происходит-то?

— Думай сам. Есть голова на плечах, вот ты на досуге и размышляй.

Подумать действительно было о чем, тем более что среди сокамерников оказались люди слишком далекие от политики, как то: один профессор из института Тонкой химической технологии, два энергетика с I-й Московской электростанции, дворник из Плотникова переулка, один знаменитый букинист, два школьника и бес-счетно марксистов-фундаменталистов, денно и ночью обсуждавших ленинские труды.

И досуга у Васи Ландышева оказалось в избытке, потому что на первый допрос его вызвали только месяца два спустя. Вася к тому времени исхудал, цветом кожи ударился чуть ли не в зеленцу, так как все это время сидел на супе из килек и пустой перловой каше, но в лице у него появились какая-то странная строгость, спокойствие, даже отрешенность, как у помешенного или как у закаленного бойца, которого враги приговорили к смерти за правоту.

Когда Василия привели в кабинет следователя, он первым делом внимательно огляделся по сторонам и удивился тому, что, если не считать табурета, намертво привинченного к полу посередине помещения, обстановка была самая домашняя: письменный стол следователя был аккуратно накрыт скатертью с бахромой, на нем стояла бронзовая лампа под зеленым абажуром и то же самое с бахромой, на окнах были гардины и какие-то комнатные растения в жестяных банках из-под американской тушенки, у правой стены стоял драгоценный книжный шкаф с делами железного дерева, а слева, в простенке, висел портрет Феликса Дзержинского, такого печального, точно его незаслуженно обидели, — словом, Василий удивился, но виду не показал.

Следователь, белобрысый, моложавый человек в роговых очках, усадил его на табурет, представился и завел:

— Вы обвиняетесь в контрреволюционной деятельности, направленной против советской власти, которая вылилась в создание подпольной террористической организации студентов, по преимуществу из недобитых меньшевиков. Давай, разоружайся перед партией, сукин сын, пока я тебе уши не оборвал.

Следователь вынул из пластмассового стакана обыкновенную деревянную ручку со стальным пером, обмакнул ее в чернильницу и уже собрался записывать показания, когда Василий Ландышев спокойно ему сказал:

— Да бросьте вы чепуху молоть.

Следователь даже опешил, и видно было, как он из-за своих роговых очков вытаращил глаза.

— То есть как это, чепуху молоть?! — с угрозой в голосе сказал он. — Ты понимаешь, где ты находишься, сукин сын?!

— Отлично понимаю, — отвечал Вася. — Я нахожусь в застенке у врагов советского народа и многострадальной моей страны. Полагаю, и для вас не секрет, что в СССР тихой сапой совершился государственный переворот, к власти пришел фашизм чистой воды, большевики-ленинцы физически уничтожены, всеми делами управляет ставленник Адольфа Гитлера, а ваше заведение — это не что иное, как филиал гестапо, только об этом не говорят.

Следователь медленно поднялся из-за стола, подошел к Василию, все еще держа в пальцах ручку, с которой капали на пол фиолетовые чернила, и встал перед ним, растопырив ноги в надраенных хромовых сапогах.

Василий продолжал:

— Как советский человек, комсомолец и убежденный большевик считаю себя в плену.

Едва он выговорил эту фразу, как следователь с размаху всадил ему в правую щеку свое перо.

Такой нечеловеческой лютости со стороны соотечественника, кем он ни будь, Василий не ожидал. От ужаса он застонал и открыл глаза: было раннее утро, противно выл его новенький плазменный телевизор, который он позабыл выключить на ночь, правую щеку саднило, вся подушка была в крови.

Базон Хиггса

Когда я был юношей, по Москве одно время ходил странный гражданин, которого можно было встретить преимущественно на тогдашней улице Горького и в прилегающих переулках, у Никитских ворот, на бульварах от Сретенки до памятника Грибоедову, у Трех вокзалов и на Трубе. Этот гражданин во всякое время года носил фуражку с бумажным цветком вместо кокарды и темный костюм военного покроя при невероятном множестве медалей и орденов, вырезанных из жести, которые красовались у него на бортах и лацканах пиджака.

Этот ненормальный гражданин был мой двоюродный дядя по женской линии, но мы с ним не знали, затем что он был человек тяжелый и действительно не в себе. Единственно он аккуратно навещал нас в Староконюшенном переулке под новогодние праздники, однако его сразу же спроваживали на кухню, где он развлекался домашней настойкой на смородиновых почках, а я по молодости лет упивался его рассказами о былом.

Моему несчастному дяде было что порассказать. Он пережил два самых страшных года ленинградской блокады и отлично помнил суп из столярного клея, который непременно нужно было запивать холодной водой, чтобы избежать заворота кишок. Уже после войны, когда дядя с родителями жил на Орловщине, он где-то нашел немецкую противопехотную гранату и ему взрывателем два пальца оторвало. В первой молодости он дуриком поступил в Физико-технический институт, что в Долгопрудном, но проучился только два курса и был с позором отчислен за сущую ерунду: в начале марта 1953 года, за сутки до официального сообщения, кто-то из сокурсников сказал ему, вытаращив глаза:

— Сталин умер!!!

— Бывает, — отозвался дядя, и за это невинное замечание погорел.

Потом он женился на одной девушке из хорошей семьи, но брак оказался неудачным, молодая жена его форменно возненавидела, за то, что дядя тогда был молчаливым, даже за обедом занимался какими-то вычислениями, никак не мог устроиться на работу и, в сущности, жил *приймаком*, на хлебах жены. Она так жестоко

его третиrowала, что даже как-то за завтраком на мужнин вопрос «Что это ты, зайчик, сегодня хмурая такая?» — последовало в ответ:

— Ты мне сегодня приснился, — с печалью в голосе сказала жена и вдруг зашипела: — Как ты посмел мне присниться, ничтожество, сукин сын!

Дядя был ни сном, ни духом не виноват: на достойную, умственную работу его не брали по той причине, что он носил еврейскую фамилию, хотя был не больше, как квартирон, да еще не по матери, а по отцу и вообще обрусел до такой степени, что иной раз допивался до чертиков и скандалил в очередях. Наконец, ему каким-то чудом, то есть несмотря на предосудительную национальность, удалось устроиться в Физический институт Академии наук, что на Ленинском проспекте, правда, простым электромонтером, но все же это была первая ступень к тому научному подвигу, который он вскорости совершил.

Днем он прилежно исполнял свои прямые обязанности, именно чинил электропроводку, налаживал кое-какое оборудование, менял перегоревшие лампочки, а в часы простоя и по вечерам, когда институт пустел, торчал в подсобке при лаборатории на втором этаже и возился с мудреным агрегатом, который построил сам. Это был фантастической конфигурации аппарат, весь опутанный какими-то трубочками и проводами, похожий на огромного паука.

Его *idée fix* заключалась в следующем: дядя страстно мечтал залучить элементарную частицу, которая представляла собой последний штрих в картине мироздания и закрывала проблему происхождения вещества. Впоследствии эту частицу называли «базоном Хиггса» по имени физика, который ее вычислил за глаза. Еще позже, уже в наше время, в Западной Европе построили гигантский аппарат, вбухав в него миллиарды народных денег, с тем только, чтобы удовлетворить маниакальное любопытство узкой группы фанатиков, которым вынь да положь «базон Хиггса», так сказать, в материале, иначе жизнь не в жизнь и водка — морковный сок.

Боюсь, мой дядя залучил-таки искомую частицу, так как он в одночасье сошел с ума. Он двое суток недвижимо просидел подле своего монстра, кстати заметить, дотла сгоревшего в ходе опыта, пока за ним не приехали из клиники имени профессора Ганнушкина, что на Потешной улице, не так чтобы далеко от тюрьмы «Матросская Тишина». На первом же обследовании дядя заявил, что познал Бога, правда, не до конца.

Несчастный пролежал в клинике целых два года но, как это ни удивительно, сохранил об этом времени приятные воспоминания, и даже он утверждал, что сумасшедшие — это самая заманчивая компания, к которой он когда-либо принадлежал.

Я ему говорил, когда мы с ним сживали на кухне под Новый год:

— Неужели не скучно было прозябать в четырех стенах?

Он в ответ:

— Некогда было скучать: то шахматы, то разные процедуры, то уколы инсулина, то трудотерапия, то посетители, то обед. Правда, достали они нас этим инсулином, которые и нормальные были, сошли с ума. А в остальном я себя чувствовал, как рыба в воде, потому что интересная была жизнь. Главное, с утра до вечера у нас в палате велись всякие поучительные разговоры, хотя я смолodu был не любитель слушать и говорить.

— Ну и о чем же, — спрашивал я, — шел у вас разговор?

— О разном, — отвечал дядя. — Например, кто-нибудь строил планы, как можно было спасти Александра Сергеевича Пушкина от гибели в результате дуэли с д'Антесом, который, между прочим, тоже был ранен в руку и потом ходил с повязкой через плечо. План предполагался такой: первым делом д'Анзас должен был срочно связаться с Вяземским или Жуковским и сообщить точное время дуэли на Черной речке. Затем тот или другой стремглав летит к Цепному мосту и докладывает начальнику III Отделения собственной его величества канцелярии — так, мол, и так, ваше сиятельство Александр Христофорович, жизнь Пушкина под угрозой, надо нашего гения выручать. Бенкендорф, не будь дурак, тотчас посылает наряд конных жандармов к Комендантской даче, те арестовывают поэта по фальшивому обвинению в государственной измене и увозят от греха в Михайловское, чтобы гений там одумался,

поостыл. Вместо него стреляется, положим, Вяземский, который тут как тут, и убивает белокурого наповал...

— Прямо у вас там, — говорю, — сплошные пушкинисты подобралась!

— Ну почему — Джордано Бруно был, Дзержинский, единорог. Но при этом все довольно здраво рассуждали, особенно когда речь заходила о чем-нибудь таком... дорогом разбитому сердцу русского мужика. Например, заговорили о Пушкине, и кто-нибудь сразу заметит, что поэт уже на другой день после смерти пошел трупными пятнами, хотя его тело было выставлено чуть не в прихожей и на дворе стояли лютые холода. Потом кто-нибудь скажет, что Тютчев вообще через два часа после кончины пошел трупными пятнами, и разговор зайдет о жизни и смерти, о Гамлете, принце датском, который поставил этот вопрос ребром... Вообще интересная, какая-то нормальная была жизнь, вот только медицина довела меня до ручки своим инсулином, а так в общем-то ничего.

После мой дядя, вдоволь налакомившись настойкой, исчезал до следующих новогодних праздников, а я оставался в тягостном раздумье насчет того, как причудливо и неразумно складывается жизнь. В частности, меня угнетало то, что мои товарищи говорят преимущественно о бабах, а у Кащенко можно получить дополнительное гуманитарное образование, что я не едал супа из столярного клея, который, судя по всему, будоражит мысль, что уже много лет мне тяжело выходить из дома и видеть пустые лица, ездить в метро за компанию с бритоголовыми, читательницами дамских романов и попрошайками, вечером пить, утром опохмеляться, шастать по безлюдным Арбатским переулкам, утопая по щиколотку в снегу...

С годами я понял, что дядя, может быть, совершил великий научный подвиг и *остался с носом*, как наш Попов изобрел радио и даже патента не получил, не говоря уже о Государственной награде вроде бриллиантового перстня, которые раздавали даже танцовщицам кордебалета, и, стало быть, мой несчастный родственник поступил логично, нарезав себе из жести вполне заслуженные медали и ордена. Я в другой раз подумываю: а не поставить ли мне в скверике напротив моего подъезда прижизненный памятник самому себе, за то, что я просто-напросто прожил в России жизнь.

Георгий Ефремов

Отчизна ливня

Строки

проще ящеркиного хвоста
вся наша выгода
это у птицы есть высота
а нам нет выхода

к морю сдувает листву знамен
дьявол господень
жалок не понят и не оценен
значит свободен

молча скулит безъязыкий зверь
если бы слезы
только мерцание облачных сфер
млечные плесы

вот она участь
песенность и певучесть

Страна моя — дождливая земля

Страна моя — дождливая земля,
зеленая, подернутая ливнем.
Все скользкое — и плечи, и поля,
и холодно и тополям, и липам.

Здесь царство капель, пасмурная власть.
А в чаще, у набухшего болотца,
та девочка, что братца заждалась —
она меня любить не соберется.

День истекает, он светлеет. Взмах:
задернут полог из лиловых долек.
И далее дождь шествует впотьмах —
так и живем: век короток, день долог.

Из газет

Партия учит нас, что Христос воскресе,
я об этом не раз читал в зависимой прессе.

Правильно все, и толпа распинать горазда,
но — для кого ему было еще стараться?

Только и был у него осел или там ослица,
он и юродствовал, чтобы со всеми слиться.

Ефремов Георгий Исаакович — поэт, переводчик, прозаик. Родился в 1952 г. в Москве. Учился в Вильнюсском пединституте. Работал лит. секретарем Д.С.Самойлова (1973—75). Публикуется с 1970 г. Переводил на русский язык стихи Майрониса, Киплинга, Марцинкявичюса, Дюлы Ййеша, Мартинайтиса, Чеслава Милоша, Маро Маркарян, Боба Дилана и мн. др. Автор 6 сборников стихов и книги прозы «Мы люди друг другу» (М., 1991). Первый лауреат премии Ю.Балтрушайтиса за личный вклад в литовскую и русскую культуру (2006). Живет в Вильнюсе.

Он потому и пустынножил, избегая соблазна,
что людно в миру и любая была согласна.

Мертвых целил, бичевал торгующих в храме...
Мы же все делали в точности по программе.

«Вашу измену приму в Гефсиманском саду, мол».
Все и случилось, прямо как он задумал.

Даже когда обуяло сомнение о чаше,
сбыться всему помогло безверие наше.

Он ведь сюда и явился только за мукой Крестной.
Он сам был не местный.

Страна родная

Отчизна ливня, земля родная,
страна, где дремлют в гробах герои, —
пустые слезы с небес роняя,
ты нам дороже и ближе втрое.

Хрипим на взгорьях, дрожим в низинах,
забыв о высях и о глубинах,
а мирозданье — в крестах незримых:
в следах вороньих и голубиных.

Над нами ночью видна дорога:
тропа, светящая млеком птичьим,
и мы, не зная судьбы и срока,
о правде хнычем, свободу кличем.

Нас кровью выкормила отчизна,
листва лесная нам стала платьем.
И все на свете еще случится,
пока мы плачем, поем и платим.

Йонасу Стрелкунасу

То, о чем умолчали пророки,
Ты сказал или скажешь потом.
Мир закатный, сбываются сроки.
Но светло, как во сне молодом.

Гонит ветер озябшие тучи
И куда-то несется листва.
Почему так легки и певучи
О тоске и разлуке слова?

Не люблю, не зову, не ревную
И не жду неназначенных встреч.
Но, как воздух, вбираю чужую
Ледяную и сладкую речь.

Нету птиц, и листва улетела,
И не сердце, а в сердце болит.
Пусть не встретятся тело и тело,
Но с душою душа говорит.

Слово боли и слово свободы
Повторяю в холодном краю.
Пусть в грядущем минуют невзгоды
Нашу землю — мою и твою.

Йонас Стрелкунас

С литовского. Перевод Георгия Ефремова

* * *

Братья митингуют, заседают.
Так вопят, что слышно за версту.
А усталый Всадник улетает
По небу — по серому холсту.

Братья негодуют, ненавидят.
Сильным сомневаться не с руки.

А усталый Всадник их не видит —
Чересчур трибуны высоки.

Братья ничего не замечают,
Лишь хмелеют от больших забот.
А усталый Всадник различает
Ту зарю, что, может быть, взойдет.

Чума

Вроде, лето впереди.
Сомневаюсь.
По могильному пути
Еду, маюсь.

Там ни деревца, ни зги,
Ни креста нет.
Кто воскреснет из тоски,
Кто восстанет?

Встанет кто-нибудь за мной
Рядом с бездной,
Чем утешу — новизной
Безнебесной?

Вековая череда
Мировая —
Земляная чернота
Моровая.

Чем не песня

Словно вытканые мамой
По земле поверх морей
Выстроились тридцать храмов —
До родной земли моей.

Не в обыденных обидах —
Где-то у отца вдали

Тридцать воинов убитых
Как с распятия сошли.

И пока о том не знают
И за это не бранят, —
Сердце бедное терзают
Тридцать черных воронят.

Возле старого дома

Был этот дом таким усталым,
Как МГБ, — и стариковским.
Он был, похоже, арсеналом,
Нет-нет, Арсением Тарковским,

Чьи гейши в неге неперменной,
Китайцы — в персиковом цвете.
Литва же, точно куль ячменный,
В груди трещала на рассвете,

Суля сильнеешие из зелий —
Все пиршества ума и плоти.

Когда, других не видя целей,
Ты строки выводил в блокноте,

Мерцали золотые зерна
(хотя случалась и полова).
И до сих пор судьба не стерла
Хмельного грифельного слова...

Судьба, твой материал непрочен,
Сетям не удержать улова...
Лишь я припомню между прочим
Тебя у дома углового...

Стрелкунас Йонас (1939, Путаускай, Панявежский р-н — 2010, Вильнюс) — поэт, переводчик. Автор более 20 книг. Лауреат Национальной премии (1996). Переводил Н.Некрасова, Ф.Тютчева, А.Фета, А.Ахматову и др.

Владимир Некляев

Возвращение Веры

Повесть

С белорусского. Перевод Павла Антипова

Учитель говорит, чтобы я придумал Вере новое имя.
Так обычно делают, когда пишут книги,
чтобы не задеть чувств тех, о ком пишут.
Конечно, ее имя я мог бы и не называть...
Но Вера не вернулась.

Свен Дельбланк. «Гуннар Эммануэль»

Фредерик и Мэри

14 мая 2004 года в Копенгагене наследник датской короны Его Королевское Высочество кронпринц Фредерик (Фредерик Андре Хенрик Кристиан), старший сын королевы Дании Маргреты II и принца Хенрика, женился на австралийке Мэри Элизабет Дональдсон. На торжество было приглашено 800 почетных гостей из королевских домов и аристократических семей Европы. Венчались Фредерик и Мэри в старейшем кафедральном соборе Копенгагена — храме Девы Марии. В честь свадьбы были введены в оборот купюры номиналом 20 и 200 крон и марки с портретами Молодых.

По подсчетам экспертов, стоимость свадебных мероприятий составила \$35 млн. Кроме того, датский парламент решил, что Дания выглядела бы не наилучшим образом перед королевскими дворами Европы, если бы семья будущего короля существовала на \$700 тыс., которые он получал из государственной казны до свадьбы, и сумма была увеличена до \$2,4 млн ежегодно.

В день венчания Августейшие Молодые проехали по улицам датской столицы в карете до замка Амалиенбург, где приветствовали всех присутствующих с крыльца дворца Кристиана VII, а вечером вместе с гостями направились за город в замок Фреденсбург. По дороге им махали флажками дети, одетые в костюмы принцев и принцесс. Сказка про золушку казалась явью...

...Свадьба была шикарной даже по королевским меркам, недовольными остались разве что бездомные Копенгагена. Они "откопали" давний закон, по которому в Дании во время королевских свадеб для нищих также устраивались застолья, но власти поспешили назвать этот закон анахронизмом.

Владимир Некляев — родился в 1946 г., известный белорусский поэт, прозаик и общественный деятель, председатель правления Союза белорусских писателей (1998—2001), руководитель Белорусского ПЕН-центра (2005—2009), инициатор и руководитель общественной кампании «Говори правду», кандидат на пост президента Беларуси. 19 декабря 2010 г. на митинге оппозиции был избит и заключен в следственный изолятор КГБ Беларуси, позже отправлен под домашний арест. Обвиняется в организации беспорядков в Минске в день выборов президента. Постоянный автор «ДН».

Павел Антипов — родился в 1981 г., прозаик, финалист белорусских и российских литературных конкурсов, участник форума молодых писателей в Липках.

В «ДН» публиковался в № 4, 2010.

Фелипе и Летиция

22 мая 2004 года в испанской столице в соборе Альмадена прошла церемония бракосочетания Его Королевского Высочества Принца Астурийского Фелипе (Фелипе-Хуана-Пабло-де-Тодос-лос-Сантос) и донны Летиции Ортис Рокасолано, которую провел Архиепископ Мадрида Кардинал Антонио Руко.

После торжественной церемонии Августейшие Молодые проехали по улицам Мадрида на бронированном лимузине "Роллс-Ройс" (Фантом, 1948 года выпуска).

Около 1600 почетных гостей были приглашены на свадьбу наследника испанской короны, которая обошлась испанской казне в \$25,16 млн. Праздник завершился банкетом, в конце которого гостям был подан торт высотой 2 м и весом 170 кг.

Беспрецедентными были меры безопасности: 20 000 полицейских охраняли Молодых и их гостей в соборе и на улицах города, 200 снайперов находились на крышах домов, два истребителя F-16 и самолет-разведчик АВАКС патрулировали небо...

...31-летняя Эрика Ортис Рокасолано, младшая сестра испанской кронпринцессы Летиции, была найдена мертвой в Мадриде. Основная версия смерти: передозировка сильнодействующих лекарств.

(Из испанских и датских СМИ)

Павал

Человек тот, он не похож был на убийцу, даже на обыкновенного бандита не тянул, так, бродяга, подошел и попросил закурить... Нет, он не просил, у него сигарета была в левой руке, а правой он показал, что прикурить хочет, пальцами щелкнул... Я полез в карман, чтобы достать зажигалку, я ношу ее с собой, такую игрушку, зажигалку-пистолет, на настоящий пистолет, на маленький маузер «Н—S», как мне в оружейном магазине сказали, похожий, я в Швейцарии эту игрушку, в городе Церматте, это почти что уже Италия, где мафия всякая, купил, а он из пиджака, из нагрудного кармана тоже зажигалку вынимает, такую же, только побольше, не знаю, какой системы, я в пистолетах не большой знаток, и он, похоже, встречно хочет дать мне прикурить — я, значит, ему, а он почему-то мне, тогда я подумал еще: «Что за цирк? Припыленный он, что ли?..» — а он мне ровнехонько посередине лба над переносицей, как раз туда, где индусы тики свои ставят, выстрелил.

Вот ё-моё...

Тем, кто думает, будто есть тут — или с вашей стороны это будет там — какие-нибудь рай или ад, где после смерти можно кайфовать или мучиться, сразу могу сказать, что ни рая, ни ада нет, что тут, с вашей стороны — там, не существует ничего, сплошная, как в стеклянном лифте, пустота, и ты — дух, призрак, пыль пустоты, частичка такая маленькая, что даже не скажешь какая: электрон?.. атом?.. кварк?.. — поэтому невозможно представить, кто ты и каков, если даже вдруг и существуешь, — а впрочем, ощущение потустороннего всего пустого не такое уж и непривычное, в чем-то похожее на земное, когда вроде как и живешь и сам про себя ничего не знаешь, а остальным нет дела, кто ты и каков?.. Остальные про себя так же мало знают, не больше твоего... Вот попробуй разобраться, почему он подошел, сделал вид, что просит закурить, и выстрелил? Я до этого с ним не встречался, первый и последний раз видел, — за что же?.. Тем более что было это не где-то там, где привыкли к стрельбе, не в Грозном или Багдаде, а в Мальме, на самом юге тихой Швеции.

Как я оказался на самом юге тихой Швеции?.. Просто. Из Минска на самолете до Питера, из Питера — автобусом до Хельсинки, потом — на пароме до Стокгольма, а оттуда — поездом до Мальме.

В Европе все недалеко.

На пароме сел в рулетку в казино поиграть, было лишних тридцать евро, двад-

цать из них сразу проиграл, половину поставив на 17 и половину на 21, я всегда сначала ставлю на 17 и на 21, это было на шестой палубе, и я решил, что шестая — невезучая, поднялся на седьмую, где снова поставил пополам на 17 и на 21, проиграл последнюю десятку и мог спокойно идти спать, но не пошел, поднял кейс над столом, у меня кейс был, который выглядел шикарно, кожаный такой с блестящими, под золото, замками, никак не подумаешь, что в нем только бритва и шмотки, и я, поставив кейс на край стола, щелкнул одним замком и сказал крупье: «Мне фишек на сто тысяч».

Это было не по правилам, на стол, когда фишки покупают, деньги кладут, а не кейсы ставят, но я рассчитывал, что названная сумма должна впечатлить — и она впечатлила. Крупье, рябоватый швед в малиновой жилетке, переспросил: «На сто тысяч крон?..» — а я снова щелкнул замком: «Евро» — и швед весь стал малиновым, как его жилетка, даже веснушки на лице не просматривались, он выдохнул и сказал: «У нас и ставки, и выигрыш ограничены».

Я спросил: «А проигрыш?..»

Таких вопросов никогда, сколько плавал швед и крутил рулетку на пароме, никто ему, конечно, не задавал, к этим непонятным, непостижимым вопросам шведы, как и финны с норвежцами, и немцы, и все они, западные люди, никак не подготовлены, потому что насквозь инструкциями прописаны, во всем законопослушные, но логика есть логика, ее еще древние греки придумали, и логика подсказывала шведу, предки которого викингами были и до Греции доходили, что проигрыш ограниченным быть не может, из чего логично следовало, что и выигрыш нельзя ограничить, и крупье, запустившись, видимо, в нелогичной логике, беспомощно ответил: «Не знаю...»

Я спросил: «А кто знает?..» — и крупье позвал еще одного шведа, Арвида, здоровенного такого и совсем не рябого, управляющего казино, который, послушав крупье и покивав головой, показал мне инструкцию, что-то вроде правил игры в казино «Танго», так то казино называлось, рядом с которым был бар «Танго» и музыкальный салон «Танго», и в тех правилах по-фински, по-шведски и по-английски было написано, что наибольшая разовая ставка в казино «Танго» — пятьдесят евро. «А значит, максимальный выигрыш... — Арвид для того, чтобы все стало понятно даже такому тупому, как я, взял у крупье калькулятор... — 50 умножаем на 30...»

— Почему на 30, а не на 35?

— Потому что в наших правилах написано на 30, а не на 35, поэтому получаем 1500, а не 1750... И Арвид, как будто извиняясь, развел руками: мол, если все написано, так о чем еще говорить?..

«Я не собираюсь выигрывать», — сказал я Арвиду, который хотя и послушал крупье и головой покивал на услышанное, но так ничего и не понял, и еще раз я попробовал растолковать ему, что в казино на шестой палубе, не знаю, чье там оно и как называется, проиграл уже часть денег, но там не очень понравилось, поэтому я тут, в казино «Танго», хочу проиграть остальные сто тысяч... На это Арвид ответил, что казино на шестой палубе называется «Халлинг», как одноименный норвежский народный танец. Я спросил: «Почему норвежский народный танец, а не финский или шведский, если паром ходит между Хельсинки и Стокгольмом?..» — на что Арвид, не имея точного ответа, смог предложить только сомнительную версию: норвежцы сейчас самые богатые во всей Скандинавии, может, поэтому... Но принадлежит казино «Халлинг», как и казино «Танго», как и весь паром, одному собственнику, компании «Викинг», и он, Арвид, в казино «Халлинг» тоже за управляющего, и там рядом бар «Халлинг» и музыкальный салон «Халлинг», и все там такое же, как и тут, только названия разные, поэтому он не совсем понимает, почему мне там не понравилось...

«Хорошо, — согласился я, щелкнув замком кейса. — Пойдем туда».

«Там выигрыш тоже ограничен», — двинувшись со мной к лестнице, замялся Арвид, вместо того чтобы потребовать то, что давно уже потребовали бы в любом из наших казино: открой, фраер, кейс и покажи деньги. У них, шведов, как и у финнов с немцами, и у них у всех, западных людей, инструкциями прописанных, законопослушных, такое обыкновение: если кто-то говорит, что у него есть сто тысяч, то никакого сомнения быть не может в том, что они у него есть, — вот в чем фокус. Зная это, я и забавлялся, чтобы через всю ночь от Хельсинки до Стокгольма не скучно

плыть было. Каюта моя была на второй палубе, самая дешевая, около дизелей и всей паромной механики — там нормальному человеку ночь не выдержать. Билеты в такие каюты в другой раз даже даром дают, только б ты поплыл — и деньги или в барах пропил, или в казино проиграл, или в магазинах на пароме оставил.

На шестой палубе в казино «Халлинг» я снова, пощелкивая желто-блестящими, под золото, замками на кейсе, объяснял Арвиду и такому же, как и на седьмой палубе, малиновому с веснушками крупье, только уже не шведу, а финну, которому проиграл недавно двадцатку и который сейчас растерянно молчал, что я хотел бы проиграть остальные сто тысяч, и Арвид снова показывал мне инструкцию, доказывая, что на шестой палубе в казино «Халлинг» правила такие же, как и на седьмой палубе в казино «Танго», с теми же ограничениями наибольшей ставки и максимального выигрыша, а я настойчиво спрашивал, как я могу сто тысяч не выиграть, а проиграть, если не могу их поставить, — или мне их просто так отдать на развитие норвежского народного творчества?..

Арвиду, я это по выражению его лица увидел, не очень понравилось, что я хочу отдать деньги на развитие норвежского, а не шведского народного творчества, — они в Скандинавии равнодушны друг к другу. Норвежцы больше дружат, как крестьяне с крестьянами, с финнами, хоть финны никакие не скандинавы, просто в той стороне живут, и уже вместе они, финны с норвежцами, недолюбливают шведов, городских, которые из бывшей метрополии посматривают на бывшие колонии, на крестьян своих, снисходительно, особенно на разбогатевших крестьян — и Арвид с такой легкой ироничной улыбкой мимоходом анекдотец бросил: «Пришел швед к норвежцу водителем наниматься...»

Если кто-то из вас подумал, что это начало анекдота — то нет: это весь анекдот. Я уже слышал его, поэтому не ждал, что там дальше будет...

Крупье, растерянно помолчав, вдруг предложил, чтобы я свои сто тысяч проиграл, если уж так мне проиграть захотелось, по пятьдесят евро ставя, и для того, чтобы даже такому тупому, как он, понятно стало, взял я у него калькулятор: «Смотри... 100 000 делим на 50, получаем 2000 — столько раз я должен поставить. Это в том случае, если я буду только проигрывать и проигрывать, а могу ведь и выиграть. И если ты рулетку будешь без конца крутить и крутить, а я буду только проигрывать и проигрывать, то все равно на каждую игру понадобится минуты три или пусть себе всего минута — это 2000 минут. Делим их на 60, получаем 33 часа и 333 333 минуты в периоде. По три минуты — это 99 часов и 999 999 в периоде, а паром в Стокгольме в 9 утра... Так где мне времени взять, чтобы столько играть с тобой?..»

Рябого крупье, как мне показалось, больше всего поразило то, что в периоде, и больше в разговор наш с Арвидом он не совался.

Арвид устал от напряжения пытаться понять, чего я от него хочу, если он все равно не может изменить правила, переписать инструкцию, которую на совете директоров компании утвердили, и тут в голове у него что-то щелкнуло, как замок на моем кейсе, так «щелк», я даже звук услышал, Арвид радостно что-то вспомнил и позвонил какой-то Наташе, та пришла и, покосившись на мой кейс, спросила у меня по-русски:

— Понты кидаешь?..

Я для чего это рассказываю?.. Потому что подумать успел, что мужик тот, на бродягу похожий, который закурить попросил и в лоб мне выстрелил, ограбить меня, кейс мой забрать хотел, потому что тоже плыл на пароме и все подсмотрел, подслушал со стороны, поверив, что в кейсе моем на самом деле сто тысяч... Как поверил про сто тысяч и тот небритый кавказец, который, когда я уже водку в баре выпивал с Арвидом, подсел ко мне и, выдавая себя за чеченца, стал плести, что Масхадов, президент Чечни, с которым он дружит, просто по имени называл, Аслан и Аслан, послал его в Стокгольм, чтобы с Ахмедом Закаевым, представителем Масхадова на Западе, встретиться, который завтра в Стокгольм из Лондона прилетает, и они будут оружие для войны за независимость покупать. Он не может, ясное дело, раскрыть, где они это оружие покупать будут и у кого, а может сказать только, что им денег немного не хватает, тысяч сто, вот Аслан и поручил ему найти их под любые проценты, вот... И кавказец показал блестящую вложенную в кожаную папку с золотистыми, как у меня на кейсе, замочками мелованную бумагу с грифом «Президент Республики

Ичкерия», где было написано, что эта бумага является документом, который гарантирует выплату... (тут был пропуск для того, чтобы вписать, кому и сколько...) процентов от суммы... (еще один пропуск, чтобы проставить сумму), а выплата обеспечивается всем имуществом, недрами, нефтью и золотом (как будто нефть и золото — не недра) Республики Ичкерия, — под чем президент и подписывается. Кавказец предложил сначала триста, потом пятьсот и сразу же, махнув рукой, тысячу процентов, потому что очень срочно нужны деньги, на кейс с которыми он все косился, и мне, чтобы этот жулик-любитель по глупости меня не прирезал, пришлось выйти из бара и показать ему в кейсе бритву фирмы «Gillett» и пакет с нарисованным на нем красным трактором и зеленой надписью Belarus, а в том пакете — трусы фабрики «Комсомолка», верным которой я остался, несмотря на ветры перемен. Бритву я кавказцу даже попробовал презентовать, чтобы побрился, но он не взял — обиженный, как школьник, получивший двойку... С ним было все понятно, но тот, на бродягу похожий, выстрелил мне в лоб и пошел себе дальше по улице тихого шведского города Мальме, даже не посмотрев, как кавказец или Наташа, на мой шикарный, с замками под золото, кейс.

Наташа оказалась, если по-нашему говорить, заведующей культмассовым сектором на пароме «Викинг»: пела с пьяными финнами и шведами песни в салонах «Танго» и «Халлинг». Была она, хоть и похожа на шведку, русской из Выборга — города, основанного когда-то шведами, переданного потом финнам и в конце концов взятого русскими. Из Выборга ее взяла замуж швед, с которым она скоро развелась, а тот швед, богатый, как норвежец, дружил с каким-то финном, совладельцем компании «Викинг», и в счет откупного устроил ее на паром. У шведов с финнами, как и у норвежцев, как и у немцев, как и у нас, да и везде в мире, где мне довелось побывать, — блат и связи. В мире сплошь блат и связи, без которых тебе остается только посуду мыть и улицу подметать.

— Ты кто? — спросила Наташа. — Бандит? Игрок? Кидала?.. Чем на жизнь зарабатываешь?

Я улыбнулся ей обаятельно, я умел, когда живым был, обаятельно улыбаться:

— Сваток.

— А-а.

Она поняла. Знала, видимо, что есть такое занятие среди множества других: наших невест богатым иностранцам пристраивать. Может, и сама через сватка прошла.

— Ты бы мне подыграла... Не подыграешь — тоскливая ночь будет, а зачем тебе моя тоскливая ночь?.. Скажи ему, — кивнул я на Арвида, — что у нас при большой игре за счет казино наливают. А они мне еще и за моральный ущерб обязаны: хочу проиграть — и не дают.

Наташа удивилась:

— Ты рассчитывал, что тебе нальют?

Я сказал:

— Не в первый раз...

На пароме водка хоть и без акциза, но все равно в баре рюмка столько стоит, что лучше на рулетку поставить. А в «Duty-free» бутылку купить и в каюте рядом с дизелями пить — задохнешься.

— Обаятельный ты жулик, — подтвердила мою обаятельность Наташа. — Странно, что бедный.

— Деньги есть, но не на пропой. На билет до Мальме.

— И зачем туда?..

— Затем... Невесту одну пристроил, а она и не думает рассчитывать. Наверно, думает, что за просто так...

Она действительно все поняла и руку протянула, представившись: «Наташа», — и я назвался: «Павал», — она сказала: «Моего отца тоже Павлом зовут», — на что я сказал, что не тоже, потому что я не Павел, а Павал, так меня мой отец назвал, так мое имя в паспорте написано, вот, я показал ей свой белорусский паспорт, а она спросила: «Ты чех?..»

Чех так чех, я не привык с этим разбираться, я б и Павалом не назывался, пусть

бы тоже Павлом был, но отец настаивал, чтобы я всегда объяснял, что я Павал, а не Павел, и я ему, покойнику, обещал, так и объясняю, потому что любил его. Он умер от инсульта, давление от нервов зашкалило, потому что его с работы турнули, он с национальными заскоками был, что мне не передалось, для меня все люди — доярки и коровы, без национальности: те, кто доит, и те, кого доят. Но я все-таки спросил у Наташи, потому что странно было, что человека, который белорусский паспорт показывает, за чеха принимают: «Почему чех, если Павал?..» — и она ответила: «Потому что Арвид — швед, потому и Арвид...»

По ответу, да и по всему остальному было видно, что мы похожи, с этого все и началось... Если б мы не были похожи, если б она не помогла мне раскрутить Арвида, — который сам, потому что был на работе, не пил, а все рассказывал, как отец его учил определять, насколько он, когда пьет, пьян и можно ли ему еще пить, — я бы не сидел в музыкальном салоне «Халлинг», не скакал бы и не пел с пьяными шведами и финнами народные танцы и песни, не спрашивал бы у всех, почему на пароме, который ходит из Финляндии в Швецию, музыкальный салон по-норвежски называется, чего никто не знал, а мне надо было узнать, потому что, если непонятки какие мне в голову западают, так и бренчат там и мешают, пока не вытрясу, и я пел и спрашивал, скакал и спрашивал — и очутился под утро в Наташиной каюте, выходя из которой, когда паром уже причаливал, по привычке пошарил по карманам, достав и назад положив паспорт, портмоне, зажигалку, увидев которую Наташа сонно спросила:

— У тебя пистолет?..

Мне бы сказать ей, что это игрушка итальянская, в Швейцарии в городе Церматте купленная, а я сказал, крутого из себя строя, что да, пистолет, и еще спросил, как она представляет в сегодняшней жизни мужика без пистолета?..

Наташа потянулась — соблазнительно так, как ни шведка, ни немка не потянется.

— Ты в Мальме когда едешь?.. Я в Стокгольме на неделю остаюсь, отпуск. Сегодня занята, а завтра свободна... — И мы договорились завтра, когда уже я разбогатею, встретиться в шесть вечера в Мальме около отеля «Хилтон».

Наташа красивая была. И похожа — нутром, сердцевинкой на меня похожа, чем и привлекала, я даже предложил ей вместе быть. А она ответила, что мы не можем быть вместе, потому что она проститутка. Нашла причину...

С Арвидом мы простились друзьями.

— Выбираешь, как только заходишь в ресторан, самую страшную из всех официантку, к которой трезвый и не подошел бы, — рассказывал мне отцовскую науку Арвид, — и как только она начинает тебе нравится, значит, все, финиш. Ты пьян как сапожник.

— А если, — спрашивал я, — нет страшных?..

Тут Арвида переключивало: про такую неожиданность отец ему не рассказывал.

— Смотри, что у меня есть... — показал мне Арвид кожаную папку с золотистыми, как у меня на кейсе, замочками, в которой была блестящая, мелованная бумага с грифом «Президент Республики Ичкерия», и в пропуски в тексте на бумаге было вписано, что он, Арвид, пожертвовал на борьбу за независимость Чечни 100 000 (сто тысяч) евро, о чем свидетельствовала подпись президента. Я не стал спрашивать, где он взял сто тысяч, если я их не проиграл, а спросил, сколько эта бумага ему стоила?.. Арвид сказал, что полсотни. И замялся: «Разве не стоит?.. Если в рамку взять, на стену повесить...» Я ответил, что стоит. Потомки гордиться будут.

Уходя с парома, я выглядывал небритого кавказца, чтобы пожать ему руку и сказать, что он совсем не школьник, но в толпе не нашел.

Под вечер я уже был в Мальме. Там район, где одни магазины и офисы, до него от вокзала минут десять пешком, треугольником называется — моя «невеста» в нем жила. Убедившись, что по наивысшему классу ее пристроил, я, кроме начисленных процентов за несвоевременные расчеты, еще и за фешенебельность накинул. Дорогу, само собой, посчитал, билеты. И про ту тридцатку, которую в казино проиграл, не забыл. Потому что не поехал бы — не проиграл бы.

Я ожидал, что с расчетом проблемы будут, потому что деньги забрать — всегда

проблема, а «невеста» так перепугалась, на пороге меня увидев, что и упираться не стала: заплатила столько, сколько я просил. Даже чуть больше, с лихвой рассчиталась — на кофе с пирожным. Только бы у нее дома я кофе не пил, а быстрее ушел, чтобы муж не застал, который хоть и швед, но ревнив, как грузин. Попадают и среди шведов такие. Редко, но попадают.

Можно было ехать назад. Если б не договоренность про свидание с Наташей. Завтра в шесть вечера около отеля «Хилтон». Богатый уже, я не стал искать дешевый отель, а в «Хилтоне» и поселился. Выбрал номер на самом высоком этаже, откуда, как сказал на удивление разговорчивый для шведа портье, который меня заселял, видна вся Европа. Ну если не вся Европа, так вся Дания. А если не вся Дания, то весь Копенгаген. Правда, в солнечную погоду.

Лифт, который возносил меня под небеса, был весь из стекла. Пол только не стеклянный. Но все равно казалось, что нет опоры под ногами и я где-то в пустоте, где-то нигде... Дух, призрак... Стало вдруг страшно, захотелось спуститься — и на вокзал. Но тянула и засасывала пустота. Я был богатым, а Наташа была красивой. И похожей. Плевать, что проститутка.

Назавтра, от нечего делать до самого вечера, я зашел, чтоб занять время, в магазин «Triangeln», что значит «Треугольник», где мне дали рекламный проспект, в котором было написано что магазин «Triangeln» — это не один магазин, а семьдесят два магазина в одном, и я ходил из одного в другой, а потом, будто бы тех семидесяти двух мне не хватило, слонялся еще по каким-то бутикам, купил туфли, костюм, плащ, рубашку, галстук, потому что если ты богатый, то и выглядеть надо богато, золотой пылью искриться, и я все новое на себя надел, ничего старого не выкинув, сложив все старое, которое еще носить и носить, в зеленый пакет с нарисованным на нем красным трактором и надписью Belarus, который продавщица еще блестящими лентами перевязала, и так я во всем новом со всем старым, блестящими лентами перевязанным, с кейсом своим иду себе по тихому шведскому городу Мальме по улице Sodra Forstagatan, что значит улица 1-я Южная, к отелю «Хилтон», около которого через полчаса у меня свидание с красивой женщиной, потом вечер в ресторане, ночь в номере с панорамой всей Европы, да и вообще жизнь впереди, а тут подходит тот бродяга и пальцами щелкает, прося прикурить, сам достает зажигалку, на пистолет похожую, такую же, как у меня, вдруг стреляя мне ровненько в середину лба над переносицей, где индусы круглые знаки свои, точки мира ставят, и я оказываюсь как будто в полностью стеклянном или даже в воздушном лифте без опоры под ногами, дух, призрак, где-то в пустоте, где-то нигде, — вот ё-моё, Наташа...

Наташа

В Мальме магазин есть «Triangeln», что значит «Треугольник», по названию района, где расположен, и в этом магазине еще семьдесят два магазина, что очень удобно, но я не поэтому в Мальме бывать люблю, магазинов везде хватает, по сто в одном, а таких вот высоченных отелей с фитнес-центром на самом верху, куда тебя стеклянный, как будто воздушный лифт поднимает и откуда панорама всей Европы открывается или хотя бы панорама Копенгагена со всей Данией, в Стокгольме, а тем более в Хельсинки, нету, и как раз поэтому я иногда в Мальме, если на юг приезжаю, провожу время в фитнес-центре, глядя сверху на Европу, — красота... Оттуда и замок виден, в котором Гамлет, принц Датский, с ума сходил. Смотришь, думаешь...

Европа потихоньку сходит с ума.

Я в Выборге родилась, где нечего делать, поэтому в Питер поехала, чтобы там или певицей, или артисткой стать. Стала проституткой, ну и ладно, по крайней мере, шведам, которые русских сюжетов литературных: какой-то князь в чем-то виноватым себя почувствовал, на проститутке надумал жениться и тем самым чуть ли не нравственный подвиг совершил, — не просекают. Ну, была проституткой и была. Теперь не проститутка. Шведы, немцы, датчане, и все они на Западе отношения с телом не усложняют. Никаких ему цепей с веригами, только балуют его, только пестуют. Для этого и фитнес-центры с панорамой Европы...

С тем, что не тело в человеке, — сложнее. Но и в это никто так грубо, как у нас, не лезет.

Проституткой я не какой-нибудь была, а приписанной к салону, который держала жена бывшего члена партии — тоже не какого-нибудь. Я в школу ходила — а его все по телевизору показывали. То орден ему вешали, то звезду...

Не знаю, сколько в том салоне всех нас было, но, думаю, не меньше сотни. Причем мы делились вроде как на касты...

Уличных там, понятно, не держали. Проститутки низшей касты, «дамы», продавались в интернете. На сайте салона, сделанном под респектабельный журнал, вывешивались фотоснимки «дам». И рассказывались про них всякие сказки...

Наиболее способных, выучив в низшей касте, переводили в высшую — в «леди». Наученные и сексу, и языкам, и много чему еще, «леди» были более дорогим товаром. Они поставлялись для украшения приемов, раутов, фуршетов. Их брали, чтобы они присутствовали при подписании контрактов, в деловых поездках. И они, безымянные звезды, мелькали на телеэкранах во время государственных, партийных, коммерческих тусовок. Глядь: стоит премьер-министр или спикер парламента, а рядом — твоя подружка салонная...

Панорама.

Из высшей касты отбиралась еще и элитная. Можно сказать, спецназ, который обслуживал бывшего члена партии, мужа хозяйки салона. И выполнял его поручения. Из-за одного такого, последнего, я и попала за границу.

Член партии был из ельцинских, и, когда к власти путинские пришли, его начали вытеснять из бизнеса. Один из путинцев стал его конкурентом в борьбе за питерский порт. Что-то с конкурентом нужно было делать, но на путинских даже киллера найти не удавалось — так их все боялись. Прикидывая варианты расправы, бывший член партии, которому бы в Голливуде сценаристом быть, придумал, среди всех остальных, и вариант с моим участием.

У его конкурента сын был. Мальчик, только школу закончил... В Мариинском театре, куда, понтуясь, приблизительно поровну ходили студентки и проститутки, депутаты и бандиты, я с ним и познакомилась. Столкнулась на лестнице: «Ах!..» — и сумочка выпала, и, когда я за ней нагнулась, грудь выглянула из декольте... Мальчик глаз не мог отвести от ее розового зрачка.

Я через театр и музыку, через живопись его и повела. Через галереи с музеями... Краснела, грубое слово услышав, — я вся умела краснеть... И все ближе, не позволяя лишнего, к груди подпускала.

Мальчик с ума сходил. Теленок... И заявил отцу, что женится. А тот ему по морде, как и было загодя прописано в сценарии.

По тому же сценарию я познакомила мальчика с одним из охранников члена партии, который выполнял поручения по ликвидации. Выдала его за своего старшего брата... И тот, здоровенный, по прозвищу Рожон, слушая мальчика, как мужик мужика, стал подбивать его на подвиг. Мол, если б кто-нибудь ему, хоть бы и отец, хоть бы и брат мешал любить ту, которая для него лучшая из всех, он не выдержал бы. Вот этими бы руками задушил или застрелил бы вот из этого пистолета... И достал пистолет — под игрушку, под зажигалку сделанный. Сказав мальчику, что готов помочь, если он сам не справится. Пусть только в дом проведет, как друга.

Мальчик, совсем уже обезумевший, ответил, что справится сам и пистолета не надо... И поставил отцу ультиматум: или тот позволяет ему жениться, или он вешается. Отец слушать его не захотел: «Вешайся!..»

Мальчик повесился.

Этого в сценарии не было, такого не предусмотрели, как и всего дальнейшего. Боясь, что через меня раскрутят весь клубок, мной заменили одну из «леди», купленную в салоне для деловой поездки, и отправили на подписание контракта в Финляндию. Сказав, что позже пришлют деньги и чтобы я пару лет не возвращалась.

Не знаю, почему просто не убили.

Президент фирмы, которая меня купила, никак не мог продлить контракт на поставку в Финляндию древесины. Мне все равно было, кто и чем занимается, но тут я удивилась: как же раньше ему удавалось что-то продавать, если у финнов вся земля

в лесах? Президент объяснил, свой лес они не вырубают, берегут, русский берет. И, смотри ты, вдруг стали отказываться иметь дело с его фирмой, стали искать других компаньонов. А это миллионы и миллионы, так что мне нужно постараться...

Финны стали отказываться, как оказалось, не зря: все представительство фирмы, ради которой я старалась, через день после переговоров арестовали. Вместе с президентом. Потому что фирма, которой мало было миллионов и миллионов за саму древесину, в полых стволах, аккуратно закупоренных вырезанной сердцевинкой, гнала на запад контрабанду. Потом, увидев, что канал работает надежно, принялась за наркотики.

Меня задержали, потому что в бумагах, по которым меня привезли, я значилась менеджером фирмы. И передали дело в суд...

Если б за что другое, то в финскую или шведскую тюрьму еще попробуй сядь: в очереди надо постоять. А за наркотики сажают без очереди, быстро и надолго.

Я довольно неплохо знала финский язык, потому что соседи в Выборге финнами были, чуть хуже английский и шведский — и на всех языках спрашивала: в чем моя вина? Мне отвечали, что в неумышленном соучастии. Я спрашивала, что это такое: неумышленное соучастие. Мне отвечали, что вот то, что у меня, соучастие неумышленное... И наматывали за него два года. Как раз столько, сколько меня просили не возвращаться в Питер.

Случайно в газете я прочла, что в связи с расширением Евросоюза от Финляндии требуют большего контроля на границе с Россией. И поняла я, что такое неумышленное соучастие.

Помог мне один из директоров совместной финско-шведской компании. Недавний наш партнер. Тот, с которым я работала для продления контракта. Даниэль Соломонсон, швед. Он просто спросил, чего я больше хочу: в тюрьму или за него замуж?.. Будто в шутку предупредив, что это почти одно и то же...

Не поняв шутки, я согласилась замуж, потому что мне, кроме всего, и жить было негде. Разве только в тюрьме.

Даниэль нанял американского, чтобы не из Евросоюза, адвоката, специалиста по делам с наркотиками, и тот доказал, что я ни при чем. Я заметила, как перед американцем финны не то чтобы стали по струнке, но все-таки заволновались: о'кей... о'кей — и мне это, честно говоря, не очень понравилось. Чем-то оно на то, что у нас делалось, было похоже... И выходило, что во всем мире так: где деньги, где сила, там и правда.

Оформлять наши отношения Даниэль не стал. Никак. Считалось, что мы в гражданском браке. Он перевез меня в Швецию и поселил в особняке в пригороде Стокгольма, почти что в лесу. И каждый день мы ходили на лыжах. Представьте: на лыжах каждый день. Кругами, кругами...

Когда Даниэля не было дома, я выбиралась в город. С деньгами только на карманные расходы. На кофе с пирожным.

Однажды в кафе, где я пила кофе и ела пирожное, появился Рожон. Я чуть не задохнулась, подавившись пирожным... Не ожидала. И не подумала, что через Рожна мне деньги передали. «Конец мне», — подумала.

Денег никто и не передавал. Рожон сказал, что вслед за мной он успел сбежать, а члена партии нашего повесили. На той же веревке, на которой повесился мальчик. В том порту, за который член партии сражался с конкурентом. Так что мне, выходило, не два года домой возвращаться нельзя, а до новой русской революции.

Рожон спросил, что я делаю?.. Почему в лесу прячусь?.. Он тут фирму открывает, ну и... Он ничего в своей фирме не мог предложить, кроме места проститутки.

Вернувшись в лес, я собрала все лыжи, их много было, порубила и бросила в камин. Сидела и грелась.

Среди лыж были «дамы» и «леди». А среди «леди» — еще и элитные. На них ходил отец Даниэля, который даже был когда-то каким-то чемпионом, и ходил дед Даниэля, и прадед... Даниэль говорил, что все они, как только на свет появлялись, сначала на лыжах ходить учились, а потом уже так, без лыж.

Даниэль приехал, когда все догорело. Увидев пепел, напился. Потом бил меня. Долго, всю ночь.

Утром, вся в синяках, я собралась в полицию. В феминистической Швеции синяки на женщине — это не у нас на женщине синяки. Где кто кого любит — тот того лупит, и нет над этим ни суда, ни закона. Тут надо всем есть и закон, и суд — и немалая сумма компенсации от того, что любит и лупит, если он не хочет в тюрьму. А к тому же — огласка, которая повлияет и на его собственный имидж, и на имидж компании... Поэтому Даниэль спросил, чего я хочу, чтобы обошлось без полиции? Я ответила, что свободы.

Он согласился. И, чтобы на свободе мне было на что жить, помог с работой: через какого-то финна, университетского друга своего, шишку в компании «Викинг», устроил на паром. Хоть мог и закопать в лесу — никто бы меня не искал.

Tack se mycket, Daniel¹.

Сначала я работала в баре, потом в казино... Старалась, быстро шла в гору. Появилась на обложке журнала с рекламой парома — и по этой рекламе меня снова нашел Рожон. Он открыл фирму, торговал, возил контрабанду, ему нужен был свой человек на пароме. Я попробовала отказаться, он положил мне руку на спину и сжал пальцы на шее. Когда я очнулась, сказал, что в следующий раз сдавит сильнее.

Две недели я ходила в ошейнике. Не сомневаясь, что в следующий раз Рожон сильнее сожмет. Как он с людьми расправляется, я знала, видела, и у меня перед ним был панический страх. Даже перед самой смертью — меньше.

Однажды на паром села одна из наших, салонных... С билетом в люкс на восьмой палубе. Вылупилась на меня, увидев, как на привидение.

У нее в люксе мы немного поговорили... Салон теперь принадлежал конкуренту нашего члена партии. А Рожон убежал, прихватив деньги бывшего хозяина. Не все, но и немало прихватил, если его ищут. Вот и ее снарядили, чтобы посмотрела: он вроде бы в Стокгольме...

В следующий раз я увидела ее не в каюте люкс, а в полицейской хронике. Полиция не могла опознать труп молодой женщины.

Перед рейсом, которым плыл Павал, Рожон сказал, что из Питера посылают кого-то для разборок... Ну и чтобы я повнимательней присматривалась... Особенно к тем, кто в казино крутится, в барах...

Рожон старался меня сильнее припугнуть, чтобы службу верней несли, но по его виду, по голосу чувствовалось, что он и сам побаивался. Потому что знал: если уж за него взялись — не отступят. Серьезные теперь люди в России.

А Павал мне понравился... Я люблю людей, которые весело, играючи к жизни относятся. Для которых день — копейка в кармане. И не трясутся они над каждой, и не смотрят, сколько осталось. Как повезет, потому что судьба — рулетка.

Он шепнул мне под утро, что, если захочу, можем быть вместе. Мне это все предлагают — кто с утра, кто с вечера... Я ответила, что мы не можем быть вместе, потому что я проститутка. Даже не сказала, что бывшая. Он засмеялся: «Ну и что?.. Знала бы ты, кем мужики бывают...»

Эти белорусы, особенно жулики, все равно что шведы.

На Павала я и не подумала ничего, пока он, собираясь утром, пистолет не достал и спрятал сразу же... Небольшой такой, похожий на тот, который Рожон мальчику давал. Под зажигалку сделан.

Из Стокгольма Павал ехал в Мальме, где уже больше недели по контрабандным своим делам крутился Рожон. Все как будто сходилась — и я назначила Павалу в Мальме свидание. Но на завтра, чтобы дать ему шанс. Если он успеет разобраться с Рожном, то что ж: рулетка, судьба. И никто мне шею сдавливать не будет.

Я на пароме еще была, когда позвонил, как почуяв что-то, Рожон. Спросил: «Ну, что?..» Я ответила, что, кажется, прислали человека. И он едет в Мальме. Завтра в шесть вечера около отеля «Хилтон» я встречаюсь с ним.

Рожон хмыкнул. У него хмык такой — похожий на всхрап, как у зверя, который наелся и доволен. Скорее всего, он и есть зверь, в человеческом обличье.

¹ «Большое спасибо, Даниэль!» (шведск.)

Мы мало про других знаем, да и про себя не больше...

Мне вот что про саму себя непонятно: зачем я Рожну про Павала сказала?.. Хотя еще до того, как он хмыкнул, подумала: а что это я делаю?.. Кого, как финны лес, берегу?.. И сразу же, за мгновение какое-нибудь, наново передумала: если Павал первым разобраться не успеет, тогда очередь Рожна. Шанс у каждого быть должен.

Почему я так сделала?.. так подумала?.. так передумала?..

Не знаю.

После обеда в фитнес-центре никто и ничем в тот день не занимался, свадебную церемонию неотрывно смотрели: датский принц женился. На свадьбу в Копенгаген все европейские короли и президенты съехались, у невесты в кремовом платье шлейф был метров двадцать, одна из посетительниц фитнес-центра, англичанка, у которой с принцем когда-то что-то было, которая была его girl-friend, вопрошала: «Ну что он в ней нашел?.. Что в ней нашел он, с ума сошел?..» — пока я не сказала всем и ей, что для датских принцев сходить с ума — это нормально. Англичанка заткнулась, а я смотрела на блестяще-переливающийся шлейф невесты, который тянулся по красной ковровой дорожке и был, наверно, даже из космоса виден, и так в груди защемило: не было у меня и никогда не будет свадьбы не то что королевской — никакой. Еще я думала про то, сколько всего одновременно в мире самого разного происходит: вон короли с королевами, странные в наше время в коронах своих, собрались, невеста с бесконечным шлейфом и жених в золотых эполетах, священник, цветы, блеск, этикет, манеры, а недалеко Рожон с Павалом бродят, думая, как им друг друга убить, и вдруг я почувствовала, мне показалось: с Павалом у меня что-то может быть. Пускай не королевское, но что-то может быть, потому что для него сходить с ума — это нормально. И уже из фитнес-центра спускаясь, я из стеклянного лифта, к которому не привыкну никак, потому что кажется, что вот-вот упадешь, увидела, как к Павалу, который неторопливо, потому что до шести полчаса еще оставалось, шел к отелю, а я на полчаса раньше спускалась, чтобы предупредить его, что в шесть ко мне ни в коем случае нельзя подходить, чтобы потом у нас с ним, пусть и не королевское, но что-то все же было... — так вот тут я и увидела из стеклянного, как будто воздушного, лифта, как к Павалу, во все новое, будто на свадьбу, одетому, потому что он, видимо, разбогател, подошел человек, одетый неряшливо, как бродяга, и попросил, как мне показалось, у Павала прикурить, а Павал достал пистолет, на зажигалку похожий, потому что, наверно, все понял, первым хотел выстрелить, но не успел, бродяга опередил его, выстрелив из такого же пистолета, и Павал долго, как будто не находя, куда кейс поставить, оседал, подминая зеленый пакет с нарисованным на нем красным трактором и все смотрел вслед бродяге, который потихоньку, не оглядываясь, отходил от него по Sodra Forstagatan, 1-й Южной улице, в начале которой мелькнул в толпе Рожон, который без меня, звериным нюхом своим вынюхал Павала и использовал свой шанс, а Павал свой не использовал, и, может быть, из-за меня: я заняла его свиданием, вон как оделся — не на смерть же...

Лифт только спустился, а уже приехала «скорая помощь», и две полицейские машины. Делать мне тут больше было нечего, надежда, вызванная королевской свадьбой, сказкой про Золушку, мелькнула и пропала, я заспешила на вокзал, краем глаза наблюдая, как бродягу, который не убегал, не прятался, шел себе тихо, как будто гуляя, по улице, полицейские из одной машины догнали, сбили с ног, скрутили, а полицейские из второй машины бросились к Павалу, которого заносили в «скорую помощь», и один из полицейских, в перчатках, осторожно пистолет Павала с тротуара поднял, присмотрелся к нему, щелкнул им и показал другому полицейскому, который сказал: «Det ar leksaken, tandaren...»¹

¹ «Игрушка, зажигалка...» (шведск.)

Рожон

Я в пригороде родился, в сельхозпоселке. Около любого города такие поселки есть, и каждый, кто там живет, с детства знает, что родился он и живет для того, чтобы драться с городскими. Каждый вечер садились мы в электричку и ехали или в парк, или на дискотеку, где, недолго думая, чтобы к ночи домой вернуться, устраивали драку. Нам было все равно, кого и за что бить, и чаще, чем мы их, городские, собравшись, били нас, но нам это только добавляло злости. На завтра, смыв кровь, мы снова садились в вагон электрички и ехали, чтобы драться насмерть. Мы ни про что не думали, нас привлекала опасность, риск, нам нравился сам запах драки, а в газетах про нас писали, что мы — социальная проблема.

Как-то по телевизору про нас дискуссию завели, и один профессор сказал, я запомнил, что мы деремся, подсознательно отвоевывая себе территорию для жизни, занятую теми, кому она просто так досталась. Я понял, что имел в виду профессор: это как кому-то выпадает королем родиться, а кому-то драться и драться, чтобы на королевской кухне или на конюшне служить.

С детства, кроме того, что дрался и был всегда голоден, я вот еще что запомнил. Из армии Леник, соседский сын, вернулся, и сосед петуха, чтобы к столу зарубить, словил. Топтался с петухом в дровяном сарае, никак топор не мог найти, на жену кричал, что она куда-то дела, а Леник сказал, что не надо топора. Взял петуха из рук отца — и чик по шее ребром ладони, как будто топориком. Голова под колоду отлетела, а Леник равнодушно, даже лениво руки вытер одна о другую, бросив петуха, который побежал по двору без головы, брызжа кровью из горла во все стороны...

Я поклялся себе, что научусь так же, как Леник... Так, чтобы голова отлетала, по шее бить и так же равнодушно, лениво руки вытирать.

Поклялся и научился. В секцию карате пошел, в армии в спецназ взяли, намахался и топорами, и лопатками... Человеку голову так просто, как петуху, без лопатки или топорика не срубить, тут невероятная сила и скорость удара нужны. Жилистый человек. Особенно мужик, баба не такая.

В конце концов, что мужик, что баба — шейные позвонки у всех из костей. Их уже я, набивая руку, наломал. Слава богу, было кому и где, везде воевали.

Если бы в спецназе платили нормально, можно было бы и дальше служить. Однако не платили.

Отслужив, попробовал в спорте покрутиться, только там после настоящих драк запах не тот. Потом там пахнет, не кровью. Поэтому согласился, когда предложили другую работу.

Новый русский, который нанял меня в охрану, был никакой не новый, старый член партии. Из высшей касты. Из тех, кто начал дележку, поделив страну так, что все, что было в ней на земле и под землей, им досталось. А потом они клялись, что совсем не этого хотели — просто так вышло. Но не иначе, понимаешь, вышло, а именно так. С чем не могли смириться те, кто к дележке стал подбираться попозже.

В то время, когда в Кремле питерские стали верховодить, московские давно уже все поделили. В газетах писать начали, что нельзя допустить передела, потому что это дестабилизация, инфляция и тому подобное. Сразу же каждому, кто был хоть немного с мозгами, стало понятно, что начался передел. В Кремле собрали всех, кто раньше хапнул, сказали: «Мы не будем вас трогать. При условии, что тот, кто хапнул на металле, вкладывает деньги в металлургию, кто на нефти — в нефтедобычу, кто на оружии — в армию...» — и далее по всему списку. Так они как будто хитро придумали, как деньги хапнутые забрать. Ну, не все, хоть сколько-нибудь — вроде как с заботой о стране.

Нашли дураков...

Старых питерских заодно с московскими прессовали, несмотря на то, что земляки. Мой член партии тоже на этой сходке был. Им сказали, они послушали, головами покивали: мол, согласны. Только никто, ясное дело, ни копейки не отдал. Наоборот, так уже грести стали, как будто своего недобрали. Тогда-то самой большой очередью в Питере и стала очередь на кладбище. Как и в Москве.

За питерский порт было несколько войн, и когда началась новая, член партии сказал мне, что нужно не только защищаться, но и нападать. Зубы показывать, чтобы не думали, что они у него повыпадали. Короче, чтобы я набрал людей. Группу ликвидации.

Я подобрал в группу семерых. Вместе со мной — восьмерка, на две машины. Четверых своих спецназовских взял, троих сельхозпоселочных... На работе не передохнуть было, не успевал руки вытирать.

Члена партии снова зауважали, отступаться от него, казалось, начали — и вдруг чуть не прикончили. Еще и при своих.

Жена его бордель держала, салоном его называя. Несколько проституток хозяйина обслуживали, у него на посылках были. Такие — не подступиться. Гордость показывали. Свою проститутскую, но гордость. «Мы не в борделе, мы в салоне». Я попробовал с одной, с Лялей, худощавой такой... Она мне: «Ты на себя посмотри, кабан!..»

Сучка.

Как раз в нанятой для нее квартире на Васильевском в члена партии и пальнули. Из дома напротив, Ляля в спальне окно не зашторила. Пуля задела цепочку, на которой шторная ручка висела, откикошетила. Так что член партии случайно спасся — и поручил мне разобраться.

А что тут разбираться?.. Сучка. Перекупили, работала на кого-то. Нужно было остальным показать, что за это бывает.

Я сказал хозяйке, чтобы в той же квартире на Васильевском созвала проститутское собрание. Весь их блядский спецназ собрала, как они сами себя называли. Поставил Лялю перед всеми и, если уж они спецназ, — чик по шее! Шея у нее, как у курицы была, и Ляля, наверно, даже сообразить не успела, как у нее голова отлетела, и побежала за ней, за головой, без головы, всю квартиру кровью заляпав...

Эффектно вышло. В обморок не упали только хозяйка и Наташа, которую я тогда и заметил. Она не стала, как Ляля, ломаться. Да и все они как шелковые стали.

Что-то в Наташе меня привлекало. Она была проституткой — и в то же время нет. Я понимаю, что такого не бывает, но в ней вот такое было..

Не знаю, что это и как объяснить... Электричество... Я хотел даже предложить ей жить со мной. Как раз перед тем, как хозяин подкинул нам работу на двоих. После которой было уже не до электричества.

Мы узнали, кто из конкурентов заказал члена партии, но его, бывшего гебиста, завалить не получалось. Чуть ли не армия у него была, крепко стоял. Тогда член партии и придумал, как разобраться с ним через его сына. Подробный план написал для меня и Наташи, которая должна была так мальчика подбить, чтобы он или сам отца прикончил, или меня в дом провел.

План мне не понравился, кино какое-то. А мальчик понравился. Даже жаль было, когда повесился...

Забавный он был. Я пистолет ему даю, чтобы он, как мужик, за себя постоял, и он как будто согласен отца пришить, чтобы с Наташей быть, и вдруг говорит: «Вы пистолет мне подыщите, чтобы ненастоящим выглядел, на игрушечный был похож. Чтобы я думал, что это игра...»

Я принес ему небольшой, итальянский, на зажигалку похожий, он и его не взял... Так пистолетик тот у меня и остался. Ношу его с собой, никто не догадывается, что настоящий.

А мальчик веревкой обошелся...

У отца его в охране мой однокашник армейский, бывший спецназовец, служил, который меня предупредил, что хозяин, как только сына похоронил, сразу же в Москву поехал. Чтобы сообщить там, что член партии давно уже всем мешает. И сообщил, с ним согласились. Так что жди, сказал однокашник, гостей. Или соскакивай, чтобы мы друг друга не постреляли.

Я не стал ждать. Перед тем, как соскочить, обчистил члена партии. Взял, можно сказать, партийную кассу. Из-за этого меня и стали доставать за границей: верни чужое.

Хрен вам. Почему оно не мое, а ваше? Вы что: королями родились?..

Дома жить нельзя было. Разве что недолго.

В Стокгольме я подался, потому что там у меня свой человек был. А у него — свой адвокат, который помог офис купить, фирму открыть. Посоветовал хотя бы одного шведа на некоторое время на работу взять. Я взял безработного, адвокат журналиста нашел, который написал, что я создаю в Швеции новые рабочие места. Не за их счет живу, за свой, и им еще от меня перепадает. На таких людей не так, как на обыкновенных иммигрантов и беженцев, которых кормить надо, смотрят.

К тем, кто с деньгами, везде отношение как к людям, которые с деньгами. К другим — другое. Оно было так, есть и будет.

А швед мой, зарплату отработывая, наркоту из Копенгагена возил. Ему дадут — он повез. Не зная, что везет. В прошлый раз его в Мальме чуть не повязали, и я поехал туда, чтобы прощупать, что там и как.

Наркотой в Скандинавии издавна африканцы с азиатами занимаются. Большей частью они. Еще цыгане. Но все больше и больше товара стало идти в Европу из Средней Азии через Россию — и серьезно подключились наши. Мой человек в Стокгольме был как раз одним из них.

Он сказал мне, чтобы швед исчез. Потому что, если уж на него вышли, то все равно повяжут. А в какой он фирме работает, кто помог фирму открыть?.. Как только это выяснится — нам сидеть.

Я и сам не сомневался, что, если его возьмут, швед всех сдаст. Наш бы еще юлил, придумывал что-нибудь: не знаю, не мое. Около аптеки нашел, думал, что витамины. А швед расскажет все, как на исповеди. И не только швед — хоть финн, хоть немец, хоть норвежец. Закопослушные.

Адвокат мой однажды завел меня в суд. На практические, можно сказать, занятия. Чтобы лучше я шурупил, в каком мире теперь живу. Он на суде деда защищал, который отравил кота. Мозги у кота съехали: по ночам мяукал, царапался, спать не давал. Дед терпел-терпел — не вытерпел. А свидетели, соседи, подчистую его сдавали. Рассказывали, как кота он мучил. «На поводке, — одна соседка показывала, — гулять ведет, и поводок дергает, дергает...»

Все смотрели на этого деда как на садиста конченного.

Потом это в газеты попало, на телевидение... У нас людей каждый день кончают — и ничего. А тут кота отравил — на всю Швецию скандал.

Хоть и у них, бывает, стреляют... Премьера какого-то когда-то убили. При мне бабу, которая министром была, завалили. Подошел мужик в магазине — и завалил. Без причины, и даже не судили. Признали ненормальным, если без причины.

А причина была. Не ходи, если ты министр, по магазинам. У нас ни одного министра в магазине не кончили.

В Мальме в отеле «Хилтон» я на последнем этаже, на самом верху, поселился. Откуда, как портье сказал, чуть ли не вся Европа видна. Ну или вся Дания. Во всяком случае, Копенгаген. Откуда швед наркоту возил...

Глядя утром на Европу, которую из-за тумана не было видно, я прикидывал, как мне половчей со шведом обойтись. Чтобы исчез, как туман.

Ничего дельного не приходило. Спустившись в ресторан позавтракать, я позвонил Наташе. Она сказала про посланца из Питера, который едет в Мальме. С которым она договорилась встретиться завтра в шесть вечера около отеля «Хилтон».

Ты думаешь, как сделать так, чтобы кто-то исчез. А кто-то думает, как сделать так, чтобы исчез ты. Жизнь идет, все нормально.

За соседний стол, притащив две полные тарелки рыбы и мяса, парень худощавый присел, к нему официант подошел и стал спрашивать, в каких тот апартаментах живет? Не потому, думаю, спрашивать стал, что парень гору еды набрал, а потому, что не выглядел здешним постояльцем. Не похоже было, что он спустился из своих апартаментов на завтрак в ресторане отеля «Хилтон». Даже куртку зановошную, очевидно из секонд-хенда, не снял. Бродяга.

Он назвал официанту номер комнаты — одной из самых дорогих в отеле. Из которой чуть ли не вся Европа видна. Официант не поверил и пошел уточнять... Поглядывая по сторонам, парень выбирал момент, чтобы убежать.

Не назвал бы он номер — пускай бы бежал. Но он назвал, и номер этот был написан на моей гостевой визитке. На той, которую вчера выдал мне портье.

Меня настораживают любые, а тем более такие совпадения. У каждого свой опыт — и у меня свой. С такой работой, как у меня, я убедился: если хочешь живым быть, не допускай мысли, что случайное происходит случайно. Чем-то оно вызвано. Ищи чем. И как можно скорее ищи, потому что можешь не успеть.

Парень встал, я бросил через стол: «Сиди!..» Он перепугался от неожиданности, хоть и не очень. Снова сел и, что меня удивило, стал есть.

Когда официант вернулся с молодыком из службы безопасности, я подозвал их и сказал, что живу в названном номере, а за соседним столом завтракает мой гость, за которого я плачу. И показал официанту визитку...

Никто у меня не спросил: почему мой гость завтракает за соседним столом? Если платят, то пусть завтракает за соседним. Может, так принято у нас — по отдельности завтракать, чтобы с самого утра друг друга не раздражать.

Как и на постояльца «Хилтона», так и на посланца из Питера парень, одетый как бродяга, был мало похож. Ну совсем не похож. И не мог посланец успеть сюда, проехав четверть Швеции, — паром только что в Стокгольме причалил. И не посылают таких, но... Он назвал номер как будто специально для меня. Невероятная, слишком большая случайность.

Съев все, что принес, гость мой еще раз сходил к шведскому столу и набрал столько же. Он был меньше меня раза в три, куда оно в него лезло?.. Присмотревшись, я заметил, что он давно уже не парень — такой подсохший мужичок, который выглядит парнем. Наконец, он наелся, я встал и взял его под локоть: «Пошли покажу, где живешь».

Он пошел, еле передвигая ноги... не потому, что объелся, он вообще был какой-то вялый.

Оказался белорус. Из Волковыска, я и не знал, что такой город есть. С названием, как будто волки в нем воют... Он там борцом каким-то был, сражался за что-то. Как они, такие вялые, там сражаются?..

И я не понял: за что? Чтобы Россия, он сказал, не заняла Беларусь. А зачем России Беларусь занимать, если Беларусь и так Россия?..

Звали его Святославом. Такое белорусское имя — в России не услышишь. Святая слава, святая обязанность, святая отчизна... Наслушался я этого в армии — слышать не мог.

Он подошел к окну в моем номере и долго смотрел. «Там где-то, — за туман показал, — замок, где Гамлет жил, должен быть».

Я сказал: «Ну и что?..» — и он вздохнул, глядя в туман: «А то, что Шекспир...»

— Что Шекспир?..

— А то...

— Что то?..

— Если б у нас был Шекспир, то была бы и история... Все было бы по-другому...

— Что по-другому?

— Все...

Что у них могло быть по-другому, если мы вместе в Советском Союзе были? А если мы вместе в Советском Союзе были, то при чем тут Шекспир?..

Говорил он немного заикаясь: «У нас бы-был... и бы-бы-ла бы...» Кличку бы ему какую-нибудь, так Бабыб в самый раз была бы. Я так и сказал: «Давай Бабыбом называть тебя буду, на Святослава ты не похож», — и он кивнул, не поворачивая головы от окна в тумане: «Называй...»

В свете окна, хоть и туманном, я рассмотрел, что он старше меня — и тем не менее называй его, как хочешь... И только сейчас он спросил:

— А тебя как называть?

— Рожном.

— Рожном так Рожном...

Нет, на разборки таких не посылают. Чем-то он на того питерского мальчика, который повесился, был похож. Только постаревший... Вот я и подумал: может, его

использовать?.. Не сразу подумал, а тогда, когда он сказал, что делать собирается. Он родился в Волковыске, потом в Минске жил, где гоняли его за борьбу, в каталажку сажали. С работы турнули... В поисках, где бы осесть и на кусок хлеба заработать, он вернулся в Волковыск. Родители умерли, дом сразу же после их смерти он за копейки продал, осел у двоюродного брата. Устроился на почту, где брат почтальонил — и обоих их выгнали, хоть на всю почту только и было почтальонов, что он и брат. Уволили их из-за того, что они в пикете стояли: он брата, который приютил его и помог работу найти, на пикет притащил, чтобы его вместе с ним выгнали! И чего притащил — чтобы выгнали?.. Чтобы улицы Суворова в Волковыске не было, не хотел он газеты на улицу Суворова носить.

У меня тоже есть двоюродный брат, на истории повернутый, так он мне однажды рассказал, какой бездарный был поход Суворова через Альпы, где без всякого толку тьма людей погибла, померзла... Так ведь плевать на это, когда это было? Так что я снова не понял: «При чем тут Суворов?..»

Отовсюду изгнанный, Бабыб не знал, как быть дальше, и кто-то ему сказал, что белорусов, которые борются, за границей принимают. Сразу все им дают.

Одолжив денег у брата, который продал полдома и готов был, наверно, последнее продать, чтобы только от него избавиться, он купил тур по Скандинавии, приехал — никто ничего не дал. Кроме места в лагере для беженцев. Но теперь и этого нет: ему отказали в политическом убежище и он попал под депортацию. Поэтому убежал из лагеря, задумал или поджечь что-нибудь, или взорвать, или хотя бы кого-нибудь убить, чтобы сесть в тюрьму, или в клинику попасть для психически больных. Лишь бы домой не возвращаться. А поджечь что-нибудь или убить кого-нибудь задумал, потому что если просто украсть или еще что-нибудь сделать такое, несложное, то не посадят, все равно депортируют.

Совершенно случайно, поднося вещи, он побывал в какой-то клинике для психов, там хорошо. Живут шведы, больные на голову, так, как белорусам, на голову здоровым, и не снилось. Он не был больным, нет. Я знал таких людей, они как будто не сами живут на этом свете. Как будто кто-то их жить заставляет. Таких посылают на то, на что другого не пошлешь. Другой, не такой, не пойдет. Таких вербуют в смертники, чтобы сделать из них живые мины.

Вот я и задумал: против посланца его использовать, если сам он не посланец, или против шведа?..

Я допускал еще, что он может быть посланцем, но уже только по привычке ничего, даже самого невероятного, не исключать. Исключить можно было только то, что он швед.

Посланца, если он посланец, можно перекупить... Я сказал ему, что если уже решился он кого кончить, то могу предложить кого... Он не удивился, а меня удивил, коротко бросив, не отворачиваясь от окна:

— Только не женщину.

Я-то хотя бы повернулся... И спросил бы первым делом не о том кого? — о чем он по сути спросил, — а о том за сколько?.. И кто угодно другой повернулся бы и о том же самом спросил...

И почему не женщину? Какая разница?.. Шведа или русского — разница, за русского в Швеции меньше дадут.

Я сказал, что не женщину. Спросил, что он за это, кроме шведской психушки или тюрьмы, хочет? Он сказал, что должен брату за половину дома...

Очень понравился ему, как когда-то мальчику питерскому, пистолет. Потому что маленький, на игрушечный похож. «Из него стрелять как играть. Сам не поверишь, что...»

Бабыб недоговорил: что?...

Киллеров таких не бывает. Какой из него посланец?.. Конченный бабыб.

«Рожон, — удивился я самому себе, — с кем ты связался? Мозги тебе отшибло?..»

Я взял его сзади за шею — у него глаза на лоб полезли, я умею так за шею брать, чтобы глаза на лоб лезли:

— А двоих убьешь? За двоих получишь, как за целый дом.

Он попробовал крутануть головой, не смог, но попробовал: «Нет».

— Тогда все, — разжал я пальцы и подтолкнул его к двери. — Выметайся.

Он не выходил. Стоял у дверей, потирая шею и зажмуривая глаза, пытается глаза в глазницы вернуть. Потом сказал так, по-детски, как на конфеты попросил:

— Слушай, дай мне кого-нибудь убить. Не дашь, тогда убью тебя. Не знаю как, но убью.

Кроме детей, такие жалостливые интонации только у голубых проскакивают. «Падлой буду, землю есть буду, брать...» — а у самого шило в рукаве.

Убить меня он не мог ни при каком раскладе, и, все-таки многое повидав и узнав в жизни, я знал, что такое упорство. Передо мной — с вылезшими на лоб глазами и детскими разговорами — стоял упертый мужичок. А значит, если не в эту минуту, то в следующую — готовый на все. Не воспользоваться таким было бы ошибкой...

С посланцем из Питера ему не справиться. Если оттуда послали человека, то такого, который дюжину бабыбов уложит.

Я уже чуть не додумался взять его с собой в Копенгаген, против шведа использовать, если ему все равно, кого убивать, лишь бы не женщину. И в Копенгагене, в отличие от Мальме, я с ним не светился: в ресторане с ним не завтракал, за гостя своего не выдавал... Но он, как будто угадав, про что я думаю, опередил меня:

— В Данию не поеду. Тут я хоть на каких-то правах, а там совсем без прав.

На каких он тут правах?..

Не потому, что он уперся, а потому, что еще не сложилась во всех деталях схема разборок со шведом и посланцем, я поехал в Копенгаген, до завтра оставив своего гостя в номере отеля «Хилтон», откуда открывалась панорама всей Европы.

Назавтра, вернувшись в Мальме и торопясь, потому что была уже половина шестого, в отель, я из толпы у фонтана увидел Бабыба, который подходил к какому-то всему блестящему фраеру с пакетом, и по тому, как он не бочком, не оглядываясь, а решительно и уверенно шел, я понял, что сейчас что-то произойдет, но не думал, что они, фраер с Бабыбом, сойдясь, схватятся за пистолеты — и Бабыб, как это ни удивительно, успеет выстрелить первым. Это на самом деле чудо, что он успел выстрелить первым, потому что Наташа в фраере с пакетом, которого завалил Бабыб, узнала питерского посланца...

Вот тебе и Бабыб.

С вокзала, где, дрожа, потому что все видела своими глазами, ждала меня Наташа, я позвонил своему адвокату в Стокгольм и сказал, что для него в Мальме есть работа.

Святослав

Я не похож был на убийцу, даже на бандита обыкновенного вряд ли тянул, так, бродяга, который подошел и спросил, можно ли прикурить?.. Нет, я не спросил, у меня сигарета была в левой руке, а правой я показал, что прикурить хочу, пальцами щелкнул... Он полез в карман, чтобы достать зажигалку, такую игрушку, зажигалку-пистолет, на небольшой маузер похожую, а я из пиджака, из нагрудного кармана настоящий пистолет достаю, который он, наверно, за игрушку-зажигалку принял, только побольше, чем у него, и я как будто встречно хочу дать ему прикурить — он, значит, мне, а я почему-то ему, поэтому он подумал, я в его глазах прочел: «Что за цирк? Припыленный, мужик, что ли?..» — а я ровненько посередине лба ему, над переносицей, как раз туда, где индусы тики свои ставят, выстрелил. Он не понял ничего, удивился только: «Вот е-мое...»

Ему не повезло. Не только потому, что по шведскому городу Мальме он с красно-зеленым пакетом, с нарисованным на нем трактором «Беларусь» шел, а вообще не повезло. А могло бы повезти. Мы никогда бы могли не встретиться, если бы я не подался в Швецию, где подловили меня в Мальме на завтраке в ресторане отеля «Хилтон» — и я познакомился с Рожном.

Меня в Стокгольме один цыган научил этому: заходишь утром в ресторан отеля, когда там завтрак, с таким видом, будто ты в этом отеле живешь, и набираешь со

шведского стола еды, сколько захочешь. Еще и с собой бутербродов на целый день набрать в карманы можно, никто не следит.

Одежда только надо чтобы была более-менее... Не смокинг, но и не лохмотья, как на мне. Поэтому официант в «Хилтоне» ко мне и прицепился.

Если словят, то что же: поддержат — и отпустят, потому что в тюрьме ты дороже им обойдешься, чем, пару бутербродов украв, на воле. Но мне нельзя было попадаться, потому что если словят, то депортируют: я убежал из лагеря. А убежал потому, что мне отказали в политическом убежище, а значит, все равно бы депортировали.

Звучит страшно: лагерь. Тепло, сыто. Жил я в отдельной комнате, от квартиры все равно отличается — кухня с туалетом в коридоре. Живешь на всем готовом, а тебе еще и деньги каждый месяц дают, как беженцу. По шведским меркам — мелочь, но в Волковыске я за такую мелочь отцовский дом продал.

Я в Волковыск из Минска вернулся, веру потеряв. Во все. Потому что потерял женщину, которую любил и которая сказала однажды, что из-за меня и всех этих самых недоразвитых, как я, она потеряла лучшие свои годы, молодость, женское счастье — ни на что жизнь положила. Под флагами и штандартами на шествиях и пикетах.

Выходило, что я тоже ни на что жизнь положил.

Женщину, как и все остальное, что я потерял, звали Верой.

Мы познакомились, когда ей и двадцати не было. На Деды, в Минске, около Восточного кладбища... Теперь ей почти сорок.

Двадцать лет прошло... Чьи-то дети родились, подросли, в первый класс пошли и школу закончили. Но не наши дети, мы все в шествиях и пикетах... Ни работы, где бы платили, чтобы нормально жить, ни семьи, ни дома...

На те Деды, с которых все наши шествия и пикеты начались, меня преподаватель истории, я в институте тогда учился, позвал. Вместе с Настой, которую, как мне казалось, пока Вера не встретилась, я любил. Наста тоже была из Волковыска, на год позже меня — и из-за меня, как она говорила, — в институт поступила. Учились мы на одном факультете, жили в одном общежитии. Когда кончалась стипендия, а кончалась она на удивление быстро, и живот сводило от голода, мы ходили на Комаровский рынок, где пробовали, как будто купить собирались, всего понемногу, что там было: колбас, сыров, рыбы... По кусочку, по ломтику — так и наедались. Если же отламывался кусок, который уже не пробуют, а покупают, и торговцы поднимали крик, Наста внезапно сбрасывала свитер или кофту, что там на ней было: «Посмотри на ребра студенческие, морда спекулянтская! И ты меня куском сыра попрекать будешь? Да подавись ты им! На, задавись!..»

У Насты с детства были способности к эффектам...

Уходя с рынка, мы еще и семечек с орехами, тоже как будто пробуя, с собой набирали... Так что, может быть, и ни при чем тот цыган, который в ресторанах отелей завтракать меня учил. Красть понемногу я уже и сам умел.

А кто у нас не крадет хоть понемногу? Я у брата своего двоюродного, который хвастался, что за всю жизнь не украл ничего, спросил однажды: а что ты мог украсть? Люк канализационный, когда литейщиком на промкомбинате был? Газету вчерашнюю, когда почтальоном ходил?.. Брат и заткнулся.

Знать про себя, что он не вор, может разве тот, кто имел возможность украсть — и не украл. Как и про то, что он не убийца, может знать только тот, кто мог убить — и не убил.

Я бы многих убил, если бы мог. И впервые почувствовал это на те Деды около Восточного кладбища.

Вера на Восточном кладбище оказалась случайно. Хотя, скорее всего, это мы с Настой оказались там случайно, а у Веры прадед с дедом, а теперь уже и отец, на том кладбище похоронены. И она пришла на Деды, как на Деды, а там такое... Толпа, милиция, дубинки... Милиционеры рассекают толпу начали, мне мерзостью ядовитой, которая «черемухой» почему-то называлась, в лицо брызнули и в «воронок» потянули, по ребрам лупя. Меня тащат, лупят, а Наста, я из-под локтя выкрученного, из-под подмышки вижу, в сторону отворачивается. Не кричит, как на рынке: «Посмотрите на

ребра студенческие, морды милицейские!» — а как будто и не видит, как меня по тем ребрам...

Назавтра извинялась: боялась, что из института попрут.

Через день она выступила по телевидению как свидетель событий... В компании с секретарем партийного ЦК, который клялся, что милиция действовала в рамках закона. Наста засвидетельствовала, что никто дубинками никого не бил и «черемухой» не травил. Вот ведь она там была — и не побитая, и не отравленная...

Года через три, когда секретарей ЦК не стало и клясться стали другие, Наста снова выступила по телевидению. В этот раз вместе с актером, который рассказал, как коммунисты с гебистами сделали его сексотом. А Наста рассказала, как ее, студентку, те коммунисты с гебистами заставили врать про то, что было на Деды, угрожая выгнать из института. И как-то так выходило, что Наста с сексотом — герои. Не каждый, мол, найдет в себе мужество, чтобы признаться...

«Два сапога пара, далеко пойдут», — сказала про них Вера, но угадала не про двоих. Актер, склонный к алкоголизму, спился, а Наста, склонная к журналистике, побегала немного, пока они держались, по редакциям независимых изданий, потом перебралась в издание государственное, а из него — во власть. Высоко там сидит, далеко глядит — тут Вера угадала...

После одного из арестов ждала меня за воротами тюрьмы шикарная женщина в шикарной машине. Такой себе голливуд — у Насты по-прежнему были способности к эффектам... Она сказала, что намеренно сделала так, чтобы все видели, потому что устала «отмазывать» меня тайком, потому что это во вред ей, потому что про все доносят, поэтому в следующий раз меня посадят не на неделю-другую, а надолго, она уже ничем не сможет помочь, а если и сможет, то не станет...

— И не надо. Я же не просил.

— Он не просил! А мать твоя, пока жива была? А родня, а друзья наши институтские? «Наста, ты же его знаешь!..» Когда-то знала, теперь — нет!

Она нервничала, пальцы дрожали, когда прикуривала...

— Тебя, оказывается, и я когда-то не знал.

Она не хотела слушать про то, что было когда-то.

— Я выбрала лучшую жизнь, ты — худшую. Сознательно! Спроси у наших, у волкововских, хоть у кого: нормальный человек захочет жить не лучше, а хуже? Ты захотел... Живи! Но без меня. Я не хочу, чтобы твое худшее мешало моему лучшему. А то еще и разрушило его.

Недавно ее позвали из ее большого кабинета в кабинет еще больший и настоятельно потребовали от меня откреститься... Так она же открестилась еще на тех Дедах... Когда меня тащили в «воронок», а она в сторону отворачивалась... А Вера на те Деды, совсем же незнакомая, откуда-то из толпы людей как бросилась: «Вы что?! Вы куда его?!» Отбила у милиционеров, хоть и знать меня не знала. Потом говорила: «Если бы знала, не отбивала бы, пусть бы затащили... Пусть бы вас всех тогда позабирали и расстреляли в Куропатах. Хоть бы легенда о вас осталась...»

Вера, наверное, тоже многих бы убила, если б могла.

Только она позже такой стала. Тогда, на те Деды, она не была такой. Как легко все она любила! Людей жалеть... Музыку слушать, стихи читать, у нее тяга была — читать стихи... И слезы в ее глазах стояли высоко, как в небесах.

Все, что катится,
Докатится до нас.

И докатилось.

На кладбище как раз,
Где в снах навечно спят
И спят без снов
Со всеми
Короткевич
Кулешов... —
Безмолвный митинг.

С каждым, кто пришел,
Пришли и встали рядом предки...

Безмолвные,
Стояли тени всех родных,
Безмолвные,
Стояли тени близких
Под крестным знаменем одним тех, кто в земле так низко, —
Всех, сгинувших в Хатынях. Всех убитых
Возле Грюнвальда. На Колыме забытых.
Всех, кто бесследно сгинул.
Всех тех, кто так и не нашел могилы,
Кто в Куропатах
Брошен в ров.

От плоти плоть,
От крови кровь —
Мы молчали с ними —
Живые с мертвыми
И мертвые с живыми.

И тут впервые, молча стиснув рот,
Из той толпы смотрел не люд. Почти народ.

Куда оно все делось? Я, Вера, народ... Было же?.. Прошло, как дождь, и предчувствия так и остались предчувствиями. Поэт, который про них написал, убежал за границу. Побежали другие... И все кричали, что, если они не убегут, их или посадят, или убьют. А чего вы хотели? Чтобы власть, с которой вы сражаетесь и устаете бороться, в санаторий вас посылала?..

Под одну музыку: диктатура! — убежали все: политики, жулики, воры, тюремщики... Убегала, как молоко на огне, волной переливалась за границу молодежь... Убежал спикер парламента... И даже тот, про которого все думали, что он в Куропатах ляжет, а шаг с родной земли не ступит, — убежал.

Неподалеку от Восточного кладбища еще и Куропаты — тоже кладбище. Ямы, в которые во времена, когда Сталин пировал, сбрасывали расстрелянных. Привозили, стреляли и сбрасывали. Привозили, стреляли и сбрасывали...

Мы начинали новую жизнь на костях. Люди говорят: на костях жить нельзя.

Хотя кто его знает... Столетия за столетиями, война за войной... Как подумаешь — так под нами и земли нет, одни кости.

В Волковыске гора есть, которая Шведовой называется, потому что как будто шведы, которых король Карл воевать вел, ту гору насыпали, землю шапками нанося. Зачем насыпали, почему землю шапками носили? — неизвестно. А гора с какой стороны ни копни — вся в костях.

Наша учительница литературы спрашивала: «Дети, как вы думаете, зачем шведы гору насыпали?..» Кто что говорил: Чтобы на той горе защищаться... Чтобы пушки на верху поставить и до Москвы стрелять... Я отвечал: «Чтобы на лыжах кататься». Мой ответ понравился учительнице меньше всего. А больше всего ей понравился ответ Насты: «Чтобы с горы смотреть на Швецию, по которой они тосковали...»

«Вот так, дети, — говорила учительница, — нужно любить Родину». То, что это было самое бестолковое, самое бессмысленное из всего, для чего могла быть насыпана шведами гора, учительницу не беспокоило. Белорусов мало беспокоит отсутствие смысла в чем бы то ни было...

На той горе я и решил сбежать. Потому что если можно кому-то, то почему нельзя мне?... И когда гора Шведова, то куда, если не в Швецию?..

Вера сказала: «Мозги у тебя — только кубики складывать. И у всех вас, белорусов, такие...»

Не у всех. Мой одноклассник Борусь, на Шведской горе посидев, в Австралию

мотанул. Оборотливый он, Борусь. Когда я в Народный фронт записаться его уговаривал, он спросил: «А зачем нам туда обоим?.. Ты иди в БНФ, а я в КПСС пока побуду. Еще неизвестно, в какую сторону оно все повернется».

В 1991-м, в августе, КПСС кончилась, а в сентябре Борусь пришел партийные взносы платить. Парторг, который уже не в парткоме, а на каком-то складе сидел, китайской одеждой и обувью заваленный, вылупился на него: «Ты что, вольтанутый?!» Борусь ответил: «Я принципиальный. Партийный устав требует платить взносы, а меня из партии никто не исключал».

Борусь был заместителем парторга, и тот, уже не как парторг, а как торговец, предложил ему в той же должности пойти к нему в напарники. «У тебя мозги есть?.. Так пойми: все, что было, навсегда закончилось. Сумасшедшее время настало. А сумасшедшее время — сумасшедшие деньги. Кто их сегодня успеет схватить, тот и банковать завтра будет».

Став, наконец, банкиром, бывший парторг теперь действительно банкует... А в сентябре 1991-го Борусь выловил пятерых из девяти парткомовцев — и они исключили парторга из партии, которой уже не было, выбрав парторгом Боруся.

Такие принципиальные.

Потом Борусь говорил: «Если бы Советский Союз воскрес — вот у меня какая бы биография была!.. Как у партийного Христа...»

В Австралии он к фирме прибилсь, которая сельхозтехникой торговала, и узнал, что трактор «Беларусь», гордость брошенной им синеокой Родины, никем, как национальный бренд, не запатентован. Это уж точно у кого-то мозги — только кубики складывать. Но не у Боруся. Он запатентовал бренд в Австралии как свой, одолжил денег и начал производство. Собрал из запчастей трактор, продал — и сразу же подал в суд на бывшую Родину, отсудив у синеокой за использование его бренда столько, что хватило и на то, чтобы долг вернуть, и фирму, к которой Борусь прибилсь, выкупить. Сейчас живет — как сыр в масле катается. А был бы в Беларуси какой-нибудь такой Рожон, никак бы Борусь не жил. Где-нибудь в Австралии его бы и закопали.

Я Боруся вспомнил, когда мужика с красно-зеленым пакетом увидел. И, может, стрелял не в него, а в Боруся. Во всех борусей: и в торговцев, и в поводырей, и в поэтов... И в тех, которые уехали, и в тех, которые остались. И в тех, которые вели толпу, и в тех, которые за ними в толпе шли. Потому что никто никого никуда не привел — и никто не пришел никуда. Только, идя, жизнь оставляли в стороне — и она оставляла в стороне нас... Поэтому я убил бы того мужика на Sodra Forstagatan, если бы он и не с красно-зеленым, а с бело-красно-белым пакетом шел. Или даже с бело-красно-белым флагом. Какая разница, если белорус?..

Белорус. Вот кого хотел убить — и убил.

Я и следовательно так сказал, когда он начал спрашивать, откуда я знаю Павала Рутко? Ну, того, с пакетом... И за что я его убил?

Я сказал:

— За то, что белорус.

Следователь, швед от мороженного, не понял. Но решил, что это я не понял, про что он меня спрашивает.

— Я спрашиваю, как давно вы знаете убитого, какие у вас были отношения, за что вы его убили?

— Я не знаю его. Не было у нас никаких отношений. А убил за то, что он белорус.

— Но вы же тоже белорус?

— Тоже.

— А я швед. Выходит, я могу убить любого шведа за то, что он тоже швед?

— Можете.

— А он меня?

— И он вас.

— Почему тогда белорус, которого вы убили, не убил вас за то, что вы тоже белорус? Даже не попробовал убить?

— Мог попробовать. Я бы ему не мешал.

Я бы на самом деле не мешал. Какая разница, каким белорусом меньше? Но он не попробовал. Достал зажигалку, а не пистолет.

Уезжая, Рожон спрятал пистолет в нижний ящик стола и закрыл на ключ. Открыть шведский замок шведским перочинным ножом не составило труда.

Пистолет был как игрушка.

Я не стал ждать Рожна...

Из номера я выходил, не зная, что буду делать... А из лифта увидел того, с пакетом... Его судьба ко мне привела, так что же...

Я б его и без пакета, без трактора на нем распознал бы. По тому, как он шел, оглядывался — и все движения его, хоть как будто он и уверенный в себе, какие-то незавершенные, неоконченные, не до конца доведенные: движения наполовину. А когда он остановился, чтобы закурить, то стоял хоть и на двух ногах, а все равно как будто на одной, как аист на болоте. Плечи ссутулил, колено в колено вдавил...

И за границей мы такие, и дома. Казалось бы, и места хватает, и своего, не чьего-нибудь, а нам все кажется, что чужое занимаем.

Есть такое в белорусах, больше ни в ком этого нет. Поляк вон идет — весь поляк, русский — весь русский. А белорус — наполовину белорус и во все стороны головой вертит: кто ж он еще?

А больше он никто, какая бы в нем русская, польская или немецкая кровь еще ни текла. Пускай даже в нем и не половина, а четверть или меньше белорусского — все равно он конченый белорус. Будь он борусь, будь бабыб.

Вера говорила: «Вы на земле своей не хозяева, потому что просто так, а не за кровь она вам досталась. Соседи вам ее, как сотки колхозникам, отмеряли. И вы все боитесь, что колхоз кончится и сотки у вас отберут. Поэтому и придумываете сами для себя: то вы от балтов, то от римлян... Чтобы те балты или римляне о вас позаботились.

Наследники римлян вы, ага!.. Так сделайте что-то, достойное предков! Римлянам никто и ничего не давал, они все сами мечами брали! А вы?.. Вы что угодно придумаете, только бы ничего не делать. Придумали, что в Беларуси центр Европы, ну и помогай, Европа! Кому?.. Ты не поленись, съезди и посмотри, кто там и что — в этом центре».

Я не поленился, съездил и посмотрел...

Центров Европы, как и всего остального: языков, гербов, флагов... — у Беларуси, оказалось, два. Один на дне озера Шо, а второй в середине треугольника Червень—Осиповичи—Кличев, два километра на юго-запад от деревни Чижахи на Березине. Так как на дне озера хоть в центре Европы, хоть на окраине одна вода, я поехал в Чижахи. Река там, как в Европе, а все остальное...

Там дед сидел на берегу в тех Чижах, рыбу удил, я спрашиваю: «Дед, ты знаешь, где сидишь?..» — и он мне: «Где хочу, там и сижу, а ты пошел на...»

Я пошел не сразу. Стал расспрашивать человека из самого центра Европы, что он про Европу думает? И снова слышу: «А пошла она на!..» Я тогда про Россию, но и Россия пошла на...

— А Беларусь?

— Какая Беларусь?..

— Как какая?.. Твоя... моя...

— Не знаю, какая твоя... Моя вон... — он кивнул в сторону деревни.

— Остальная на!..

— На?..

— А куда же еще?.. — Человек в центре Европы плюнул на червяка. — Туда все — оттуда никого.

Я подумал: пропадают не в Бермудском треугольнике. Пропадают здесь, в треугольнике белорусском. В самом центре Европы...

Вера спрашивала: «Чем вам гордиться перед миром не стыдно?.. Тем, что больше всех картошки едите? Тем, что ваш символ — болотная птица аист?..

Знаешь, почему у нас зубры когда-то исчезли и мы их потом из чужих земель завозили? Не охотники их перестреляли, нет... Аисты ваши их заклевали!»

Отец у Веры русский был, мать — белоруска. Поэтому у нее если зубры — то наши, а если аисты — то ваши.

Федор Михайлович Достоевский, не писатель, а тот преподаватель истории,

который привел меня на Деда к Восточному кладбищу, Веры побаивался. Особенно после того, как ворвалась она в институт на лекцию: «Изнемогаю вся, так целоваться хочу!..» И пока Федор Михайлович беспомощно возмущался: «Что вы себе позволяете?..» — Вера пробежала между столами и зубами впиалась мне в губы, до крови прокусила... На истфаке потом это так и называлось: поцелуй Веры.

Казалось, на такое больше способна Наста, склонная к эффектам, но ворвалась на лекцию, чтобы поцеловаться, Вера.

Наста после третьего курса перешла с истории на журналистику. Федор Михайлович ей посоветовал это сделать, когда она напечаталась в студенческой газете. «Это занятие, — сказал, — вам больше к лицу». И помог перевестись... А вот что предложить Вере, чтобы к лицу было, он не знал.

— Какая-то не здешняя она, — косился на Веру Федор Михайлович. — Ты не слушай ее!.. Мы землю эту и у русских, и у поляков, и у шведов отбивали... — а Вера спрашивала: «Почему тогда только болота отбили?.. Чтобы теперь на болоте топтаться?..»

Это она про площадь Бангалор в Минске, где раньше болото было и где в обычные дни собаки выгуливались, а в дни борьбы — мы.

«Мы за что тут боремся?!» — риторически воскликнул однажды выступающий на этой минской площади с индийским названием Федор Михайлович, и Вера крикнула в ответ, пока он паузу держал: «За освобождение Индии от Британской империи!» Преподаватель истории забыл, что дальше хотел сказать, растерялся: «Она же свободная...»

— А как вы поняли, — спрашивает шведский следователь, — что человек, в которого вы стреляли, не швед, не поляк, не русский, а белорус?

Он пытается не только добраться до мотива убийства, но вместе с тем разобраться еще и в том, что же такое белорус, потому что для него все мы, кто из бывшего СССР, а значит, из России, — русские.

Объяснять ему что-нибудь про то, как белорусы ходят, осматриваются? Или как стоят, будто аисты на болоте?.. Или как зубров своих заклеивают?..

— По пакету.

— Но ведь такой пакет мог и у русского быть. Разве нет?

— Мог.

— И что тогда? Убили бы русского?

— Убил бы русского.

— А шведа?

— Что шведа?

— Шведа убили бы?

— Убил бы. Чем вы, шведы, лучше русских? Приперлись к нам в Волковыск...

— Куда?..

Что ему объяснять?.. Человеку, который только сегодня узнал, что есть такая нация — белорусы. И что как только один из этих белорусов, про которых он до этого ничего не знал, встречается с другим белорусом, так сразу бросаются они один другого убивать, — такая занимательная у них национальная традиция. Непонятно только, как при такой традиции живых белорусов почти столько же, сколько шведов?.. Поэтому следователь спрашивает:

— Белорусов, вы говорите, десять миллионов?

— Почти.

— И почти в каждой войне ваша нация сокращалась от трети до половины?

— Приблизительно.

— И две войны были в прошлом веке с перерывом всего в двадцать лет, так?

— Так.

— И еще, похожие на войны, после войн репрессии были?

— Были...

Шведский следователь ищет причину, по которой белорус мог убить белоруса, и смотрит на меня, не понимая:

— Так как же тогда вы, кто жив, друг друга любить должны!.. А вы — убивать. Зубров своих заклеивать.

Я уже рассказал ему про зубров с аистами... Вообще я хотел рассказать ему только про Веру, про то, что одна она — причина всего, но вряд ли он это поймет.

У них как?... Подходишь в кафе или где угодно, я специально выучил: «Jag vill ha sex med dig»¹. Вера в ответ на такое, если бы у нее пистолет был, сразу бы выстрелила тебе в лоб над переносицей, а для шведки это нормально. Рассматривает тебя, оценивает... Если соглашается, то тащи в ближайшую кровать, даже как зовут ее не спрашивая. Если нет, то сразу отваливай и больше не подходи. А подойдешь — это уже сексуальное домогательство, насилие, полиция, суд...

Неизвестно кто выдумал, что шведский секс — это когда втроем. Или вчетвером, семья с семьей. И все друг друга без всяких претензий. Даже детей не разбирают, где чьи... Мол, родились — и слава богу.

Вряд ли это выдумали шведы, для которых семья — это все, настоящие и бывшие жены, все дети от них, и совсем нельзя на Рождество или Пасху про кого-нибудь забыть, оставить кого-то, взрослого или маленького, без подарка.

Мы сами и придумали шведский секс. Как шведский стол, который никакой не шведский.

Однажды мы с Верой расклеивали воззвания против референдума по изменению Конституции, Вера в спешке наклеила одно текстом к стене и, чтобы воззвание не пропало, у Веры ничего не пропадало, фломастером писать на нем текст начала: «Белорусы! Нас мало! Голосуйте...» — но не успела дописать «за Беларусь!», потому что показала милицейская машина, это ночью было, мы бросились бежать, а завтра читаем продолжение на этом воззвании, кто-то дописал: «Белорусы! Нас мало! Голосуйте за шведский секс!» Все остальные воззвания сорваны, а это висит.

Потом Вера так и расклеивала воззвания — текстом к стене. Пусть, говорила, пишут что хотят.

Рассказывать шведскому следователю, как срывались вместе с воззваниями наши мечты о Беларуси? Рассказывать ему, как таяла и таяла, уступая место разочарованию, наша надежда? Как глубже и темнее становились ямы отчаяния? Как обескрыливали, устав в бесконечном ожидании хоть каких-нибудь, пусть маленьких побед, наши души? Как Вера убеждала всех, что нельзя победить, выбирая между эволюцией и революцией, что победа возможна только в выборе между свободой и смертью, — и как никто не хотел умирать?..

Я тоже не хотел умирать.

Я рассказываю про все это уже не следователю, рассказываю адвокату, которого нанял мне Рожон, и адвокат — так же, как и следователь, не понимая, про что я говорю, — успокаивает меня: «Не бойтесь, в Швеции нет смертной казни».

При чем тут Швеция?..

— Я там умирать не хотел.

— Ясное дело, что не хотели. А кто хочет? Что там, что тут... Генетическая программа самосохранения заложена в мозги самой первой. Во все мозги: человеческие, звериные... Вас, кстати, в другую камеру переведут, чтобы вы чувствовали себя по-человечески.

— У меня и теперь неплохая...

— Новая будет лучше. Не «Хилтон», но и не тюрьма.

Рожон нанял мне адвоката и постарался, чтобы перевели меня в лучшую камеру, потому что, оказалось, я пристрелил как раз того, кого он хотел: киллера, присланного русской мафией для расправы с Рожном. Я сказал адвокату, что этого не может быть, потому что я хотел убить и убил белоруса, на что адвокат спросил:

— А белорус разве не может быть киллером?.. Вы подумайте...

Подумав, я понял, о чем он спрашивает, и ответил, что может.

— Как и кем угодно еще, — удовлетворил мой ответ адвоката. — Скажем, телохранителем, который выполнил свой долг... А если нет, то человеком, в котором природная агрессия вылилась в ненависть к себе подобным. В болезнь, в шизофре-

¹ «Я хочу заняться с тобой сексом» (шведск.)

нию... Под действием стресса, пережитого вами как там, так и тут. Мы еще шведские иммиграционные службы сделаем виноватыми — вы не против?

В отличие от следователя, который всем своим видом будто бы олицетворял справедливость и нерушимость закона, адвокат был похож на жулика и, наверное, был им, если имел отношения с Рожном, но мне какая разница? Если он предлагал мне как раз то, что я хотел: шведскую психушку.

— Я не против. Но следователь не считает меня ненормальным.

— Это не ему решать. Достаточно будет, если он признает, что в ваших действиях полностью отсутствует мотивация. И он признает это, потому что исходит из человеческой логики, обычной морали.

В голосе адвоката проскакивало если не презрение, то снисхождение к следователю, к его человеческой логике и обычной морали, но совсем не потому оно проскакивало, что адвокат был старше следователя, по чему-то другому, и я спросил, хоть и не нужно было, ведь мне какая разница:

— А вы исходите из какой логики и морали?

Посмотрев на часы, адвокат начал складывать бумаги в папку.

— Из животной... Которая и есть человеческая, если лишнего не придумывать.

Я не понял:

— Как это?

— А так... Был у меня клиент, который кота убил. Кот жить ему не давал. И я доказал на суде, что если кто-то, кто угодно, жить тебе не дает, с ним нужно расправляться. А как иначе?.. Меж тем, — адвокат, собирая бумаги, задержался на одной, — знаете, почему вам в политическом убежище отказали?

Я не знал.

— Не знаю. О причинах в таких случаях не говорят.

— Не говорят, но они есть. И одна из них — анонимка, в которой пишут, что вы убили кота.

Рука, которой я потянулся к бумаге, сама, как будто дотронувшись до оголенного провода под током, отдернулась и онемела.

— Какого кота?

— Тут не написано, какого. Может того, которого надо было убить. Но в иммиграционной службе Швеции полно феминисток, которые к тому же поголовно в обществе охраны животных, поэтому от них тяжело ожидать любезного отношения к мужику, который убивает котом.

Про то, что когда-то, когда был подростком, я убил кота, рассказал я однажды в порыве откровения одной женщине. В Волковыске на Шведовой горе... Была июльская ночь, мы занимались любовью, и женщина, сладко отставив в небо и затихнув, вдруг сказала, что все время, пока мы занимались любовью, две звезды смотрели на нас, как глаза кота. И я вспомнил, как те глаза вылетели из головы кота после нескольких ударов о бетонный столб, и стал рассказывать, рассказывать... и сам не знал, не осознавал, что со мной, что я делаю... как нахлынуло, накрыло, затмевала разум ненависть... рассказывал, рассказывал и, как тогда, не понимал: что со мной?.. зачем рассказываю, для чего?.. — так вот, оказывается, для того, чтобы кто-то написал в шведскую иммиграционную службу, где полно феминисток, которые поголовно в обществе охраны животных, что я котовбийца... но могла ли она?.. да как она могла?.. нет, не могла та женщина такое написать.

— Разве в Швеции доверяют анонимкам?

— А где не доверяют? Везде любят сплетни, не любя сплетников. Хотя нигде, где есть закон, анонимка, конечно, не документ. Была бы документом, можно было бы считать, что мы уже выиграли суд. Потому что имели бы доказательство, что вы давно психически больной. То котом убиваете, то людей... И все без особой причины, без мотивации, что признает даже следователь. — Адвокат сложил бумаги, двумя пальцами взял папку за уголок, помахал ею, как маятником. — А вот я, между нами, не признал бы, что без мотивации... И, если вам интересно, могу сказать почему.

Голос его на последних словах изменился... Как будто отговорив все, за что ему заплатили, самое существенное под конец он решил сказать бесплатно.

— Почему?

— Потому что мотивация есть. Там, дома, вы ненавидите тех, кто над вами. Но совсем не потому, что они, как пытаетесь вы доказать следователю, душат свободу и демократию, а потому, что у них власть, деньги — все то, чего бы хотели вы. И вы не в состоянии ничего изменить, ничего сделать, потому что те, кто над вами, сильные, а вы слабый. Поэтому вы убежали от них, и всю свою злость и ненависть выплеснули на того, кто из них, но все же слабее, не вожак с клыками, на которого у вас и рука не поднялась бы, онемела бы, как сейчас... Вот подо что подвернулся ваш земляк с пакетом, как когда-то кот. И называется это, если хотите знать, перераспределением агрессии.

Адвокат решил, что разобрался во мне, и я не собирался ему возражать. Если человек делает то, за что ему платят, то какая разница, что он при этом думает. Он смотрел на меня так, как будто мое нутро вывернул наизнанку, мне самому открыв там что-то тайное, а меня удивляло одно: как он догадался, что у меня рука онемела?..

Все остальное я знал.

Приблизительно то же самое говорила мне на Шведовой горе в Волковыске та женщина, которой я признался в порыве откровения, что убил кота. Она спрашивала и спрашивала: кто перед тем меня унизил, обидел, кому я хотел — и не мог отомстить? Я придумывал какие-то обиды на соседей, учителей, хоть никто меня не обижал. Просто мне хотелось, чтобы женщина, которую я любил и которая считала себя умной, не сомневалось в том, что я люблю ее и что она умна.

Однажды, когда в очередной раз нас посадили за участие в очередном митинге, она спросила: «Ты знаешь, зачем все это? Не свободе и демократии, а тебе — зачем? Что ты за все это хочешь? Ну, если отсидим, отбегаем свое под дубинками? Деньги? Славу? Власть?..» Я ответил, что, наверно, ничего, потому что об этом даже не думаю. Она сказала: «Я тоже, но ведь не все дураки, кто-то же думает».

Так она посеяла во мне сомнения, так ослабила меня — и слабого бросила. Когда я сказал, что наконец-то придумал, как нам жить вместе, в своем доме, семьей, с детьми, что нам надо уезжать отсюда, потому что если всем можно, то почему нам нельзя? — она ответила: «Езжай, я никуда с тобой не поеду. Ты мне тут опостылел. Все вы мне опостытели».

— Кто — все?..

Мы сидели в Минске недалеко от Купаловского театра в кафе под зонтиками, на тротуаре, по которому как раз проезжала Наста, остановилась около нас, хоть там и знак висел, что нельзя останавливаться, но это кому-то другому нельзя, а не ей, она опустила стекло и так близко была, как будто мы в одной компании, только Наста в машине, а не за столиком, и она все слышала, что говорила Вера, которая сидела боком к ней и, уставившись в чашку с кофе, Насту не замечала...

— Все, кому я когда-то поверила. Все, из-за кого потеряла лучшие свои годы, молодость, женское счастье — кто мне все это вернет? Недоцелованные дни, которые я отстояла в пикетах, отходила в шествиях, недолюбленные ночи, которые отбегала в темных ветрах... Кто и чем мне заплатит за это?.. «Надо, Верочка, надо!» «Ты молодчинка, девочка...» «Завтра наш праздник!» «Завтра — победа!» Завтра, завтра... Кто вернет мне мою жизнь?.. Ты? Так ты и способен только...

Около кафе образовался затор, улица засигналила, только теперь Вера заметила Насту, на мгновение замерла, как-то судорожно сглотнула недоговоренные слова: «...котов убивать...» — и неожиданно смахнула чашку с кофе со столика в окно машины. Наста успела увернуться, на нее попали только брызги кофе, чашка ударилась о плечо водителя, здорового амбала с гебистской мордой, который собрался выйти, чтобы разобраться, но Наста, отряхиваясь, зло крикнула ему: «Езжай давай, разберешься!..»

Машина рванула с места.

Вера поднялась и пошла, бросив растерявшемуся официанту: «Он за все рассчитается!..»

По всему выходило, что я...

Я смотрел, как она шла, не зная куда, по тротуару в сторону Купаловского театра, — и не вернул, не позвал. Пусть идет — куда дойдет?..

Она дошла до конца.

— Может быть, у вас были проблемы из-за женщины? — спрашивает шведский следователь, и я отвечаю ему, что нет, никаких проблем из-за женщины с убитым у меня не было. Следователь говорит, что жаль, потому что, учитывая шведские законы, это был бы для меня наилучший вариант.

— А наихудший?

— Тот, который следует из ваших показаний. Убийство по политическим мотивам. По новому закону, принятому шведским парламентом, это терроризм. А значит, пожизненное заключение.

— Я не убивал его по политическим мотивам.

— А по каким?..

— Я говорил вам по каким. Но то, что он белорус, — не политический мотив.

— Тогда какой?..

— Ну, можете считать, этнологический.

Шведский следователь задумывается и говорит: «Такого мотива в шведских законах нет».

Нет так нет...

— В шведских законах и пожизненного заключения нет.

Следователь не соглашается:

— Пожизненное заключение есть.

— Какое?

— 15 лет.

— И вы не видите противоречия?

— В чем?

— В том, что пожизненное — и 15 лет?..

Шведский следователь не видит противоречия ни в одном шведском законе. Потому что его закон есть закон.

А для моего адвоката — нет. Во всяком случае, не во всем и не всегда. Поэтому он надеется, что мы выкрутимся, хотя из-за какого-то нового закона вдруг снова возникла опасность депортации. Но на этот раз, объясняет мне адвокат, не рутинной депортации, когда вывозят за границу — и катись на все четыре стороны, а депортации с передачей властями шведскими властям белорусским из рук в руки, как уголовного. Что означает даже не депортацию, а экстрадицию.

Получалось: откуда я уехал — туда и приехал. А следователь пугал, что наихудшее, что меня ожидает, — пожизненное заключение на 15 лет.

— Это не закон, а решение правительства, — нервно доказывает мне адвокат, я впервые вижу его нервным. Наверно, если меня вышлют, Рожон ему не заплатит, потому как за что платить?..

— И оно не может быть законом! Швеция переполнена иммигрантами, теперь их при любой возможности будут выпроваживать туда, откуда они приехали. В первую очередь тех, кого на чем-то за руку словят... Но в решении сказано про нетяжкие преступления, про нетяжкие!.. Так пускай покажут мне закон, по которому убийство в Швеции — нетяжкое преступление!

Не похоже, что адвокат сам верит в то, что решение шведского правительства в Швеции не закон. Формально нет, но... Власть везде власть.

Адвокат понимает, что не доказал ничего ни мне, ни себе, поэтому говорит, что в любом случае депортируют меня не завтра, потому что шведская бюрократическая машина — не «Формула-1» и мы успеем пройти психиатрическую экспертизу, а уже признанного больным пусть меня хоть кто-нибудь попытается депортировать хоть по каким угодно решениям или законам. А в том, что меня признают больным, он не сомневается. И не потому, что в экспертах его друг, с которым про все договорено, а потому, что любой человек, который жил там, где жил я, и считал свою жизнь нормальной, — больной и есть. После последнего нашего свидания, как следует подумав, адвокат пришел к такому выводу.

На прощание он спросил тихо, шепотом: «А вы там, дома, никого, кроме кота, не убивали?.. Да что вы так напряглись, я шучу...»

Он не шутил.

Вернувшись в камеру, я включил телевизор. В выпуске новостей выступал какой-то националист. Худой, остролицый. Шведские националисты преимущественно худые и называют себя шведскими демократами. И вот этот шведский демократ, а на самом деле шведский националист, говорил как раз обо мне, белорусском националисте. Не персонально обо мне, а вообще о таких, как я... «Они приезжают к нам, воруют, стреляют, а мы должны судить их по нашим законам, присматривать и кормить в наших тюрьмах — за чьи деньги? Я не согласен, чтобы за мои. И ни один швед не согласен. Пускай их судят и сажают в тюрьмы дома...»

Остролицый национал-демократ смотрел куда-то мимо камеры и говорил так, как будто оправдывался. Не выглядел он уверенным, что каждый швед с ним согласен. Кто-то же может раскричаться: «А гуманитарные принципы! А права человека!..» Тут есть кому кричать, тут контор по правам человека не меньше, чем по охране животных.

Как-то приснилось, будто Вера приехала и служит в такой конторе. Стоит в пикете на Sodra Forstagatan с плакатом: «Сдавайте убитых в пункт приема убитых». И Рожон около нее с бело-красно-белым флажком крутится, у меня спрашивает: «Ты почему убитого в пункт приема не сдал?..» Я Рожна отталкиваю, ведь что мне Рожон хоть и с бело-красно-белым флажком, мне Вере надо объяснить, что Sodra Forstagatan — не Бангалор, что в Швеции вообще демократия, тут убитых сдают, куда захотят, а Вера отвечает, что так неправильно, что как хоронят на одном месте, так же в одно место надо сдавать, вот как у нас же сдают в судмедэкспертизу...

Когда Веру с перерезанными венами нашли в ее однокомнатной и отвезли в судмедэкспертизу, там написали, что сначала у Веры остановилось сердце, а потом уже она набрала ванну и вскрыла вены. Поэтому так мало вытекло крови...

Причину, по которой остановилось сердце, судмедэкспертиза не установила. Не было причины. Доза алкоголя, который нашли в крови, причиной быть не могла.

Произошло это в тот день и приблизительно в тот же час, когда я сел на поезд до Москвы, чтобы в Москве сесть на самолет до Стокгольма... Так что в это время я мог не быть в Минске, а мог и быть — Вера жила рядом с вокзалом. Я мог с ней выпить, остановить ей сердце, затащить в ванну, перерезать вены и успеть на поезд.

Если нет, почему сбежал?..

Следов моих в квартире хватало.

По городу прокатилось: убили кого-то из оппозиции! КГБ, спецслужбы убили, у кого еще есть что-то такое, что сердце останавливает как будто без причин? В интернете замелькало: «Диктатура не расправится с нашей ВЕРОЙ!» И что делать спецслужбам диктатуры? Если убийца сам в оппозиции — к тому же сбежал за границу... Поэтому и заставил меня нервничать вопрос адвоката: «Вы дома никого не убивали?..» Я подумал, что пришли документы на экстрадицию. А это не анонимка про кота...

Неужели Вера все-таки написала?.. В последний вечер жизни села и написала в шведскую иммиграционную службу, чтобы мне не давали политического убежища, потому что я кота убил?..

В каком же отчаянии была она... И при чем тут спецслужбы? Может, и при чем, но не при этом.

Дня за два до отъезда мне позвонила Наста... Никто, кроме Веры, не знал, а она откуда-то знала, что я уезжаю. Только думала, что мы уезжаем вместе. Я и Вера. Сказала, что правильно делаем, тут ничего не дождемся. Сказала, что помогала в последнее время не столько из-за меня, сколько из-за Веры. Почему?.. Ведь я по сравнению с Верой — щенок, а она, Наста, сука. Спросила, помирились ли мы? Она бы не хотела, чтобы из-за нее у нас не сложилось...

С чего она взяла, что из-за нее?

Когда я узнал, что Веры не стало, почему-то сразу про Насту подумал, про ее амбала-водителя с гебистской мордой. Вспомнил ее крик: «Езжай давай, разберешься!..» Только ведь не убивают за то, что плеснули кофе? Или у нас могут убить?..

Шведский следователь все хочет разобраться, что там с нами и у нас происходит.

— Вы первую половину жизни ходили на советские шествия: Первомай, Октябрь... Так?

— Так.

— А вторую половину жизни — на шествия антисоветские. День Воли, Чернобыльский шлях... Так?

— Так.

— Тогда скажите мне, только подумайте: это нормально?

— А что тут ненормального?..

Шведский следователь смотрит на меня беспомощно: «Ну, не знаю... Я только хочу вас предупредить, что вы снова можете оказаться там. Вас туда могут выдать, если адвокат не добьется психиатрической экспертизы».

Наконец они, адвокат и следователь, выйдя из пункта А и из пункта Б, встретились. Не важно, что один из них остановился в пункте «выслать», а другой — в пункте «выдать». Пункт один и тот же... Но и в том, что меня не вышлют и не выдадут, потому что признают психически больным, следователь, как и адвокат, не сомневается. Хоть никто из экспертов ему не друг и он ни с кем и ни о чем не договаривался...

Ему жаль меня.

Почему они все меня жалеют?.. Следователи, министры, адвокаты, пусть даже они жулики?.. Феминистки из иммиграционной службы и феминистки из общества охраны животных?.. Потому что я жил там, где я жил, и считал свою жизнь нормальной?

Так она и была нормальной. Еще надо разобраться, где она ненормальная. Там, где тюрьма — тюрьма, с карцером и парашей, или там, где тюрьма — номер в отеле. С телевизором, холодильником и полом с подогревом. Еще и с извинениями, что телефона нет и компьютер к интернету не подключен, потому что, пока ведется следствие, связь запрещена. А после, когда осудят, пожалуйста. Хочешь — сиди в интернете, хочешь — с инструктором на лыжах катайся. Будь ты даже дважды убийца.

Дома в камеру на десять человек нас по тридцать набивали. Не продохнуть... По три раза в день сознание теряешь. И не понимаешь, в сознании ты или нет, когда слышишь: «Там, где кончаются замки, там кончается Европа. Под Смоленском... И когда мы возродим, выстроим заново наши замки, мы дойдем до Европы, вернемся в нее».

Вера говорила: «Мы тогда куда-нибудь вернемся, когда дойдем до таких, как в Европе, тюрем. Только дай нам такие тюрьмы — никого на свободе не останется. Для нас такие тюрьмы — замки».

Мы рабы, нас тянет в рабство. Там комфортно, тихо. А свобода — ветер. Ген свободы нам не привить, у рабов он не приживается. Поэтому мы и счастливы в рабстве».

Шведский следователь говорит: «Зря вы про всех своих хуже, чем про всех остальных, думаете. Свои — лучше, какими бы они ни были. Это первейшее условие для создания чего угодно человеческого, начиная с семьи».

Семья не получилась...

Вера считала меня своим, но не наилучшим. И народ считала своим, но не наилучшим. И оппозицию... Недоразвитым она считала и меня, и оппозицию, и народ.

Так быть не может. Или может? Чтобы все — недоразвитые...

— У меня жена журналистка, довольно известная, — говорит следователь. — Она у вас не раз бывала. Так в первом репортаже написала, что вы лучше нас.

Получается, следователь прикидывался, что ни про Беларусь, ни про белорусов ничего не знает...

— А во втором?

— Что во втором?...

— А во втором репортаже про что она написала?

— Про ваше мужество. Про то, как мужественно вы перенесли войну, вынесли Чернобыль... И как сейчас, так же мужественно, стиснув зубы, переживаете диктатуру.

— Мужественно переживаем диктатуру?

— Я у вас не был. Она так написала.

Что ж, мужественно так мужественно...

Диктатуру так диктатуру...

— А в третьем репортаже?..

— О!.. — Следовательно, что странно для шведа, в восторге от жены. Я тоже рад, что она у него есть, потому что это из-за нее, видимо, он такой разговорчивый. А я все гадал, почему он необязательные для следствия разговоры со мной ведет?..

Во всем есть причина.

Сердце без причины не останавливается.

— Это не репортаж был, фантастика! Ей премию за него дали... Жена моя... ее, кстати, Верой зовут...

— Как?..

Перед тем как назвать имя жены, следовательно, мне показалось, слишком уж внимательно посмотрел мне в глаза, как будто ожидая, как яотреагирую...

— Да, Вера, — бросил следователь и не стал объяснять, почему его шведскую жену, как и мою белорусскую, зовут Верой.

— Она убеждена, что опасность для человечества — не СПИД и не терроризм, а общество потребления, которым сейчас является весь Запад. Она считает, что обществу потребления целиком соответствует философия христианства, поэтому надо менять общество и веру.

Я не понял:

— Какую веру?

— Христианскую, на которой общество потребления и воспитывалось. Свой духовный пик человечество прошло перед христианством, потом начался упадок, что почувствовали на Востоке, где создали новую мировую религию, но и она не решает проблему, потому что не понято главное: сегодня, чтобы идти вперед, надо бежать назад. А вам не нужно назад, вы и так там. В том смысле, что хоть у вас есть храмы, но по сути вы никакие не христиане, а, как древние греки с римлянами, язычники и общество потребления у вас не сформировалось. Цивилизация перегнала вас, как на стадионе, на круг, но с трибун кажется, что вы не последние, а первые, и Вера доказывает, что это не кажется, а так оно и есть. Что, став аутсайдерами, вы стали лидерами. И не надо лезть к вам с правами человека, со всей блестящей мишурой, придуманной обществом потребления для оправдания своего существования. Потому что это — как вешать на вашу языческую елку не конфеты, а фантики. Репортаж так и назывался: «Конфеты и фантики». Из него следовало, что не вам надо двигаться в Европу, а Европе к вам, к той человеческой сути и тем традициям, которые вы сохранили. Если, конечно, Европа не хочет, чтобы ее кровеносные сосуды забило холестерином, а хочет, чтобы в ней билось живое сердце и дух живой витал.

Вот как...

Жили и не знали про свое счастье.

За такое и у нас бы ей премию дали.

— А где живет ваша жена?..

«Случайно не в Минске?..» — хотел я спросить, только следователь как-то странно реагирует на мой вопрос: смотрит так, как будто сам не знает, где она живет.

— Тут... в Мальме... — тянет он, и у меня возникает подозрение, что с женой у него, как и у меня, проблемы. — У нее своя квартира, там кот у нее живет. Отдельно, потому что я не люблю котов.

Это правильно. Если бы у меня была своя жена, а у жены еще и своя квартира, то в ней жил бы кот. Отдельно, потому что я не люблю котов.

— Вы жену мою заинтересовали, она хочет написать про вас, — объясняет, наконец, следователь, к чему весь предыдущий разговор. — Просила спросить, не согласитесь ли вы?

Почему нет?.. Только адвокат предупредил, чтобы я без него — никому ни слова, поэтому мне нужно посоветоваться с адвокатом.

— Подкаблучник, — говорит про моего следователя мой адвокат. — Это проблема Швеции. Жена его, с которой он, между нами... — адвокат делает паузу и что-то не договаривает... — так она всегда странная была, а в последнее время совсем стала «левой», что тоже проблема. К тому же она ненормальная, а ее на королевские

приемы приглашают. Недавно на свадьбе датского принца красовалась. Написала, что из шлейфа невесты можно было бы сотню платьев для голых африканок сшить. И все, больше ни слова. Принцесса прочитала, скандал... Так что пускай и про вас напишет, скандал не помешает.

Может, и не помешает...

Мне уже ничего помешать не может...

Следователь сказал, чтобы я включил телевизор после вечерних новостей, если хочу увидеть его жену, которую снова пригласили на королевскую свадьбу, откуда она будет вести репортаж.

Я включил...

Испанский кронпринц Фелипе женился на Летиции Ортис. Невеста, испанская тележурналистка, а теперь принцесса Астурийская, могла бы и сама провести репортаж. Тогда бы она не услышала то, что услышала. Что свадьба была — на всю Европу, и что со свадебного стола можно было бы накормить всех беженцев, сколько их есть в Европе... «Но есть с этого стола, который ломится от еды и питья в хрустале и золоте, будут не беженцы, не голодные дети, а изголодавшиеся и изжаждавшиеся Их Величества Король Испании Иоанн Карл I и Королева София, Их Королевские Высочества Августейшие Жених и Невеста, Инфанта Елена Испанская и Герцог де Луго, Ее Императорское Величество Глава Российского Императорского Дома Государыня Великая Княгиня Мария Владимировна, Их Величества Королева Голландии Беатрикс, Королева Дании Маргарита II, Король Греции Константин II и Королева Анна-Мария, Король Бельгии Альберт II и Королева Паола, Король Швеции Карл XVI Густав и Королева Сильвия, Король Норвегии Харальд V и Королева Соня, Их Королевские Высочества Великий Герцог Люксембургский Генрих и Великая Герцогиня Мария-Тереза, Герцог Браганцкий Дуарте...»

В кадре все засияло, камера плыла по белозубым улыбкам, по коронам, по блестящим эполетам, диадемам, по золотом вышитым поясам и лентам, была действительно королевская, торжественная и величественная, свадьба, а голос за кадром превратил ее неизвестно во что... В водевиль, в фарс, в анекдот...

Я представил, как шведам, которые хоть и спрашивают друг друга, надо ли им кормить короля с королевой, но все же любят их, такое слышать...

Голос за кадром был не просто знакомый. Родной. Казалось, он звучит дома. Доносится со Шведовой горы.

Женщину с этим голосом я не просто знал. Половину жизни я ею бредил — половину жизни ее любил...

На мгновение она появилась в кадре: «... и еще 1600 дармоедов со всей Европы, которых охраняют 20 000 полицейских...»

Вера?

Вера!

Вера...

Не очень похожая на белоруску, не здешняя, из-за чего побаивался ее и косился в ее сторону преподаватель истории Федор Михайлович Достоевский, который привел меня с Настой на Деды около Восточного кладбища, где меня, отравленного «черемухой», милиционеры, лупя, потащили в «воронок»... и Наста в сторону отворачивалась, чтобы ее не выгнали из института, а потом еще божилась, что никто не травил никого и не лупили, вот ведь она там была и вся целая... а Вера, совсем незнакомая, откуда-то из толпы людской как бросилась: «Вы что?! Вы куда его?!» — и отбила меня у милиционеров, чтобы потом потерять со мной лучшие свои годы, молодость, женское счастье, недоцелованные дни и недолюбленные ночи, выстоянные в пикетах и выбеганные в темных ветрах, на которых обескрыливалась, устав в бесконечном ожидании, ее душа, таяла и таяла, уступая место разочарованию ее надежда, глубже и темнее становились ямы отчаяния, куда, в конце концов, из-за меня и всех этих самых недоразвитых, как я, прыгнула она, остановив сердце и вскрыв вены... — и все это простить?... не отомстить, не наказать, не убить за это никого?!

«Кто мне вернет мою жизнь?!»

Она была одета не так, как обычно, говорила по-шведски, но это была она — и этого не могло быть.

Я бросился к двери камеры: охранника!.. адвоката!.. следователя!.. доктора!.. Рожна!.. кого-нибудь...

Наверно, я так не хотел возвращаться в Беларусь убийцей, так хотел сумасшедшим остаться в Швеции, что на самом деле сошел с ума.

Две Веры

Не знаю, как так получалось, никто меня этому не учил и сама я не училась, но с детства я умела жить и в себе, и в других; поселяться в ком-то, чувствуя себя собой и тем, в ком поселилась. Рыбой в рыбе и водой в воде. Живой в живом и мертвой в мертвом. Хотя ничего мертвого нет, мы просто называем так то, что, как нам кажется, неживое.

Первым, в ком я поселилась, был жеребенок. Огненно-рыжий с белой звездой во лбу...

Стоял сухой, жаркий июль. Горело ржаное поле. Пожар стелился по ветру. Ветер закручивал языки огня то в одну сторону, то в другую, нес к меже и бросал себе самому за спину, переворачивал, с шумом и треском вздымался к нему, откуда падал и вставал стеной, в которой жеребенок не находил выхода, спасения, а оно было: через поле к реке, где можно было спастись, пролегла довольно глубокая канава, куда тракторами, когда поле пахали, свозили камни. Огненный жеребенок бросался во все стороны — и рыжий огонь со всех сторон бросался на жеребенка, который уже задыхался от дыма и жара. Мне не было и шести лет. Я не знала, как жеребенку помочь, но я так его спасти хотела, что представила, как сама перепрыгнула бы сейчас через ту полосу огня, которая отрезает путь к канаве... и из последних сил, задыхаясь от дыма и жары, ту полосу огня я перепрыгнула, пробежала, сбивая копытца на камнях, по канаве, бросилась в воду, стала жадно пить, пить, пить... и только тогда почувствовала, что я не только я, но еще и что-то другое... тот жеребенок, который чуть не погиб в огне.

Что-то со мной, девочкой Верой, на то время, пока я была в жеребенке, наверно, произошло, потому что пришла я в себя только тогда, когда мама, с которой мы жили на даче, затрясла меня как игрушку: «Вера! Ты где, Вера? Что с тобой, Вера? Вернись!..»

Это было в первый раз, поэтому мама испугалась. Потом привыкла. А отец каждый раз серьезно расспрашивал, что я видела на том свете? Какой он вообще — тот свет?.. В том, что он есть, отец не сомневался. Сомневался он в том, что именно тот свет — тот, а этот — этот. «Доченька, — спрашивал он, — а не наоборот?.. Как-то похоже, что наоборот».

Иной раз и мне так казалось.

Через год после пожара бежала я, как тот жеребенок, который спасся от огня, по той самой канаве к речке. Рожь на пожарище выросла густая, высокая, стояла до неба — как будто за себя и за ту, которая сгорела. Ближе к середине поля канава углублялась, там огромный валун лежал — и за тем валуном поджидал меня лесник по кличке Змей. Не знаю почему у него такая кличка была, не был похож он на змея. Совсем не страшный был, улыбался... Несколько раз я видела его около речки, даже здоровалась с ним, сейчас тоже сказала: «Здравствуйте!» — а он не дал мне мимо пробежать, бросился за мной, схватил, повалил, подмял... Мне было страшно и больно, так больно и страшно, что от боли и страха я начала умирать и, чтобы не умереть, переселилась из себя живой в себя мертвую, потому что только мертвой можно было такой страх и боль выдержать.

Так я впервые умерла.

Змей почувствовал, что я мертвая, но продолжал и продолжал свое, бормотал: «Ты еще теплая... и хорошо, что уже мертвая... не надо будет тебя убивать, грех на душу брать...» — и когда все свое закончил, стащил меня в яму и сбросил сверху подкопанный валун. Камень лег широкой стороной, повис на краях ямы, поэтому не

раздавил... Змей попробовал его сдвинуть, но не смог, а подкапывать снова побоялся, убежал — ему тоже было страшно. Тогда я вернулась из себя мертвой в себя живую и выбралась из-под валуна. Через небольшую щель между землей и нависшим камнем выбраться могла только совсем маленькая девочка.

Разве такое могло быть на этом свете?..

Но ведь на каком-то свете это было.

На том?..

Змей жил за речкой, через мост от нашей дачи, в усадьбе лесничества. Ночевал он летом на сене в хлеву. Это его, а не чьего-то жеребца, спасла я год назад от пожара. Придя в лесничество ночью, я подкралась к бане, закрыла и подперла вилами, воткнув их в землю, двери, на мусор около стены из лесу натаскала сена — и только чиркнула спичкой, как услышала из хлева ржанье. Я могла погасить спичку, но не погасила ее.

Я слишком возненавидела человека, чтобы пощадить коня.

Хлев горел, жеребец ржал и бил копытами в двери, я, сжав зубы, бежала через лес к речке... Потом через мост, потом по канаве через поле — как будто навстречу себе самой, той, которая год тому назад переселилась в жеребенка, чтобы спасти его от огня, и только что в огне его сожгла.

А Змей не сгорел. В ту ночь его не было в хлеву. В лесу прятался, боялся чего-то.

В канаве я заметила, что он все-таки углубил подкоп под валуном, чтоб тот лег плашмя. Чтобы все косточки мои раздавил, чтобы следов не осталось.

Я все думала про жеребенка. Про то, что спасла его от огня, чтобы в огне сжечь. Противоречие было таким острым, что резало меня пополам. Это теперь я знаю: человек только тем и занимается, что создает, чтобы разрушить, и спасает, чтобы уничтожить. А тогда, не зная законов этого мира, я никак не могла понять: как такое могло случиться?..

Из всего, что помещалось и не могло поместиться в мое сознание, следовало одно: если бы я не выбралась из-под валуна, жеребенок остался бы жив.

Теперь мне тяжело вспомнить, как я додумалась до того, что если я жива, а жеребенок из-за меня умер, то мне надо похоронить его обгорелые кости там, где могли бы лежать раздавленные мои. Эта мысль не спасала, но все-таки каким-то образом притупляла остроту противоречия, которое невыносимо мучило меня.

Вечером я прибежала в лесничество и стала на пожарище, вглядываясь в то, что оставил после себя огонь. Обгорелая соломорезка, железные колеса, крюки... И в это время вернулся из лесу Змей. Он увидел меня на черном пепелище в порванном им беленьком платице — и страшно-страшно закричал. Так страшно, что я окаменела. Мне надо было бежать, а я не могла. Стояла и стояла неподвижно, а он кричал и кричал... Вдруг захлебнулся криком, как будто крик тот горло ему разорвал, побежал снова в лес — и только тогда я смогла сдвинуться с места.

Завтра кассирша лесничества, которая жила на хуторе недалеко от нашей дачи и носила нам молоко, сказала, что Змея забрали в больницу. Никто не знает, что с ним, но похоже, что сошел с ума.

Ни отцу, ни матери я ни в чем не призналась. А они ничего не заметили, кроме того, что платье на мне порвано. Хотя говорили, что любят меня.

Я не сказала им ни про Змея, ни про жеребенка, потому что думала: если больно тебе, зачем, чтобы еще кому-нибудь было больно?.. Тебе от этого меньше больно не будет. Да и что бы мои родители сделали, когда бы про все узнали?.. Убили бы Змея?..

Мой отец, как почти каждый русский, не любил себя, а из-за этого не любил никого. Умер он легко, от сердца, хоть боялся смерти. Не так, может, смерти, как того света, на котором ничего хорошего ждать его, грешника, не могло. Мама же старалась любить всех, но у нее даже со мной не очень получалось. Ни смерти она, ни того света не боялась, потому что думала, что перед Богом и людьми не грешила, а все же смерть послал ей Бог мучительную: умирала она от рака. Когда ей стало невыносимо больно и уже не помогали никакие лекарства, я переселилась в нее и взяла ее боль. Я корчилась от ее боли, а ей стало легко, и она смотрела на меня и улыбалась. Так, улыбаясь, и умерла. Как корчилась я от боли, умирая под Змеем, как больно было

мне, когда переселилась в маму, так же мне было больно, когда я переселилась во флаг.

Это было в дни референдума по изменению Конституции, на котором белорусы от флага своего открестились. А заодно — и свой герб, и язык свой. Отказались от всего своего — и бесстыдно стали жить дальше.

Под валуном в яме.

Некоторые стеснялись... Мол, мы не отказывались, нас обманули. Так что же вы молчали, если вас обманули? Промолчав, вы отказались дважды. Значит, откажетесь и трижды, как трижды прокричал петух.

После референдума меня вместе с флагом разодрали на кусочки и раздали на сувениры.

Тогда я во второй раз умерла. Но воскресла, потому что очень любила жить. Если любишь жить, зачем быть мертвым?

Реет и не гаснет
На вековых ветрах
Наш весь от крови красный
От боли белый, флаг

Я воскресла, а Святослав не смог. Он не выдерживал того, кровоточило и болело... Отворачивался, чтобы не замечать.

Он слабый, но поняла я это не сразу.

Если на Дедах около Восточного кладбища милиционеры тащили его в воронок, а он с болью смотрел из-под вывернутого локтя, напуганный, беспомощный, я могла не обратить на это внимания. Или сделать вид, что не увидела, как это сделала Наста. Но мне показалось, что он позвал меня. Я бросилась отбивать его — и отбила свою судьбу.

Наша судьба зависит от того, кто нас позовет.

Святослав говорил: «Нас позвала Родина!» Болтовня... Позови: «Родина!..» Еще раз позови, и хоть сто раз — кто ответит?.. Никто.

Его Родина позвала, а он ее бросил.

Когда возле Купаловского театра в кафе под зонтиками он сказал, что наконец придумал, как нам жить вместе, в своем доме, семьей, с детьми, что нам надо уезжать отсюда, потому что если всем можно, то почему нам нельзя? — я ответила, что никуда с ним не поеду, потому что он такая же крыса, как и все остальные, которые сбежали, а я не хочу ни в доме с крысой жить, ни детей иметь от крысы. Поднялась и ушла от него, не зная, куда, а он посмотрел мне вслед — и не позвал.

Он жестокий.

У него в Волковыске собака была — наполовину волк. Он кормил ее, как волка, раз или два в день. Чтобы зверел от голода...

Наста рассказывала, как с той собакой и двоюродным братом он на рыбалку ее взял. Давно, до меня. Наловив вечером плотвичек, утром он, пока Наста еще спала, снова пошел с братом на реку, приказав своему наполовину волку стеречь наловленную рыбу. Проснувшись, Наста решила приготовить завтрак. Потянулась к рыбе, а волк зубами щелк — и ладонь насквозь. Не зарывав перед этим, не гавкнув, не предупредив, чтобы не трогала. Щелк — и насквозь. И держит, не отпускает. Она часа полтора сидела над той рыбой с рукой в звериной пасти, пока братья вернулись. Святослав не набросился на своего зверя, чтобы наказать его, нет... Подошел, погладил по голове. Не Насту погладил, а волка. Сказал: «Молодец... — и показал на рыбу, которую, выполнив приказ, защитил зверь: — Ешь, заслужил». Только тогда волк разжал клыки и отпустил руку. Повезло, что не зацепил сухожилия...

Брат не выдержал, набросился на брата: «Да как ты так можешь, да ты!..» — и Святослав крикнул полуволку: «Фас!» Тот сбил двоюродного с ног, чуть не загрыз...

Он жестокий, потому что слабый. Жестокий от слабости.

Я сказала ему об этом на Шведовой горе, когда он признался, что в детстве убил кота. Ни за что, без причины. Взял за лапы — и об столб головой.

Обычно он не признавался даже в очевидном. Рассвирепел, когда я упрекнула

его, что он использует любовь Насты, через нее имеет какие-то отношения с властью... И вдруг рассказал то, о чем никто не знал, в чем признаются людям либо совершенно случайным, либо самым близким. Нет, не самым близким, как раз нет, им достается больше всего вранья, а признаются только случайным, как ночной спутник в вагоне, или самому себе.

Он меня позвал, поэтому я не могла быть случайной. Так во всяком случае я думала... Тогда выходило, что он открылся мне, как самому себе. Я стала его утешать, искать оправдания. Говорить, что детство не знает жалости. Мне, когда была маленькой, бабочки казались цветами — и я отрывала им крылья, как лепестки.

И тут он сказал: «Ты и мне крылья оторвала!»

Резко сказал. Как волк клыками щелкнул. И что-то во мне — насквозь! Поднялись все обиды... На родителей, которые подбросили меня в этот мир, не спросив, хочу ли я сюда — и не смогли, не стали меня в этом мире защищать... Поднялась, белая от боли, обида на Змея, а с ней — обиды на всех змеев, змеюк, змеенышей... И я все, как себе самой, рассказала тому человеку, который когда-то меня позвал — не носить же в себе до смерти. Рассказала, как меня поджидали, подминали, делали на мне свое, сбрасывали в яму и заваливали камнями, чтобы не выбралась. Чтобы все косточки мои раздробились, чтобы и следа не осталось. А он послушал и спросил: «Зачем ты это рассказала?.. Я тут при чем?..»

И отстранился от меня. Ему стало противно.

Я открылась ему, как себе самой, а ему стало противно.

Разве не он когда-то позвал меня?..

Почти двадцать лет!.. Шествия, митинги, пикеты... Ни семьи, ни детей, ни дома... У меня была квартира, от родителей осталась, так там то штаб, то типография, то сходка за сходкой — и меня выселили, на улицу выбросили. У власти спрашивать без толку, потому что она и выбросила, поэтому спросила у тех, кто на борьбу с ней звал: «Где мне жить?» — а в ответ услышала: «Каждый чем-то жертвует». Живу в снятой однушке за вокзалом...

Да что там из квартиры — меня из жизни выбросили! Жизнь выбросили из меня — кто мне ее вернет?.. Ты? Который все отложил на потом?.. Семью на потом, детей на потом... На потом — саму жизнь! А что сейчас? Если сейчас у нас не жизнь, тогда что у нас сейчас?!

Он вскочил, глаза белые, как моя печаль:

— А мне кто и что вернет?! Только у тебя жизнь, у меня нет?.. А могла быть! Если бы ты не мешала! Не лезла в наши отношения с Настой! С теми людьми, с которыми она сводила! «Они же из власти, как ты можешь с ними знаться? Они без Бога, они убийцы!..» А кто — с Богом? Кто — не убийца?! Знаешь, сколько ты сегодня муравьев раздавила? Думаешь Муравьиного бога нет?.. — Он вдруг успокоился, сел. — Чтобы не быть раздавленным, надо давить. — И хрустнул косточками пальцев, он страшно хрустел косточками пальцев.

Я подумала: однажды он и меня убьет. Возьмет за ноги — и головой о столб. Или раздавит, сбросив на меня камень. Но я ошиблась: он меня отравил. Он надышал вокруг меня отравы.

Я сама набрала ванну, взяла скальпель... и вдруг мне стало так себя жаль, такая жалость стиснула сердце, что оно чуть не остановилось, но это он проник в меня, во все мои косточки и жилки — и отравил. Поэтому и сошел с ума, когда увидел, что я веду репортаж с королевской свадьбы.

Сошел с ума и позвал: «Вера? Вера! Вера...»

Я не ответила... Какая Вера?

Я не ответила... Откуда мне знать, кто во мне я, а кто не я?.. И кто я в других?..

Я не ответила, потому что скальпель, упав, поранил колено, а жалость, которая стиснула сердце, стала болью.

Я выпила валокордин. Самой себе удивилась: зачем пить валокордин, если собираешься вскрывать вены?.. Набрала в ванну теплой воды, снова взяла скальпель...

Дважды в этой жизни я умирала и воскресала. В третий раз...

— Вера! У тебя звонок не работает, Вера?

Голос, который позвал меня из-за двери, был моим. Я пошла на него и посмотрела в дверной глазок.

За дверью стояла я. Перед ней — я, и за ней — я. Только одета не так, как обычно. Можно было бы сойти с ума, если бы я не знала, что там, за дверью, Вера, но не я. Шведская журналистка.

Я не любила журналисток. Ни шведских, ни немецких — никаких. Они все курили, все пили кофе и все задавали одинаковые вопросы. Я отвечала, мне было больно, а им, я чувствовала, не было больно. Отставляя мизинец, они поднимали чашки и пили кофе, пили кофе... Одна сначала отставляла мизинец, потом поднимала чашку, а другая поднимала чашку, а потом отставляла мизинец... Лак на ногте мизинца чаще всего был содран.

С Верой я познакомилась в Минске, в Купаловском скверике около фонтана. Она шла навстречу — и я остолбенела: как будто я сама себе иду навстречу?.. Только одета не так, как обычно.

Вот и вся разница между нами... Между нами всеми...

Растерянные, мы прошли мимо самих себя, но она остановилась и позвала меня: «Вера?..»

На свете есть только тот, кто тебя позовет.

Она уже прошла фонтан, и мы смотрели друг на друга сквозь радугу, которая стояла в солнечных брызгах. И видно было, что радуга — обман.

Сияющая пустота.

Космос.

Подай мне голос из вселенской пустоты!

Голодному —

Ответь из немоты,

Пусть нищего на мне короста —

Не надо милостыни, просто

Спроси, кто я, и Расскажи, кто ты.

Она сама позвала меня, так что же... Судьба...

Если можно жизнь отложить на потом, то почему нельзя отложить на потом смерть?..

Я открыла.

— Почему ты голая? — спросила Вера, переступив порог и разведя руки для объятий. В одной руке она держала сумку, в другой — бутылку. Феминистки цветов не приносят.

— В ванну собралась... Не знала, что ты в Минске.

— Только что приехала. Можно раздеться, как ты?..

Она была феминисткой с лесбийским уклоном.

— Раздевайся.

Голая Вера совсем такая, как я. В зеркале. Только родинок на левом плече на одну больше.

За ночь одну и тысячи ночей,

Что сплетены объятьями в объятья

Губ не сомкнуть, не поцеловать с плечей

Рассыпанных как звезд — родимых пятен.

А небо, где плывет созвездье Рыб

Рассыплется на миллиарды глыб

Чей свет заманчив и приятен,

Вот если мы перемешать смогли б

Созвездья заново — объятьями в объятья.

— А Наста где?.. Я почти нелегально, через Москву, у меня виза только российская. Так чтобы Наста, если что, прикрыла.

Зачем это она к нам без визы приехала?..

— Никуда не денется твоя Наста. Прикроет.

Наста великая прикрывальщица.

Я познакомила их, потому что Вера захотела взять интервью у кого-нибудь из власти...

Людей интересуют не люди, а нелюди. Они сошлись, сблизились.

Неисповедимы пути твои, Господи.

— А что тут такого? — удивилась Вера, когда я спросила, как она могла сблизиться с человеком, который прислуживает власти. — Что она плохого делает? Карьеру?.. Так все и повсюду ее делали. При монархии, диктатуре, демократии. У нас, у вас. Не надо про всех своих хуже, чем про всех остальных думать. Свои — лучшие, какими бы они ни были. Это самое первое условие для создания чего угодно человеческого, начиная с семьи... Кстати, ты меня с мужем до сих пор не познакомила.

— Нет у меня мужа.

— Нет так нет. У меня тоже нет, хоть и есть.

— Как это?..

— А то ты не знаешь, как...

Действительно.

Мы сидели в Минске недалеко от Купаловского театра в кафе под зонтиками, на улице, по которой Наста как раз проезжала, остановилась около нас, хоть там и знак висел, что останавливаться нельзя, но это кому-то там нельзя, а не ей, она опустила стекло и, не выходя из машины, заказала кофе. Потом все-таки вышла, села к нам за столик, подняла, отставляя мизинец, чашку — и ногти на всех ее пальцах, в том числе и на отставленном мизинце, были безупречно покрыты лаком.

— Про что щебечем? Про диктатуру?

Шведская журналистка смотрела на служителя белорусской диктатуры, как зачарованная.

Любовь преодолевает все. Поэтому я ее преодолела.

— Про мужиков. Вера говорит, что у нее мужика нет.

— У нее есть, — не согласилась Наста. — Это у меня нет, она отбила.

— Могу вернуть.

— Да что уже теперь... Пользуйся.

Мы готовы были плеснуть друг в друга кофе, у меня уже рука потянулась... Вера это почувствовала, взяла мою руку, прижала к столу.

— Я пересказывала ей то, что вчера от тебя услышала. Что надо верить в своих. Если даже свои последние, надо на весь мир кричать, что первые.

Наста поставила чашку.

— Мы первые и есть. Мы перенесли войну, выдержали Чернобыль... И теперь спасаем человечество.

Я вспомнила жеребенка, которого спасла от пожара. Чтобы потом убить.

— От чего мы его спасаем?.. От диктатуры? СПИДа? Терроризма?

— От гибели, которая совсем не в диктатуре. И не в СПИДе, не в терроризме, а в обществе потребления, в которое сейчас превратился весь Запад. Обществу потребления полностью соответствует философия христианства, поэтому надо менять и общество, и веру.

Вера не поняла:

— Какую Веру?

— Христианскую, на которой общество потребления и воспитывалось. Свой духовный пик человечество прошло перед христианством, потом начался упадок, что почувствовали на Востоке, где создали новую мировую религию, но и она не решает проблему, потому что не понято главное: сегодня, чтобы идти вперед, нужно бежать назад. А нам не надо назад, мы и так там. В том смысле, что, хоть у нас и есть храмы, но мы по сути своей никакие не христиане, а, как древние греки с римлянами, язычники, и общество потребления у нас не сформировалось. Цивилизация перегнала нас, как на стадионе, на круг, но с трибун кажется, что мы не последние, а первые, и самое интересное, что так оно и есть. Став аутсайдерами, мы стали лидерами. И не надо соваться к нам с правами человека, со всей блестящей мишурой, придуманной обществом потребления для оправдания своего существования. Потому что это —

как вешать на нашу языческую елку не конфеты, а фантики. Не нам нужно двигаться в Европу, а Европе к нам, к той человеческой сущности, к тем традициям, которые мы сохранили. Если, конечно, Европа не хочет, чтобы ее кровеносные сосуды забило холестерином, а хочет, чтобы в ней билось живое сердце и дух живой витал.

Вера так заслушалась, что отпустила мою руку, у меня появилась возможность плеснуть кофе, но он был допит, а пока официант нес новый, Наста поднялась, села в машину, всмотрелась в нас обеих: «Интересно все-таки, для чего вы так похожи? Для чего-то же похожи?..» — и ее водитель с гэбистской мордой рванул с места.

— Она и у нас сделала бы карьеру, — очарованно сказала вслед ей Вера, которая стояла сейчас голая передо мной и пробовала целоваться.

Я подумала: почему нет?.. Если теплая вода уже набрана в ванну.

Остынет — можно долить.

Смерть отложена.... Жизнь отложена еще раньше... Я уже ждать не ждала, что что-то в этой отложенной жизни может произойти со мной впервые...

— ...так он кота за лапы и об косяк головой, — нацеловавшись, рассказывала про своего мужа, который как будто есть и которого как будто нет, Вера.

— Когда?.. В детстве?..

— В каком детстве, ты не слушаешь совсем... Два дня назад. У нас в Мальме две квартиры, в одной я с котом, в другой он, я уже с ним и не живу, а тут он приперся из тюрьмы, добиваться своего начал, сразу у дверей, у входа повалил на пол, так кот, как собака, я сама не ожидала, накинусь на него с каким-то рычанием утробным, давай царапать и грызть, а он его за лапы — и головой об косяк! Меня отбросил, а кота бил, бил и бил, пока от головы ничего не осталось, все стены в крови... А ведь и не мужик как будто, тряпка, из него веревки можно вить... Я в той квартире оставаться не могла, в Мальме не могла оставаться, в Швеции, шведов не могла видеть... Убежала. На самолете в Москву — и поездом сюда. Вы лучшие в мире, лучшие, — она снова стала целовать меня и плакать. — Ты, Наста, вы все, вы все...

Да, мы все лучшие. Особенно один из нас. Он убил кота — и в Минске не может оставаться, в Беларуси не может жить, белорусов не может видеть. Убегает. Поездом в Москву — и самолетом в Швецию. Где тоже убивают котов.

— А за что твой муж сидел?

— Ни за что не сидел... С чего ты взяла?..

— Ты же сказала, из тюрьмы приперся.

— Он юрист, следовательно... Осатанел, наверно, с тюремщиками... — Вера встала с кровати, сходила в ванну, смыла слезы. Вернулась: — Там вода твоя остыла.

— Доберу.

Вода не жизнь. Можно добрать.

Хоть и жизнь добрать можно. Если то, что сейчас у меня с Верой, считать добром.

Она бросилась рядом со мной на кровать, прижалась, игривая...

— А я к тебе с предложением приехала! С веселым предложением, потому что ты грустно, мне в последний раз показалось, живешь.

— Без тебя и без Насты?

— При чем тут Наста?

— Ты с ней, как со мной?

— Вот... Уже и ревность... Тяжело с вами, славянки-лесбиянки.

— Какая ревность?.. Я не лесбиянка. У меня мужик есть, хоть и нет. Просто интересно, как?

— Если интересно, то не так.

— А как?

— По-другому.

— Как по-другому?

— Как лесбиянка демократии с лесбиянкой диктатуры.

Они обе живут не сучая...

— А почему ты...

Я не знала: спрашивать ли?..

— Что почему?

- Почему ты вообще этим занимаешься?
- Чем этим?
- Этим... с женщинами?
- Потому что не люблю мужиков.
- У тебя же муж есть...
- Ну и что?.. Все равно не люблю. С детства.
- И отца не любила?

Спросив, я почувствовала, как она напряглась.

- Не любила. Он меня не защитил.
- От чего?..

Вера повернулась на спину, вытянула руки вдоль тела, и уставилась в потолок...

- От того, что со мной сделали...

Про то, что с ней сделали, я могла бы и не спрашивать, потому что знала, что сделали то же самое, что и со мной, но я спросила:

- А что с тобой сделали?..

Она помолчала. Видимо, думала: рассказывать ли? Такое рассказывают или кому-нибудь совсем случайному, или самому близкому. Хоть как раз самым близким говорить такое не нужно, им делается противно. Такое рассказывают только или кому-то совсем случайному, или только самому себе.

Я не была случайной, меня позвали. Она сама позвала меня через радужные брызги фонтана.

Через пустоту.

Через космос.

Однажды, проснувшись в ночи,
Ты вспомнишь, что можешь летать,
И бездна, кричи не кричи,
Будет глаза сосать.
Обманчивый смысл бытия
Тебя проберет аж до пота,
Проснешься — и станешь дитя
Учить не ходьбе, а полету.

Я не была близка, мы встретились в космосе мгновенье назад. В конце концов, все встречаются в космосе мгновение назад, поэтому близких не бывает вообще.

Вера сложила руки на груди.

- Я лежала вот так, а меня хотели раздавить.

Она все-таки решила рассказать... Как самой себе.

- Камнем?..

Она удивилась. Или сделала вид, что удивлена.

— Откуда ты знаешь?.. Хотя ты должна знать... Да, камнем. Ледниковым валуном. Мы в рыбацком поселке жили. На самом берегу моря, там много камней было. Они красиво лежали, как киты. Один из них, которого море дальше всех на берег выбросило, к самому лесу, я так и называла: кит. Он был самый маленький из всех, но больше всего на кита похож. Я садилась на него и плыла. Далеко-далеко... Он качался на волнах, убаюкивал. Боже, в каких я только сказках не побывала, плывя на нем!.. И когда ко мне тот бородатый рыбак подошел, который жил не в поселке, а на небольшом острове метрах в трехстах от берега, я подумала, что он из сказки. Тем более что у него кличка была...

- Змей?

- Змей?.. Кто это — Змей?

— Дракон, который всех ел. Или дьявол. Его ангелы в каменной горе в цепи заковали, но скоро грехи человеческие перегрызут те цепи...

- И он всех съест?

- Съест и косточки обглодает

- Потому что Змей?..

- Потому что Змей...

— Которого ангелы в каменной горе заковали?..

— В каменной...

Вера помолчала, встряхнула головой:

— Нет, не Змей. Хоть он мог быть и Змеем. Но у нас там свои сказки, и кличка у него была Кит, представляешь? Он лег за валуном за каменной горой со стороны леса и сказал, чтобы я села на него, и я на него села, потому что думала, что сажусь на Кита и поплыву на нем далеко-далеко. А он перевернулся, перевернул меня, подмял... Мне было страшно и больно, так больно и страшно, что я от боли и страха умерла. Кит почувствовал, что я мертвая, но продолжал и продолжал свое, бормотал: «Ты еще теплая... и хорошо, что уже мертвая... не надо будет тебя убивать, грех на душу брать...» — и когда все свое закончил, сбросил меня в яму и толкнул сверху подкопанный валун. Камень лег широкой стороной, повис на краях ямы, поэтому не раздавил... Кит попробовал его сдвинуть, но не смог, а подкапывать снова побоялся, убежал — ему тоже было страшно.

До сих пор не понимаю, как это из себя мертвой я вернулась в себя живую и выбралась из-под валуна? Через небольшую щель между землей и нависшим камнем выбраться могла только очень маленькая девочка. Маленькая, мне тогда и семи не было, но не мертвая...

Она умеет делать то же самое, что и я, только не знает про это. Поэтому не понимает.

— А у Кита кто-нибудь был?

— Кто-нибудь — кто?

— Жена, дети...

— Нет, у него была только собака. Злая, наполовину волк. Он и кормил его, как волка, раз или два в день. Чтобы зверел от голода... В нашем поселке одинокая женщина жила с изуродованной рукой, Асвер, так говорили, что она невестой Китовой была, и Кит однажды взял ее на рыбалку. Не на море, а на озеро. У нас, кроме моря, еще и большое озеро сразу за лесом было. Наловив вечером щук, утром он, когда Асвер еще спала, снова пошел на озеро, приказав своему полуволку стеречь наловленную рыбу. Проснувшись, Асвер решила приготовить завтрак. Потянулась за рыбой, а волк зубами щелк — и ладонь насквозь. Не зарывав перед этим, не залаяв, не предупредив, чтобы не трогала. Щелк и насквозь. И держит, не отпускает. Она часа полтора сидела над той рыбой с рукой в звериной пасти, пока Кит не вернулся. Он не набросился на своего зверя, чтобы наказать его, нет... Подошел, погладил по голове. Не Асвер, невесту свою, погладил, а волка. Сказал: «Молодец... — и показал на рыбу, которую, выполнив его приказ, сохранил зверь: — Ешь, заслужил». Только тогда волк разжал клыки... Представляешь зверя? И зверя этого где-то за год перед тем, как Кит меня валуном завалил, я спасла, представляешь?..

— Спасла от огня?

— Нет, от воды... Он в сетях запутался, которые Кит с берега лодкой тащил, и уже захлебывался, но я поднырнула и успела выпутать его. Не дала утопиться, чтобы потом сжечь. Спасла, чтобы убить. Знаешь, как?

— Ты поплыла на остров и подожгла дом Кита?

— Не дом, кладовую. Летом он ночевал в кладовой. Ложился на сети и спал. Я приплыла ночью, подкралась, закрыла и подперла рогатиной, воткнув ее в землю, дверь, наносила к стене от моря сухого хвороста, подсунула обрывок газеты — и только чиркнула спичкой, как в кладовой кто-то заскулил. Зверь, видимо, узнал меня, свою спасительницу, поэтому не лаял, когда я закрывала кладовую, носила хворост... И когда я тот хворост поджигала, не залаял — заскулил только, как будто пощады просил.

Я могла потушить спичку, но не потушила ее. Я слишком возненавидела человека, чтобы пожалеть зверя.

Кладовая горела, собака уже не скулила, лаяла и рычала, билась в двери, а я, сжав зубы, плыла и плыла далеко-далеко... — Вера обняла меня. — Как ты думаешь, я куда-нибудь приплыла? Или осталась там: на берегу моря под камнем, под которым вижу сон про то, что со мною могло быть, если бы я осталась жить?.. Я живая, Вера?..

Я с тех пор чувствую себя так, как будто не живу, а все откладываю жизнь на потом. А куда ее можно отложить? Как?..

Везде сплошь одно и то же.

— Живая, — погладила я ее по волосам. — А Кит?..

— Что — Кит?

— Кит сгорел?

— Нет. В тот раз он ночевал не в кладовой, а в доме. Как чуял что-то. Только собаку почему-то на ночь в кладовой запер. Его судили потом за то, что сжег собаку. Он признался, наговорил на себя, что это он сжег. Хоть и видел, что это я... Уже отплывая, я увидела его в окне. Всего белого в белом нижнем белье... И я была в белом, порванном им, платье. Наверно, он подумал, что я призрак, что меня с того света за ним послали — и поседел. На суде его признали больным и отправили в больницу. Живет там где-то, сказочник...

Вера по-детски шмыгнула носом... Как будто не душу ей искалечили, а конфету с елки не дали.

— Так его судили только за то, что собаку сжег?

— А за что еще?.. Я ничего никому не сказала. Ни отцу, ни матери ни в чем не призналась. А они ничего не заметили, кроме того, что платье на мне порвано. Хоть и говорили, что любят меня. Я промолчала и про Кита, и про собаку, потому что думала: если болит у тебя, зачем, чтоб еще у кого-то болело? Тебе от этого меньше больно не будет... А ты бы о своем сказала?

— Не сказала бы... У меня родители были... Такие...

— Так и у меня такие... Поэтому и не сказала.

— А мне говоришь, потому что я не такая?

— Нет... Потому что ты, как я. — Вера прижалась грудью к груди. — Ты чувствуешь это?

— Что — это?

— Что ты, как я. И не потому, что мы внешне похожи. Просто ты, как я. А я, как ты. Одно и то же. Почти.

Все мы на этом свете почти одно и то же. А на том — тем более.

Мне жалко стало не только себя, Веру, но и ее, Веру, и Асвер с рукой искалеченной, и Насту с искалеченной душой, и всех...

— Бедная ты моя...

— И ты моя бедная...

Ей тоже, наверно, стало жаль не только себя, Веру, но и меня, Веру, и всех...

— Почему я бедная?.. Я не бедная...

— А я почему бедная?.. И я не бедная...

— Как это не бедная, если живешь там, где насилуют, калечат...

— Это ты живешь тут, где насилуют, калечат...

— Но у нас же не все и не всех...

— И у нас же не все и не всех...

— Но ведь калечат... Друг друга калечат...

— Калечат...

— И женщин насилуют...

— Насилуют...

— И котов убивают...

— И котов убивают...

— Калечат, насилуют, убивают...

— Калечат, насилуют, убивают...

— Тут и там...

— Там и тут...

Вера села, обняв колени.

— Так какая разница?.. Какая разница, если никакой?..

Я тоже села, обняла колени.

— Получается, что нет разницы...

Мы долго сидели, обняв колени, и смотрели друг на друга, жалея себя и всех, смотрели и молчали так, как будто о том, что и у нас, и у всех было и будет, мы знали,

и из-за этого мне вдруг стало неудобно, мне перехотелось все, что было и будет, знать и я спросила:

— Ты с каким предложением приехала?

— Ни с каким... Нет никакой разницы и нет никаких предложений... Какие тут могут быть предложения?..

— Какие-то же могут быть... Хотя одно...

— Ой!.. — тряхнула Вера головой, как будто выбрасывала из нее все, что помнила и знала наперед. — Есть! Такая, что описаться!.. — Она аж пискнула, так ей то, что придумала, самой, похоже, нравилось. — Этой весной в Европе две королевские свадьбы. Одна в Копенгагене, другая в Мадриде. Я приглашена на обе, без меня в Европе давно уже ничего не происходит. Так на одну поеду я, а на другую — ты! Сама выбирай, на какую.

— Ой...

— Что «ой»? Описалась?..

Она меня рассмешила, я стала смеяться, она тоже, мы смеялись и, обнявшись, катались на кровати.

— И что я... и что я там буду делать?..

— С королями есть и пить...»

— С королями есть и пить?..

— Да, ты когда-нибудь пила с королями?..

— Нет, не пила... Со всеми пила, а с королями... прости, с королями, нет...

— Так выпьешь... И репортаж проведешь...

— Какой репортаж?..

— Свадебный, какой же...

— По-шведски?..

— По-шведски... Или по-английски...

— По-английски?.. Разве можно на шведском телевидении по-английски?..

— В Швеции можно по-всякому...

— По-всякому?.. И так, и так?..

— Нет, так нельзя, ты что это делаешь?..

— А что я делаю?..

— Щиплешься...

— А в Швеции не щиплются, когда этим занимаются?..

— Не щиплются...

— А где щиплются?..

— В Англии...

— В Англии щиплются, а в Швеции нет?..

— В Англии щиплются, а в Швеции нет...

— Почему?..

— Потому!..

— Нет, ты скажи, почему?..

— Потому что в Швеции король, а в Англии королева...

— И королева щиплется?..

— Еще как...

— С королем?..

— А то с кем?..

— Король с королевой щиплются?..

— Король с королевой только тем и занимаются, что щиплются, когда этим занимаются... Ну, скажи по-шведски: «Kungen och drottningen går inget annat än nypas när de ligger med varandra»¹

— Går inget annat än nypas när de ligger med varandra...² Нет, я так по-шведски сказать не смогу...

— Говори по-английски, английский у тебя даже лучше, чем у меня...

— Лучше, чем у тебя?..

— Да, лучше, потому что вы лучшие... Я во всех газетах написала, что вы лучшие...

¹ «Король с королевой только тем и занимаются, что щиплются, когда этим занимаются...» (шведск).

² «Только тем и занимаются, что щиплются, когда этим занимаются...» (шведск.)

— Так и написала?..
— Так и написала...
— Во всех газетах?..
— Во всех газетах...
— Которыми все подтерлись?..
— Нет, не подтерлись, у нас газетами не подтираются...
— А у нас подтираются...
— Все?..
— Все...
— Я вернусь и напишу, чтобы у нас тоже подтирались...
— Так и напишешь?..
— Так и напишу...
— Зачем?..
— Чтобы наши были такие же, как ваши...
— Такими же лучшими засранцами?..
— Такими же лучшими засранцами...
— Такими кончеными засранцами, которые даже не заподозрят, что я — это не ты?..
— Они не заподозрят, но...
— Они не заподозрят, но что?..
— Но ты в репортаже скажешь, что, пока они свадьбы играют и мягкой бумагой задницы подтирают, у вас людей убивают...
— Как котов?..
— Как котов...
— Как мой муж убил?..
— Не твой, а мой...
— Мой тоже убил...
— Твой тоже убил?..
— Как и твой... Как и все они...
— Потому что везде без разницы?..
— Потому что везде без разницы...
— Ты про это можешь сказать...
— Скажу...
— А потом признаешься, что ты это не я, а ты это ты — вот будет бомба! Бабахнет, как перед концом света, — и пусть попробуют не услышать, что живе Беларусь!..
Мы скатились с кровати, грохнулись, Вера под меня — затылком об пол. На мгновение она обмякла. Может, даже потеряла сознание, но как будто не заметила, что какой-то миг ее здесь не было. Открыла глаза:
— Как тебе такое?..
Так она не заметила бы, что ее совсем нет.
Нечего бояться.
Нечего откладывать на потом.
Поднявшись, я подала ей руку:
— Никак. Но повеселились, как перед концом света.
Отец спрашивал: «Доченька, тебе там не говорили: конец света — это конец света и того, или только этого? Если только этого, то тогда какой же конец? Неувязка какая-то...»

И все едино: смертный ты
Или бессмертный —
Ты звездный ветер пустоты,
Дым предрассветный.
И сам себе посмотришь вслед,
Чтоб что-то в памяти оставить,
Но только ничего там нет,
И стала ветром с дымом — память.
Со светом мертвым иль живым
Знай, что на всяком свете
Есть только предрассветный дым
И звездный ветер.

— И еще повеселимся, у меня такое есть!.. — Вера порылась в сумке, достала баночку с пудрой. — Вот! Пудра для полетов... Русские стали к нам возить, у них не все плохое. Синтезировали что-то так, что кайф дает — куда там экстази! Причем невозможно определить, что это наркотик. Ни когда он в баночке, ни когда в тебе. — Она открыла баночку, достала из нее вату, из-под ваты две таблетки. — А сильный такой, сильнее чем «белый китаец», надо с дозой аккуратно. На полтаблетки... Или для начала четверть... Знаешь, как таблетка называется? Кремлевская... Кто-то с юмором, правда?.. Но Кремль увидишь, гарантирую. И гимн Советского Союза услышишь. Так они наркоту свою закодировали, кагэбисты...

Для шведов, немцев, канадцев, англичан, для них всех во всем бывшем Советском Союзе до сих пор живут только те, кто сидел, и те, кто сажал. Лагерники и кагэбисты. Как только с Запада кто-нибудь в Минск приедет — так около здания КГБ сразу фотографироваться. И все оглядывается: не заберут ли? Если не его, так фотоаппарат.

Святослав однажды поспорил со мной, подошел к супружеской паре англичан, козырнул: «Майор комитета Государственной безопасности Берия! Фотографировать запрещено. Пожалуйста, ваш аппаратик». Отдали, не пикнули...

Я не ожидала такого, кричать стала: «Как ты мог аппарат забрать?..» — а он засмеялся: «Адреналин дороже стоит. А я сколько адреналина им вогнал?..»

— Мне не надо, Вера.

— Гимн Советского Союза не любишь?.. — Вера разломила таблетку пополам, половину еще пополам. — Из четвертинки — гимн в сокращенном варианте и без слов...

Себе она взяла целую таблетку, немного подумала — и добавила еще четверть. Запила вином, стакан выпила...

— Не тяни, надо вместе. А то разминемся в полетах...

Если добирать жизни, то не четвертинку, а все, что осталось.

И запить вином.

И в Кремль...

И слушать... имн оветско юза... ..который стал заикаться, как будто пластинку заело, и на шестом или седьмом заикании музыка вдруг изменилась, зазвучала другая мелодия, тоже гимновая, но не советская, и не французская или американская, не европейская и не африканская, а какая-то всемирная, которую пел кто-то на небесах — Бог, или кто?.. и Бог сказал, не переставая петь: «Я, кому еще на небесах петь?..» — и голос Его вошел в меня сладко-сладко, потому что я поверила, что Он есть, поет, и ему аккомпанируют ангелы, на арфах играют и на скрипках, на кларнетах и окаринах, но возникает эта мелодия сначала во мне, а потом уже ее поет Бог и играют ангелы, которые сами удивляются, что есть такая музыка, торжественная и разноцветная, как радуга, через которую мы увиделись с Верой около фонтана, и теперь она цветами и звуками наполняет темный и пустой космос, веет над огромным — подо всем небом — стадионом, где я стою на пьедестале, одна, на месте чемпионов, а по стадионной дорожке, которую и дорожкой не назвать, потому что она шире и длиннее любой дороги, бегут и бегут люди, множество людей не только белых, черных и желтых, но и красных, синих, зеленых, как будто все они пробежали через радугу, каждый через свой цвет, и они уже заканчивают круг, я боюсь, что их не догоню, а Бог говорит, не переставая петь: «Тебе не надо догонять, ты и так первая», — только мне кажется, что Он лукавит, сначала все-таки надо победить, а потом уже становиться на пьедестал, с которого я не могу сойти, потому что он слишком высокий, до самых облаков, а Бог снова говорит, не переставая петь: «Ты вспомни, что умеешь летать», — и я полетела, о, как сладко и высоко, выше и еще слаще, еще выше и слаще, еще и еще, о, и сердце останавливается, не может вынести этой радости, но должно выдержать, оно мне необходимо, чтобы бежать, потому что они там, внизу, уже добегают первый круг, я спускаюсь и бегу, отстав на круг, впереди всех, и по всему стадиону, которому конца и края не видно, нараспев катится: «Бе-ла-русь! Бе-ла-русь! Бе-ла-русь!» — и так хорошо от этого слова, хоть Вера и говорила, что не будет слов, оно ложится на всемирную мелодию, которую играют ангелы и поет Бог, который вдруг замолкает и смотрит на меня тотально-одиноким, о как одиноко, до остановки сердца, которое не может выдержать такого тотального одиночества, но оно мне необходимо, потому что уже близко финиш, вот он, и я первая, о, какая радость быть первой, и ее столько, что грудь переполняет, сердце разрывается, оно не может выдержать этой радости, но должно выдержать, оно мне необходимо, чтобы

вынести горе, невыносимое горе, потому что все кричат: «Бе-ла-русь! Бе-ла-русь! Бе-ла-русь!» — а Бог говорит: «Нет, она не первая, ей бежать еще круг», — и с Богом не поспоришь, бежишь, бежишь и бежишь, задыхаешься, задыхаешься, задыхаешься и от того, что воздуха не хватает, и от страха, потому что впереди яма чернеет, которую выкопал Змей и куда дорожка, как лента, соскальзывает, падает и тащит за собой в пасть Кита, в черноту, в пустоту, откуда отец спрашивает: «Доченька, скажи, это уже тот свет или еще этот?» — а что мне сказать, если я сама не знаю, и так стыдно, о, как стыдно, что даже сейчас, когда отца уже нет, ничего хорошего сказать ему не могу, ничем не могу помочь, как и Святославу ничего хорошего не сказала и ничем помочь не смогла, и из-за этого стыдно и больно, так больно и стыдно, что сердце может не выдержать, и оно не выдерживает, останавливается, «тук-тук» предпоследний раз и еще «тук...», последний, я уже не дышу, но отец, который тоже умер от сердца, знает, как не дать ему остановиться, сжимает и отпускает мне грудь, сжимает и отпускает, и выталкивает из пустой темноты вверх, вверх, вверх, где мне немного легче, где все больше и больше цветов и звуков, к которым я выбираюсь через такую узкую щель, через которую выбраться может только совсем маленькая девочка, маленькая, но ведь не мертвая, и снова слышу музыку... имн... оветско... юза... и ах! — хватаю воздух, но вздохнуть полной грудью еще не могу, что-то сверху меня душит, Змей глубже подкопал яму и свалил в нее валун, который лег плашмя... Господи!.. — это Вера лежит на мне губы в губы и не двигается...

Сразу я даже не испугалась. Подумала: если я умею жить и в себе, и в других, переселяться и возвращаться, то почему она, такая же, как я, не умеет?.. Тем более что она уже умирала когда-то и возвращалась из себя мертвой в себя живую, выбиралась из-под камня через маленькую щель...

Вера лежала на мне, как раздавленная.

Я выбралась из-под нее, перевернула на спину, затрясла, как куклу: «Вера! Ты где, Вера? Что с тобой, Вера? Вернись!..»

Она не возвращалась. Переселилась куда-то навсегда.

Схватив телефон, я машинально набрала номер, услышала в трубке: «Скорая помощь», — и положила трубку.

Если в моей квартире найдут шведскую журналистку, которая нелегально приехала в Беларусь и умерла от передозировки, то не найдется такой «скорой», которая бы мне помогла.

Я залезла в сумочку Веры, нашла паспорт. Виза в паспорте только российская.

Наркоманка и нелегалка... Лесбиянка — не в счет. Но, когда начнут раскручивать, то и это засчитают.

Около меня загорелось ржаное поле...

Мне бы гореть на нем, если уже набрана ванна. Потому что какая разница: в огне?.. в воде?.. Но я забыла про то, для чего набиралась ванна...

Пожар слался по ветру, ветер закручивал языки огня, то в одну сторону, то в другую, огонь вставал стеной, в которой я не находила выхода, спасения, хоть оно было...

С фотокарточки в паспорте Веры смотрела я.

Я вспомнила, что собиралась сделать час назад... Закатила Веру на одеяло и осторожно, чтобы нигде не поцарапать, затащила в ванную комнату. Там взяла под мышки и подняла в ванну. Эмалированный край ванны был гладкий, не царапался. Положив Веру ровненько, я добрала теплой воды, взяла скальпель и провела по запястью левой руки. Положила скальпель на край ванны. На нем не было ни капли крови.

Вышла, закрыла дверь.

Оделась в одежду Веры. Убрала в квартире. Хоть там и убирать было нечего: два стакана помыть да бутылку выбросить.

За десять минут дошла до вокзала. Осмотрелась, нет ли кого из знакомых?..

Никого.

Купила билет.

Поездом — в Москву, оттуда — самолетом в Стокгольм. Автобусом — в Мальме. В Европе все близко.

Переселилась.

Я с детства это умела делать...

Добравшись до Мальме, убирала в квартире дольше, чем в Минске. Бедлам я, уезжая, оставила невероятный: грязная посуда, разбросанное белье, косметика, и

плюс ко всему — вся прихожая в засохшей крови. Как это я поехала куда-то, даже кровь со стены не смыв?..

Я взялась мыть стены, почти все уже отмыла, когда спохватилась: что это я делаю?..

То, что осталось, отмывать не стала.

Проголодавшись, спустилась в магазин, чтобы купить еды. «Hej!.. — улынувшись сказала кассирша, взяв мою кредитку. — Har du kommit tillbaka?..»¹ Я улынувшись в ответ: «Hej!.. Jag har kommit tillbaka...»²

Я купила вино и, вернувшись, выпила.

С возвращением!..

Пикнул мобильный телефон Веры. Мой телефон, на который пришло сообщение. «Я купил тебе котенка. Извини. Карл».

Моего мужа, оказывается, зовут Карлом. Как шведского короля...

Почему одной — замуж за короля, а другой — набирать ванну, брать скальпель и вскрывать вены?.. Хоть, выйдя замуж за короля, тоже можно набрать ванну, взять скальпель и вскрыть вены...

Я написала Карлу, что у него есть выбор... Или забыть, что я есть, и работать в тюрьме, или помнить, что я есть, и в тюрьме сидеть. За насилие и убийство. Он ответил, что принимает первый вариант и оставляет котенка себе.

Разве я могла тогда представить, что его назначат следователем по делу Святослава, и мне придется еще писать и писать...

Тогда я все-таки боялась, что он будет искать встречи, а встретившись, не узнает во мне Веру, потому что у меня родинка на левом плече на одну меньше... Против него надо было что-то иметь, хотя бы кровавые стены в прихожей, которые я не домывала. Чтобы доказательство было, что убил... Но однажды какой-то клерк с кейсом, похожий, как мне показалось, на моего мужа Карла, столкнулся со мной при входе в кафе — и отскочил, как ошпаренный. Перебежал на другую сторону улицы, по которой шел, не оглядываясь — и я поняла, что бояться мне нечего. Пришла домой и вымыла все начисто, отскребла то, что оставалось, засохшее, из прошлой жизни.

Назавтра пошла прогуляться к морю и увидела толстого рыжего в белых пятнах кота, который лениво убежал от такого же толстого и рыжего, только без пятен, мужика. Мужик даже задыхался — так хотел догнать кота. В конце концов, кот устал убежать, мужик догнал его, наклонился и погладил...

Вы кого-нибудь, задыхаясь, догоняли, чтобы погладить?..

Когда я вела репортажи с королевских свадеб, то не призналась, что я не Вера. В этом я виновата перед ней, потому что мы договаривались, что признаюсь. Но мы договаривались как живая с живой, а не живая с мертвой...

Конечно, если бы я призналась, то это была бы бомба... Только что тогда было бы со мной?.. Со Святославом, которого я нашла только тогда, когда в газетах написали, что его арестовали, и которому надо было тут, как и там, помогать. Наста тут ничем помочь не могла.

А там помогала: смерть мою все-таки признали самоубийством. На телефон Веры Наста эсэмэску сбросила: «С возвращением в Европу! Вот для чего вы похожи были».

Лесбиянка диктатуры.

Поводов для экстрадиции Святослава не было: не из-за кота же высылать... Я еще про него так написала, что шведы вину перед ним почувствовали. Такого героя с ума свели...

Из психушки его забрал какой-то русский, которому Святослав, убив белоруса, оказал большую услугу. За ту большую услугу тот русский купил ему огромный дом, во дворе которого насыпал, как Святослав попросил, большую гору. И купил большую собаку. Святослав назвал гору Волковской, вечерами забирался на нее с собакой и смотрел куда-то на юго-восток. Солнце садилось за его спиной, светило в ту сторону, куда он смотрел, и когда оно закатывалось за небосклон и ничего уже не было видно, он начитал выть, а собака — подвывать. Страшно, как волк. На всю Европу.

Весна 2004 г., Растила, Хельсинки, Финляндия

Весна 2008 г., Висбю, о. Готланд, Швеция

¹ «Привет! Вы вернулись?..» (шведск.)

² «Привет! Я вернулась...» (шведск.)

Бернардас Бразджионис

Жизнь без края и без конца

Слитовского. Перевод Елены Печерской

* * *

Мир наполнен радостью вешней.
Буйный Неман ломает лед.
Ты стоишь у кромки нездешней,
Словно юность снова цветет.
И весенние дни и ночи,
Ярко-желтых цветов пыльца,
Голос неба
Тебе пророчат
Жизнь
Без края и без конца!

Так клокочет юность хмельная,
Так бормочет старость в свой час,

И трава, и бабочек стая, —
Лишь бы ты не ушла от нас!

...Вновь лучи разрывают в клочья
Облаков светозарный ряд,
И весенние дни и ночи
Вновь дурманят и вновь манят.
И земные цветы отважно
Отверзают небесный свод,
И душа после долгой жажды
Возвращение жадно пьет.

Последние соловьи

Мы вступаем в полуденный сад,
Перед бездной склоняем колени,
И не в силах неопытный взгляд
Оценить даже чудо рожденья.

Мы минуем полуденный сад,
Не отведав плодов его сладких.
Отдаленные песни звучат,
Словно память о радостях кратких.

Мы вернемся в полуденный сад
Сквозь осенней поры лихолетье.
Каждый мигу желанному рад,
Только ливень отхлещет, как плетью.

О полуденный сад, зеленой!
О, какие коленца и трели!
Это звонче, свободней, сильнее
Нам вослед соловьи зазвенели.
Прислушайся, как зазвенели
Последние соловьи.

Бразджионис (Браздженис) Бернардас — поэт, переводчик, литературовед. Родился в 1907 г. в деревне Стебейкяй в Литве. Детство провел в США. Изучал литературу и литовский язык в Каунасе, в Литовском ун-те. Как поэт дебютировал в 1924 г. Преподавал литературу в школе, был редактором целого ряда изданий. В 1944 г. покинул родину, выехал в Германию, с 1949-го жил в США. Наиболее представительна книга «Полнолуние поэзии» (Лос-Анджелес, 1970), куда вошли стихи из 12 его поэтических сборников. Переводил на литовский поэзию Гете и Гейне. Возвращение поэта в 1989 г. стало культурным событием в Литве, однако поэт продолжал жить в США. Скончался в 2002 г., похоронен на Пятрашюнском кладбище в Каунасе.

Печерская Елена Георгиевна — поэт, переводчик, литературовед. Родилась в Москве. Выпускница Литературного ин-та. Автор 3 сборников стихов. Переводит стихи таджикских, армянских, эстонских, болгарских авторов. Живет в Москве.

* * *

Цветет земля, да не наша.
Цветам улыбнуться мне бы,
Но доля наша сурова.
Так повелело небо.

О, как эти раны ноют
И заживут ли снова?
Дано ль судьбой оказаться
Под сенью родного крова?

Лишь сны вернут нас обратно
На краткий миг, не навечно,
И мы на кровавые пятна
Взираем с тоской сердечной.

Однако сквозь грусть и горечь,
Удары и укоризну
Храним мы бережно в сердце
Живое сердце Отчизны.

Осень подкралась...

Осень подкралась. Короткие дни одиноки.
Вновь наползает то серый туман, то ненастье.
Звезды померкли за этой густой поволокой.
Вянут цветы сказкой короткой о счастье.

Осень подкралась. А юность была столь короткой!
Где безрассудство, где страсти? Не помню, не знаю...
Лето промчалось стремительной женской походкой.
Перстью земною становится роза земная.

* * *

Белоснежные орхидеи,
Неспроста я с вами знаком.
Вы цветете, а я владею
Изумительным языком.

Это чудо из ниоткуда
Навсегда надо мной поет,
И пока вместе с вами буду
Совершать над бездной полет —
Бесконечно или мгновенно.
На одном пока берегу,
В белой кипени по колено,
По колено в вечном снегу —

Орхидеи везде со мною,
С ними голос навеки слит.
Но цветам не цвести зимою,
Как Евангелие твердит.

Весенняя гипербола

Юность — жаркое пламя.
Небо — медовая сыта.
На одной карусели с нами —
Солнечная сюита.

Мчится песня на крыльях птичьих,
И дурманит запах соцветий,

А весна в обновленном обличье
Пашет черную почву столетий.

На том берегу избушка,
Клены, липы, каштаны,
И на яблоне белая пташка
Качается беспрестанно.

Кирилл Ковальджи

Моя мозаика

Рассказы

Элен

Где-то в середине шестидесятых годов по приглашению союза писателей Румынии я приехал в Бухарест. Меня встретили, как положено, и познакомили с сопровождающей (назавтра надо было отправиться в поездку по стране). Это была шальная девица, остроносенькая, круглолицая, лет за тридцать. Не назовешь красивой, но такая живая, кокетливая, женственность — прямо как силовое поле. Тараторила не умолкая. Звали ее Элен Фуртуна. Надо сказать, что кроме «фортуны» в ее фамилии звучала и «фуртуна», что по-румынски означает «буря, гроза» — это ей больше подходило.

За ужином я узнал, что она из Олтении (где и я оказался в конце войны), было ей лет шестнадцать, когда пришли русские, и в нее влюбился молодой капитан, осыпал подарками, был щедрый, удалой. Он буквально вскружил провинциальной барышне голову, потому что еще недавно она смертельно боялась большевиков, считая их грубыми дикарями, азиатами. А этот капитан, который квартировал у них в доме, был обходительный, жизнерадостный, настоящий кавалер, хотя и был представителем другого мира. Он немножко владел французским, на школьном уровне, но этого было вполне достаточно, чтобы объясняться с Элен, которая легко болтала на этом языке, как все уважающие себя румынские гимназистки.

Капитан хвастался своей родиной, несущей свободу всем трудящимся, насмеялся над богами, королями, всякими условностями и церемониями. Молодой русский победитель с голубыми глазами, он подъезжал к ее дому на трофейном автомобиле, бросал к ее ногам цветы. Элен чувствовала себя принцессой.

Он громко смеялся, увлеченно учил ее водить машину и разным русским словам. Завернув в какой-нибудь безлюдный переулок, целовались они бешено. Еще месяц назад могло ли такое прийти ей в голову? Месяц назад русские были врагами. А теперь... Война еще продолжалась, она откатилась на запад, но Элен казалось, что никакой войны и не было. Судьба, как ветер с Востока, принесла ей любовь. Как это глупо, что народы враждуют, что незнакомые люди вслепую убивают друг друга. Губы к губам, голова кружится, — вот ответ на все политические запреты и запугивания...

Но счастье было коротким, капитан должен был идти дальше, его часть перебрасывали в Югославию, он вытер ей слезы и, обещая вернуться, на прощанье подарил ей тот самый автомобиль...

Всего неделю Элен лихо разъезжала по городу на собственном автомобиле. Волосы ее летели по летнему ветру, прохожие шарахались, а знакомые не верили своим глазам — во дает эта чертовка!

Кирилл Ковальджи — родился в 1930 г., поэт, прозаик, переводчик. В последние годы публикует своеобразные эссе — зарисовки, портреты, полемические заметки, размышления, воспоминания, связанные воедино личностью автора, опытом его долгой жизни. Основной корпус таких эссе вошел в его книгу «Обратный отсчет» (2003), но и сегодня писатель не оставляет работу в этом жанре.

Однако советская комендатура что-то шепнула румынским властям, а те в свою очередь вежливо, но весьма настойчиво посоветовали ей сдать машину, на которую ни она, ни ее залетный русский ухажер не имели никаких прав...

Так Элен, как говорится, спешилась, вернулась на землю. Какое-то время она еще надеялась, что капитан вдруг нагрянет в ее городок, обнимет с разбега. И вернет ее автомобиль... Впрочем, бог с ним, с автомобилем. Жив ли тот молодой капитан?

Может быть, он стал генералом, потолстел, обзавелся семьей и забыл свою румынскую девочку. Но она-то его никогда не забудет. Она русский язык выучила и вообще русских любит...

После ужина я пошел в гости к поэту Александру Андрицю, выпивохе и вертопраху. Слово за слово, я сказал, что еду завтра с Элен.

А! Элен! Кто ее только не трахал!

Я смутился. Все-таки мой статус иностранного гостя...

— Я тоже должен ее...?

Не помню, что ответил Санду, но помню, что спал я беспокойно, а утром, когда в условленный час спустился в холл гостиницы, меня встретил работник румынского союза писателей, который сказал, что он будет сопровождать меня в поездке, Элен не может по каким-то причинам...

Я поймал себя на том, что мне весьма досадно, хотя эту замену я, выходит, сам и спровоцировал. И со стыдом представлял себе, как Андрицю после моего ухода ночью звонил куда надо и советовал не ставить советского гостя в неловкое положение...

P.S. Элен стала потом переводчицей стихов Ахматовой, спустя несколько лет я с удивлением узнал, что она отбила у жены моего знакомого, переводчика Твардовского и Есенина, вышла за него. Брак оказался долгим и прочным.. Элен продолжала сотрудничать с союзом писателей, сопровождая советские делегации. О ней рассказывал мне Василий Росляков, побывав в Румынии, он же вскорости опубликовал в «Огоньке» (№ 3 за 1969 г.) рассказ, в героине которой угадывалась Элен.

Я, встретившись с ней в Бухаресте, сообщил ей об этом, она сказала: «Знаю. Читала. Но при муже не говори...».

Давно их нет на свете. Я все хотел перечитать рассказ Рослякова, и вот, наконец, он мне случайно (а, может, не случайно?) попался на глаза. Решил, сначала напишу, что помню, потом (чтоб не мешал, не накладывался на мою память) обращусь к рассказу.

Так и поступил. Рассказик оказался сладким, сентиментальным, называется «Много, много люблю вас...». Про подаренный автомобиль — ничего, но описание самой Элен удачное, верное:

«Смуглое личико, заметное, глаза притомленные, томные, блузка с подвернутыми рукавами и мини-юбочка выше круглых коленок. Ни девочка, ни женщина. Сейчас ее лицо было расслабленно, безвольно и уже далеко не юное. Через стол она притронулась пальцами к моей руке, чтобы я придвинулся поближе. Глаза ее смотрели на меня в упор.

— Я любила, Васька, одного человека, вашего, советского. Я была тогда маленькая, красивая, учила гимназию...»

Надпись на обоях

В тот вечер я шел к ней с твердым намерением «перейти Рубикон». Медлить больше нельзя, завтра будет поздно. Я решил сделать ей предложение — не больше и не меньше. Галя, милейшая студентка биофака, к тому же — моя землячка, я начал приударять за ней еще дома, и вот благодаря судьбе мы оба оказались в Москве. Уже с полгода я пересекал столицу с севера на юг, заявлялся в общежитие МГУ, где у Гали была отдельная комнатка в двухкомнатном отсеке, очень уютное гнездышко, чис-

тенькое, со вкусом обставленное. Она к моему удовольствию угощала меня бутербродами и чаем, — моя студенческая жизнь сытостью не отличалась.

Мы болтали о том о сем, о генетике и экзистенциализме, о новых фильмах и книгах, потом начинали, как дети, шалить, валять дурака, в шутку боролись. Я частенько опрокидывал ее на кровать, мы то смеялись, то затихали. Галя не слишком противилась, я не слишком настаивал, ни до чего серьезного дело не доходило. Галя была положительная девушка, честная и умная, с ней нельзя было просто так, я это чувствовал и не переступал черту, все откладывал, мне и так было хорошо, тем более что я был влюблен не в нее одну, каюсь.

Время шло и — работало не на меня.

На горизонте появился Виктор. Высокий кудрявый аспирант, он запросто заходил к Гале (жил в соседнем корпусе) и не только стал нарушать мой привычный ритуал и поедать часть «моих» бутербродов, но восторженно не сводил с нее глаз и явно питал весьма основательные намерения. А что Галя? Она благосклонно приняла его в «компанию», поддерживала вежливую и ровную атмосферу, предоставляя нам решать — кто кого пересидит. Легко сказать. Я жил на другом конце города, а этот кудряш был всегда под боком. После одиннадцати мне нельзя было оставаться в общежитии, а ему — можно.

Я понял, что стою на краю. Осознал, что Галя мне дорога и что уступать тому ученому парню не собираюсь. Как я мог быть таким размазней? Трус я, что ли? Галя ко мне привыкла, привязалась, готова полюбить — что ж я медлю — жду, чтобы она сама мне бросилась на шею?

Ее образ стал преследовать меня. Миловидное личико, таящее неожиданную изменчивость — задумчивое, сосредоточенно сдвинутые бровки — она будто собиралась хмуриться и ни с того ни с сего озарялась удивительной детской улыбкой. Она была смешливой. Голос низкий, словно слегка простуженный, но опять же неожиданный контраст — смех получался звонкий, тоненький.

Итак, в тот раз я отправился к Гале, готовый к решительному шагу. Как нищий студент или неотесанный чурбан, я пришел с голыми руками — ни цветочка, ни пирожного — зато с продуманным намерением. Я присел к столу напротив нее, разговор как-то не клеился, я силился перебороть волнение, молот всякую чепуху, а она, терпеливо слушая меня, вполне по-домашнему принялась вязать. Мелькание спиц буквально загипнотизировало меня, в горле стоял ком, я замолчал. Трус несчастный! — ругал я себя, но ни встать, ни подойти — приклеился к стулу. «Галя, выходи за меня замуж!» — репетировал я мысленно, а она продолжала спокойно вязать, цепляя петельки одну за другой.

И тут я придумал. Я повернулся к стене и карандашом медленно вывел на обоях: «Будь моей женой!» Галя с интересом глянула, но не ничего разобрала — была близорукой. А я, оглушенный ударами сердца, все же вздохнул облегченно: вот, я перепрыгнул через Рубикон! Теперь она встанет, прочтет и...

Но она не вставала.

«Что ты там написал?» — спросила.

«А ты подойди, подойди, прочти!» — хрипло вымолвил я.

«Прочти мне ты».

«Нет, ты...»

«Ну как хочешь... я потом».

И опять замелькали спицы. Несколько секунд прошли в полной тишине. Внезапно, сам того не ожидая, я схватил карандаш и стал густо зачеркивать написанное.

«Что ты делаешь? Ты портишь обои. Что с тобой?» — заволновалась Галя. Я перевел все в шутку, заторопился и стал собираться восвояси...

Боже мой, какими только словами я себя не обзывал! Я все провалил. Сдрейфил. Я весь горел от стыда. Не помню — когда и как я потом показывался ей на глаза, но через месяц я был приглашен... на свадьбу!

...Как сейчас, вижу такую сцену. Галя, Виктор и гости танцуют в холле девятого этажа общежития. Я, хорошенько подвыпивший, в состоянии какой-то горькой простратии выхожу на балкон, смотрю вниз — там на площадке маленькие человечки

играют в волейбол. Уже смеркалось. Я перелез на ту сторону балкона, повис на руках. Никакого страха. Только жалко себя.

Слава богу, никто не заметил — спустя несколько секунд я подтянулся обратно...

Кажется, даже потанцевал с невестой с видом несчастного и благородного рыцаря. Но наутро, проснувшись, я похолодел от ужаса, вспомнив себя висящим на балконе девятого этажа. До сих пор нехорошо...

Но вот прошли годы и годы, и меня однажды осенило: никаким я не был трусом тогда. Просто не догадывался, что на самом деле не хотел того, что собирался сделать.

А если б прочла она ту надпись на стене?

Не знаю. Знала — судьба...

Пани Халина — мудрая женщина

На экране телевизора появилась не первой молодости, но еще весьма привлекательная дикторша. Пани Халина несколько раздраженно переключила канал. Заметив мой удивленный взгляд, она извинительно улыбнулась.

— Давайте выпьем за ту встречу в Карпатах, когда мы с вами танцевали в румынском ресторане, вы написали стихи, я их не забываю:

Пора, идет рассвет.
А нам по сорок лет,
Танцуем вальс последний
Последней ночью летней...

Я разомлел. Уютная варшавская квартира. Миловидная, оживленная, остроумная пани Халина. Ее муж только что ушел по делам, интеллигентный тонкий пан Марек. Мы беседовали часа два, хозяйева обворожили меня. Замечательная семья, свободная, непринужденная откровенность, взаимопонимание. А вокруг нас Европа — мир, полный надежд и страхов — середина семидесятых годов.

— Мы очень внимательно следим за всем, что делается у вас в Москве, — говорит пани Халина, — от этого зависит наша судьба, и не только наша... Вы знаете, мой Марек был известный диссидент, теперь его карьера оборвалась. Потерять политическую роль для мужчины — это катастрофа. Я тогда его самого чуть не потеряла.

— Но у вас крепкая семья, — говорю я и невольно смотрю на фотографии на стенах, где счастливо улыбаются Халина и Марек на фоне городов и пейзажей разных стран, дочь пианистка, — с ними и отдельно, — гравюры старого Львова....

Пани Халина помолчала, вздохнула:

— Семья — не фунт изюма, так, кажется, у вас говорят. Марек стал пропадать, приходил иногда под утро, дошли до меня слухи, что он завел любовницу. Так сказать, утешение. Стала я думать. Плакала и думала. Вижу, это не просто эпизод. Он стал рассеянный. Иногда переставал меня слышать. Решила я узнать, в чем дело. И узнала. Это была не простая женщина, а серьезная соперница. Та самая дикторша, какую вы видели. Извините, я выключила. Но и на самом деле ее выключила.

...Я мгновенно представил себе, как разъяренная пани Халина устроила головоломку телевизионной диве, пригрозила скандалом и т.п. Обыкновенная история, такими в Москве я объелся. Однако передо мной была не москвичка, а пани Халина. Печальная и умная. Она улыбнулась.

— Он выступал в ее передаче как один из лидеров оппозиции. Ванда острая, эффектная чертовка. Я понимаю, почему она вскружила голову моему Мареку. Миллион поляков едят ее глазами. А он ей импонировал. Марек любит меня, но от нее сдурел. Мучился. Что мне было делать? Уступить? Дудки.

Я осторожно, с разных сторон стала наводить справки, изучила всю подноготную знаменитой красотки и, представьте себе, мне «повезло». Оказалось, у этой звезды экрана, как и положено, был не один мой Марек. Был еще художник, довольно известный, помоложе. Простите, я стала Шерлоком Холмсом, я нашла подруг, которые все знали и доложили мне, когда и где королева изменяла моему рыцарю. И я своими руками изготовила записку от «доброжелательницы», подбросила ее Мареку — дескать, сходи по такому-то адресу в такой-то час и постучи в дверь. Будет тебе сюрприз.

Представьте себе, сработало. Марек вернулся домой вдребезги пьяный. Он у меня гордый, порвал с ней сразу. Но как от нее избавиться? У нее был экран! Врывалась без спроса в нашу квартиру. Марек терпел, не переключал. Притворялся безразличным. Хотя моментами я чувствовала, что он готов «убить» ее одним нажатием кнопки... Я делала вид, что ничего не понимаю. Так и сидели рядышком, как голубки. Конечно, пытка. Но за победу надо расплачиваться... Впрочем, какая победа?..

Марек стал пить. И не просто пить, а спиваться. Видно, переживал, сильно ранила его эта фея, а тут еще политическая обструкция, потерял работу, перебивался случайными заработками в газетах. Вижу, пропадает мой Марек, на глазах пропадает...

...На сей раз я не стал по московской логике представлять себе, как жена пилит мужа за пьянку. Ждал продолжения по-польски. И оно действительно последовало.

У Марека была заветная мечта, которая чуть было не сбылась в пору его политического успеха — он хотел иметь машину. Так вот — пани Халина разбилась в лепешку, влезла в немыслимые долги, а машину ему купила. И в день рождения вручила ему ключи. Так сказать, бутылка или баранка!

Марек бросил пить. Колдовал в моторе, завел гараж. Катался с женушкой днем и ночью, колесил по стране как сумасшедший, напрашивался в самые дальние командировки. Прекрасно водит машину, в рот не берет.

Действительно, я заметил, — Марек, чокаясь с нами, поднимал бокал с грейпфрутовым соком... Но вертелся на языке щекотливый вопрос, однако пани Халина меня упредила:

— Мужчина с машиной — вдвойне мужчина, хотите сказать. Может, и так. Все вы шалуны. Да в конце концов что за муж, если он вообще не нравится женщинам? Я не беспокоюсь, правда. Не чувствую пока опасности. В тот раз он слишком сильно обжегся, тогда был не флирт, пахло бедой.

...На этом я бы закончил эту нравоучительную новеллу (в назидание нетерпимым нашим подругам!), когда б не отблеск предыстории, точнее — сама история...

Пани Халина была совсем седая. Молодое лицо, без единой морщинки и — белые-белые волосы. Парадоксальная красота.

— Я с четырнадцати лет такая, — сказала мне она еще при первой встрече, в Румынии, и объяснила:

— В 1939 году я с родителями жила во Львове, когда пришли ваши. Что тебе сказать? Одни поляки бежали от немцев, другие — от русских. Львов остался у русских. Я не вникала, я училась в школе, а вот в 1941 году, война, мы попали к немцам. К этому времени мои родители разошлись, отец был наполовину еврей и коммунист, а мама ярая католичка. Разошлись, а все равно взяли его, а потом и ее, сунули вместе в гетто недалеко от города. Вот тут-то и случилась чертовщина, Шекспиру не снилось: немцы изолировали евреев, а евреи в гетто изолировали моих родителей. Нашлись фанатики, которые распустили слухи, что эта нечистая парочка приносит несчастье. Мама была полячкой, папа ни то ни се. Их выгнали из барака в какую-то сторожку, похожую на конуру. Беда не сблизила моих родителей, их будка тоже была идейно разрублена пополам, они чурались друг друга, в одном только сходились — надо спасти меня. Ничего они не придумали, а сами погибли.

В одну из ночей, когда я спала в соседнем бараке, их сторожку подожгли, они кричали и горели заживо. Трещал мороз, трещали горящие доски. Во время суеты кто-то меня вывел через лаз из гетто (я была тоненькой, как змейка), силком вытолкнул в поле. Почти раздетая, я зарылась в сугроб, прожектора рыскали, свистели пули.

Я до утра ползла наугад — видишь, я живая, меня спасли крестьяне ближнего села, но я стала седая. Сразу. В четырнадцать лет...

Что сказать? Живая, спасибо. Живу, как все, только у меня другая оптика...

...Я поцеловал руку пани Халине.

Черный пес

Весна в Аккермане. Я был еще школьником, десятиклассником. Бегал за Зиной Шаповал. Отправился я как-то к ней домой, а ее нету. Говорят, пошла, кажется к Свете Лозовской. Я — туда. Подхожу к воротам, дом в глубине двора, но слышно — баян играет, в окнах за занавесками колышутся тени танцующих. Повадились туда какие-то офицерики, затевали компании. Меня вот не позвали.

Только я толкнул калитку — навстречу черный пес, дрожит от злости. Я — туда-сюда, вдоль забора и обратно, пес захлебывается лаем, брызжет пеной. Что делать? Зина там танцует с кем-то, чертовка. А я здесь мечусь, как дурак в тюбетейке (я действительно тогда несколько дней ходил в тюбетейке для форсу). И вдруг от отчаяния приходит в голову шальная идея. Я беру тюбетейку в зубы, становлюсь на четвереньки и, страшно рыча, распахиваю калитку и ползу прямо на пса. Тот сначала как-то странно подпрыгнул, потом стал отступать к своей конуре. Я, не обращая на него внимания, дополз до окна и стал стучать «лапой».

Услышали, пустили... Но долго хохотали и никак не верили, что меня не тронул черный пес, который ни для кого не делал исключений...

Мини-детектив

В Перловке (дело было в году пятидесятом) соседка моего двоюродного брата, Димы, пришла из театра в роскошной шубе. Никак не могла успокоиться, охала, ахала, рассказывала, что в антракте пошла в туалет, там какая-то прилично одетая женщина любезно предложила ей: «Подержите мою сумочку, пока я схожу, потом я — вашу...» Взаимная услуга, ничего особенного.

Но когда наша соседка пошла в гардероб, ей вместо старенького пальто дали шубу. Она, конечно, отказалась, стала шуметь. Пришлось, однако, дожидаться, пока ушли все зрители. Не помогло. В гардеробе осталась только та самая шуба. Что было делать? На улице холодно, ехать домой надо на электричке, — до выяснения, оставив адрес, надела шубу. И только вышла на улицу — ее какие-то штатские цап и в машину. Пока везли, поняли, что взяли не ту. В отделении заставили все изложить письменно, тщательно обследовали шубу и, пока суд да дело, разрешили в ней ехать домой...

Соседка убеждена, что это была шпионка, хитро заменившая гардеробный номерок. Учужала слежку и юркнула в театр... Ну а шуба? Шуба осталась соседке. Пофартило.

Что такое лит

Таинственное слово «лит», производные от него: «залитовано» или не дай бог «незалитовано»... Никто не мог толком расшифровать аббревиатуру «Главлит», зато все знали, что это — цензура. Она была табуированной, с цензорами общались только главные редактора или уполномоченные им лица. На решения Главлита нельзя было ссылаться (со временем этот запрет неофициально перестал соблюдаться). Цензура была, известно, свирепой, но и глупой. Первое мое столкновение с ней было заочным. По моей инициативе в Кишинев по командировке прибыл мой польский

друг — еще студент Литинститута — Рышард Данецкий. Принимали его в Союзе писателей и в газете «Молодежь Молдавии», где я работал. Я попросил его написать очерк для газеты, он охотно согласился, успел мне дать материал перед самым отъездом. Очерк был вполне добротный, все зубы на месте. Я поставил материал в номер, вычитал полосу, а наутро ахнул: очерка в газете не было, чем-то его заменили. Я — к главному, к Чашину. Он разводит руками:

— Лит снял, я ничего не мог сделать. Говорит — кто такой? Может быть, ревизионист (поляки уже в 55-м году вели себя беспокойно). Пусть Союз писателей подтвердит, что это их гость, тогда публикуйте...

Я, естественно, бегом в Союз, к оргсекретарю Льву Мироновичу Барскому:

— У вас Данецкий отмечал командировку?

— У нас.

— Подтвердите, пожалуйста, — всего несколько строк для редакции. Он написал прекрасный очерк о Молдавии, а Главлит задерживает, говорит, что даст добро, если вы подтвердите, что он был вашим гостем!

Барский мгновенно преобразился, изобразил крайнее возмущение.

— Я? — вскрикнул он, — я буду потакать всяким трусам и перестраховщикам? Ни за что!

— Лев Миронович, дорогой, я хочу, чтобы очерк был опубликован. Помогите, чего вам стоит? Вы же отмечали командировку, принимали его, он талантливый польский поэт, мой друг!

— Нет, нет, нет! Не буду я унижаться перед всяким трусом! Не те времена. Не нужны никакие всякие там справки!

И я ушел ни с чем. Но не сдался. Я позвонил в Москву, намекнул Рышеку, в чем дело. Он обратился в свое посольство, поднял шум, те позвонили в наш МИД, из МИДа Кишиневу выразили удивление. Очерк был немедленно напечатан (Чашин шепнул мне, что цензор, фамилия которого была замечательная — Зайчик, схлопотал выговор).

Но Зайчик меня запомнил. Через некоторое время я сидел в типографии ночью как дежурный по номеру (очень кстати, потому что шло мое стихотворение «Однажды осенью»), «свежая голова» — в последний раз вычитывал полосы, ждал штампа цензора, чтобы отправить номер на подпись главному редактору. И вдруг третья полоса возвращается ко мне с моим стихотворением, крест-накрест перечеркнутым красным карандашом.

Я знал, что цензор располагался в соседнем помещении на том же этаже и решительно направился туда, толкнул дверь, на которой не было никакой надписи. В глубине комнаты за небольшим столом сидел человечек в защитном френче — Зайчик. Увидев меня, он быстро поднялся: «Я разговариваю только с главным редактором...» — «Знаю, но я ответственный по номеру и, кроме того, автор стихотворения. — Я пересек комнату и сел напротив него: — Будьте добры, что вас смутило? Стоит ли посылать машину за главным, задерживать номер?»

Зайчик помедлил и тоже сел:

— Стихотворение безнравственное.

— Почему? — искренне изумился я (стихотворение было просто лирическим и даже назидательным).

— А вот посмотрите. Вы пишете о девушке: «И к ночи ждешь свиданья с новым другом»... К ночи... с новым... Это же разврат.

— Что вы! Видно по контексту, что я упрекаю знакомую, хорошую девушку за некоторое легкомыслие. Но если вас смущает ночь, давайте смягчим «Под вечер ждешь свиданья...»

Я простодушно заулыбался. Зайчик вскинул брови, видимо, подумал — стоит со мной заедаться или нет. И решил:

— Ну, это совсем другое дело. Исправляйте. Я подпишу.

...Вернусь к Барскому, раз уж я его вспомнил. Он был «левобережный», то есть настоящий советский, тертый калач и большой хитрован (по тогдашним меркам — писатель). Однажды на собрании поэт Михня с трибуны резко и возмущенно критиковал его. Как на это реагировал Барский? Во время перерыва я слышал, как он

деловито подозвал Топпельберга, председателя республиканского Литфонда, и дал указание: «Завтра же выделите материальную помощь Михне, вы же знаете, у него закрытая форма туберкулеза, печатается редко...»

Веселые пьяницы

Румынские писатели — веселые пьяницы (с выпивохами другого круга я не имел дела). В русских пробуждается дикий скиф, а румын кейфует, как древний римлянин. Никита Стэнеску, например, выпив, буквально расцветал, сыпал экспромтами, талант его фонтанировал. Поэт Николае Стоян, сопровождавший нашу делегацию в 1965 году, был неутомимый весельчак. Глаза шальные, но с хитрецей. Он сам без конца пил «шприц» (вино, разбавленное водой) и нас угощал. Сыпал солеными анекдотами, пел песни румынские и почему-то болгарские («Либеле!»). Развлекал нас рассказами о своих бесконечных победах на женском фронте. Раскукарекался, как петух. Когда мы проезжали какой-то трансильванский городок, не помню какой, он вдруг предложил нам погулять минут десять — он хочет забежать к одной знакомой, которую давно не видел, и трахнуть ее. Мы конечно, отпустили его. Переглянулись: во-первых, не верили, во-вторых, подумали, что советский сопровождающий ни за что бы так себя не повел. Балканы! Минут через пятнадцать он появился — сиял, потирая руки:

Порядок! Поехали дальше!

...Лет через двадцать я случайно встретил его в поезде по дороге в Яссы. Постарел, я не сразу его узнал. Я поблагодарил его за перевод (он опубликовал мое стихотворение о комете Галлея), а он с болью рассказал трагедию, которую пережил: его взрослый сын сгорел с мотоциклом (возился в гараже, почему-то бензин вспыхнул)...

В чем-то похож на него был поэт Александру (Санду) Андрицю. Такой же неуемный бабник, хвастунишка, но пил похлеще (правда, не теряя при этом соображения и остроты ума!). Среди прозаиков выделялся яркостью темперамента и веселым пьянством Фэнуш Нягу.

Рассказывали такую байку: однажды жена послала Санду Андрицю в булочную за хлебом. Он пошел и не вернулся. День прошел, к ночи жена стала обзванивать всех знакомых — где Санду. Нигде нет. Вдруг вспомнила про одну актрисульку — Виолетту. Позвонила ей. Та божилась, что никакого Санду давно не видела. Но что-то в ее ответе насторожило жену Андрицю, она взяла такси и помчалась к Виолетте. Ворвалась к ней в дом, та испуганно запричитала: «Да нет у меня твоего Санду!» — но жена пробежала по всем комнатам, закоулкам и вдруг наткнулась на запертую изнутри ванную:

Санду, вылезай!

Нет его там!

Вылезай, говорю!

Вдруг дверь ванной приоткрывается и появляется голая нога до колена.. Шевелит пальцами.

— Ой, Фэнуш, извини! — вскрикивает жена Андрицю и убегает.

(Напоминаю: Фэнуш Нягу — известный прозаик и не менее известный бонвиван. В отличие от щуплого поэта он крупный, дородный, эдакий добрый лев). А Санду появился на третий день — спьяну он оказался почему-то в другом городе...

Еще про Фэнуша Нягу:

Приехал я как-то в Бухарест с дикой зубной болью. Фэнуш тут же потащил меня к своей знакомой, знаменитой дантистке. Тем более что и у него были проблемы с пломбой.

...Усадила она меня в кресло, полезла бормашиной в мой разинутый рот, а Фэнуш, из-за ее спины заглядывая, как она сверлит, стал рассказывать анекдоты. Рассказывал он великолепно, дантистка давилась со смеху, я же открытой пастью издавал неопределенные звуки. Больно не было. Волшебница за раз справилась с

тем, что в нашей поликлинике растянули бы на три приема, как минимум. Сделав укол, высверлила зуб, извлекла нерв и запломбировала. Все.

— Теперь садись ты, — сказала она Фэнушу. Тот сел на мое место, а я, подражая ему, стал за ее спиной и начал рассказывать анекдот. Вдруг мой Фэнуш, могучий детина, посерел лицом, рванулся из кресла и выбежал вон. Я за ним. В полном недоумении настиг его в уборной: «Фэнуш, что случилось?» — «Не могу! Я видел, что она с тобой делала, нет, не могу!»

Его чуть не стошнило со страху. Юмор уже не действовал...

Злой сосед

Умерла наша соседка, в ее квартиру вскоре поселился противный старик. Угрюмый, с темным недобрым взглядом исподлобья (вообще он старался в глаза не глядеть). Молчун, ворчун, даже здороваться не желал, когда сталкивались с ним в коридоре. Кто-то сообщил, что он всю жизнь работал надзирателем в тюрьме.

Моя жена его избегала. Боясь, что наш беленький кот Васька перелезет к соседу на балкон (общий, лишь символически перегороженный посередине), Нина натянула сетку.

— Зачем? — спросил я. — Он же всегда лазил и возвращался.

— Нет, этот тип обязательно Васеньку пристукнет. Или сбросит на улицу с третьего этажа! Я точно знаю.

Но однажды она услышала какую-то возню на балконе. Выглянула и застала такую сцену:

Кот Васька просунул мордашку в ячейку сетки, а старик дрожащей рукой, что-то жалко пришептывая, протягивал ему рыбку. Угощал...

Мы и не заметили, как старик исчез. Однажды появилась тощая старушенция и объявила, что она его вдова (до того жила отдельно, где-то за городом) и теперь по праву займет его освободившуюся комнату...

...От угрюмого человека осталась нечаянная сентиментальная деталь.

Как я не попал в номенклатуру

Наверное, я в Инокомиссии был белой вороной. Это довольно быстро поняли. Не знаю, по собственной ли инициативе или по чьей-то подсказке, но Чугунов посоветовал Дангулову взять меня в свои замы. Тот обратился ко мне с соблазнительными речами, я поддался искушению (будет достаточно времени для себя — журнал «Советская литература» (на иностранных языках) новых произведений не печатает, только переводы уже известных — легко справлюсь, да и зарплата выше!). Косоруков меня не удерживал. Так я оказался отв. редактором французского издания («Произведения и мнения») и первым заместителем гл. редактора «Советской литературы». Конечно, с моей стороны это попахивало авантюрой — я недостаточно знал французский язык, и хотя за мной была только подготовка номеров по-русски, все равно я попадал в несколько двусмысленное положение.

Я не знал тогда, что такой пост носит номенклатурный характер, а потому подлежит утверждению в инстанциях. Как я узнал впоследствии, мое назначение первым замом не было утверждено (это наверняка насторожило Дангулова), я остался только отв. редактором французского издания. Слух об этом до меня дошел, но я на него не обратил внимания, мне официально никто ничего не сказал! Зарплата осталась та же, обязанности те же...

Фактически заведовала редакцией Люся Галинская (она отвечала за издание на французском языке). Ее мужем был Жан Катала, корреспондент «Юманите». А кроме

того, он был переводчиком советской литературы. Вдруг разразился скандал в связи с его переводом «Блокады» Чаковского. Книгу раздолбал в газете «Монд» тот же Катала! Конечно, поступил неприлично. Но речь в данном случае не об этом. Меня вызвал Дангулов и сказал, что надо увольнять Галинскую. Я отказался: жена за мужа не отвечает. Дангулов удивился и показал пальцем на потолок — инстанции требуют! Я ответил, что не могу нарушать кодекс о труде. Галинская прекрасный работник, ни одного замечания за много лет.

— Тогда предложите ей уйти по собственному желанию!

— И этого я сделать не могу. Это несправедливо, у меня язык не повернется.

Савва рассвирепел:

— Вы не понимаете или хотите меня подставить? Хорошо, я сам!

Я предупредил Люсю. Дангулов вызвал ее, предложил написать заявление об уходе. Она категорически отказалась. Тогда Дангулов (сам додумался или ему подсказали?) через некоторое время сократил должность Галинской. Абсурд! Редакция оставалась без заведующего. Галинская попробовала судиться, но ясное дело — ничего не добилась (на дворе стоял 1971 год). Вскоре она и Жан уехали в Париж. А я приобрел в Дангулове врага. При первой же возможности я от него ушел (и сам Дангулов меня «поддержал», он сказал Суровцеву, главному редактору вновь создаваемого журнала «Литературное обозрение»: «Возьми ты его от меня!»)

Я стал заведовать редакцией зарубежной литературы. Это было понижение. Но спасибо судьбе — я от этого только выиграл — из болота вернулся в нормальную литературную жизнь.

Босой маршал

Дочь Буденного — Нина Семеновна — была моей подчиненной в издательстве «Московский рабочий». Как-то рассказывала эпизод из своего детства: всей семьей ехали на поезде в Крым. Конечно, отдельный вагон. На какой-то станции люди прознали, кто едет, стали выкликать Буденного. А маршал от вагонной духоты лежал в одних трусах. Торопясь, он накинул на голые плечи китель с орденами, застегнулся и встал к окну. Народ приветствовал своего любимца, а Нина видела сзади папу: в маршальском кителе до пояса, а ниже каемка трусов и голые босые ноги. Давилась со смеху...

Я подумал — картинка символическая. Такой была и страна. Парадная и голоштанная.

Шахматы, стихи...

Однажды я в последнюю минуту поспел к поезду Кишинев—Москва, влетел в купе, там, к счастью, оказался всего один сосед, он уже расположился, сидел в пижаме. Упитанный, благообразный, был похож на директора прачечной. Я предложил ему сыграть в шахматы и без труда выиграл подряд несколько партий. Он удивился:

— У вас высокий разряд!

— Нет, — говорю, — я любитель.

— Ладно, не притворяйтесь. Вы сильный игрок.

— Почему вы так думаете?

— Я неплохо играю. Я у себя на работе у всех выигрываю!

— А кем вы работаете? — вдруг заинтересовался я, поняв, что в данном случае это очень важно.

— Я президент Молдавской Академии наук. Гросул.

...Бедный, он не догадывался, в чем дело.

Кто автор?

Когда я поступил в Литинститут, ходили легенды об Эмке Манделе, который уже был в ссылке. Говорили, что он, как Глазков, не ходил в баню (Глазков якобы говорил «и не мойся, потеряешь индивидуальность!»), якобы он писал поэму о Троцком и, когда наконец пришел к признанию Советской власти, его арестовали... Наряду со стихами о Сенатской площади кто-то мне процитировал:

Корабль трещит, команда ропщет,
Ей не хватает сухарей,
Ей надо что-нибудь попроще,
Ей надо что-нибудь скорей!

Через много лет, познакомившись с ним (он был уже Наум Коржавин, — к слову, умыкнувший мою кишиневскую знакомую, жену Миши Хазина — Любовь Верную (!), я похвастался, что с 1949 года помню его строки. Он удивился:

Это не мои стихи!

Так и не знаю до сих пор — чьи они...

Тарма

Когда мы получили новую квартиру на Малой Грузинской, мы наскоро загрохотали в комнаты всю мебель, пожитки и уехали в отпуск, оставив ключи мастеру — эстонцу Тарме, чтобы он к нашему возвращению сделал стеллажи, антресоли и встроенные шкафы. Тарма был мужем моей сослуживицы, долговязый, флегматичный, но работающий, золотые руки. Объем работ был велик, срок ограничен, Тарма вздыхал. Признался, что ему страшновато начинать. Однако, когда мы вернулись, все было готово. Мы стали разбирать вещи. Я распаковывал коробки с книгами, попутно заглянул в свою коллекцию монет (мы побросали все вещи открыто, только один ящик стола, где помещалась коллекция, был заперт). Перебирать монеты — это прекрасный отдых и немалое удовольствие (недаром Розанов частенько свои записки сопровождал пометкой «за нумизматикой»). Вдруг я наткнулся на странность. Я подобрал современные советские рубли по годам, но передо мной лежали четыре рубля одного и того же стандартного, самого распространенного 1964 года. Да еще грязноватые. Этого быть не могло! Я таращил глаза на эти злосчастные рубли и чувствовал, что ум за разум заходит.

Через некоторое время, терзаясь этой загадкой, я стал просматривать всю коллекцию. Все было на месте, кроме... Кроме золотой николаевской пятирублевки. Единственной, доставшейся мне от тети Кати. Это уже было слишком! Целую неделю я надеялся найти монету, выискивал в памяти всевозможные места, куда я мог ее засунуть или куда она могла сама завалиться при переезде. Но тщетно. Я лег на диван носом к стенке и тут, в полусне, меня осенило. Я сразу увидел всю картину, целый сюжет.

Тарма старался, работал, как зверь. Немудрено, что ему захотелось выпить. Он был подвержен внезапным запоям, потому жена строго за ним следила, денег не давала. А я сам указал Тарме путь к чему-то ценному: все было открыто, кроме одного ящика стола. Туда он и заглянул. «Одолжил» четыре металлических рубля и пропил. Однако совесть мучила, он раздобыл четыре «таких же» рубля и положил их на место (откуда ему было знать, по какому принципу я их собирал?).

Но опять подступило к горлу. Долго крепился, потом взял золотую пятирублевку (не догадывался, что некоторые невзрачные античные медяки куда дороже!), загнал ее по дешевке и всласть напился. А уж положить что-нибудь обратно, разумеется, не смог...

И действительно, спустя полгода я наткнулся на улице на пьяного в дым Тарму, он, пытаясь меня обнять и с трудом выдавливая из себя слова, убежденно произнес:

— Я, понимаешь, сволочь...

Мария Рыбакова

Гнедич

Мария Рыбакова — не новое имя в литературе. Как прозаик, она дебютировала в нашем журнале в 1999 году и позже не раз печатала свои повести. Сегодня Мария Рыбакова представляет новый роман в стихах.

«Гнедич» — беллетризованная биография русского поэта Н.И.Гнедича, знаменитого переводчика «Илиады», которому впервые удалось соблюсти размер подлинника, утвердив т. н. русский гекзаметр.

Наследуя Гомеру и соответственно Гнедичу, роман написан в столбик, свободным стихом, обозначенным как песни. Не-формат формы мало кого уже смутит, но может вызвать интерес. Разветвленная структура текста, многочисленные герои и персонажи говорят, что это тщательно разработанный роман, и никак не поэма, написанная верлибром.

«Гнедич» читается легко благодаря широко распахнутому художественному пространству, вместившему и гомеровы времена в своем героическом масштабе, и время жизни Гнедича и Батюшкова, связанных дружбой и многоболящим внутренним миром, вмещающим и Вологду, и Петербург, и Париж, и будуар актрисы Семеновой, и каморку влюбленной чухонки... И муки творчества, и многое другое.

Песнь одиннадцатая

В летнем домике
палец обводит
буквы выведенные карандашом
на косяке окна
ombra adorata
возлюбленная тень
начертила эти слова прежде чем стать тенью
а Гнедич обводит тонким пальцем
букву *o*, букву *m*, букву *b* и так далее
через окно он смотрит в сад
на цветы с огромными головами
взъерошенными от ветра
они качаются на тонких и длинных стеблях
которые по законами физики
должны обломиться под тяжестью лепестков
но не ломаются
весь сад и весь дом
одного цвета — цвета тени
на другом окне та же рука написала:
есть жизнь и за могилой

Рыбакова Мария Александровна — прозаик, поэт. Родилась в 1973 г. в Москве. Училась на филфаке МГУ, окончила Фрай университет в Берлине и аспирантуру Йельского ун-та. Магистр искусств. Печатается как прозаик с 1999-го. Автор нескольких романов и повестей, в т.ч. последние: «Слепая речь» (М., 2006) и «Острый нож для мягкого сердца» (М., 2009). Книги М.Рыбаковой переведены на немецкий, французский и испанский языки.

друзей остается все меньше — все больше их призраков
с петлей на шее или на приисках в Сибири
после восстания быстрого и печального
кому еще нужны Ахиллес и Гектор?
весь перевод окончен — и кто-то шепчет:
твоя жизнь была только шуткой только детской игрой
ты спрятался в книжки чтобы не думать
о том кто ты есть
и почему
ты не был любим

он берет с полки книгу бедный Карамзин умер в мае
пустота и усталость остались от прежней жизни
он читает «Историю» но глаза закрываются
буквы становятся плоскостью
и вот уже тело оставлено спящее на диване
а дух движется вместе с Карамзиным по бесконечной равнине
(которую спящие называют Киммерией
а бодрствующие Россией)
к северу отсюда люди спят по шесть месяцев в году
к востоку отсюда грифы стерегут золото
«Разве мы здесь в изгнании?» — радостно спрашивает Карамзин
вытянув руки они подставляют ладони
под белые перья что падают с неба (ими полнится воздух)
на застывшем море воины в скифских шлемах
дерутся друг с другом; Гнедич знает правила поединка
он поворачивается к собеседнику но тот
превратился в Суворова
старик подмигнул
и заскакал вперед на одной ножке
кукарекая петухом

Гнедич поднимает глаза к небу
и видит что на облаке восседает императрица
«Сперанский!» — кричит ей Суворов и кланяется
«Сперанский!» — отвечает она и заливается смехом повода юбками
(Гнедич впервые подумал что может быть в языке
существует только одно слово)

но смех императрицы становился все глуше
небо задернулось покрывалом из облаков
и рядом был уже не Суворов
а белесое существо
женщина в заплатанной кофте
Гнедич силился вспомнить где он ее видел
— на рынке или в людской? —
она помаргивала бесцветными ресницами
и молчала
наконец она повернулась и пошла быстро
наклонившись вперед всем телом
Гнедич поспешил за ней

под ногами потрескивал снег
Боже! а он в тонких ботинках
ноги женщины обмотаны тряпками
руки красные от мороза
он хочет спросить: где мы? но изо рта вырывается лишь пар

они проходят зиму и весну выходят к низкорослым елям
ступают по земле покрытой мхом
где прячутся ядовитые ягоды
женщина останавливается под деревом
и подзывает Гнедича кивком головы

он подошел и увидел
друга привязанного к стволу
нагого — на съедение мошкаре
которая тучами впивалась в его тело

Гнедич бросился к нему чтобы развязать веревки
но пальцы липли к смоле и узел не поддавался
губы Батюшкова шевелились и он наклонился к губам
ожидая услышать единственное слово — *Сперанский* —
которое было здесь наверно паролем
но тихо как шелест ветра в кронах деревьев
Батюшков прошептал: *lasciate*
lasciate

и Гнедич проснулся как от толчка
обхватил голову руками и стал раскачиваться взад-вперед
о друг мой даже в том страшном мире
ты не забыл итальянский язык
lasciate — *оставьте*
но что?
мы оставили тебя в немецкой лечебнице
хотя нам говорили что надежды нет
не проходит ни дня чтобы мы не чувствовали вину
как ты там друг мой

возлюбленная тень?

— Ангелы замка стоящего на холме который порос деревьями, а под холмом деревенька над рекой и множество лодок у причала

Ангелы башен и бастионов и крепостной стены вокруг, ангелы сада с разнообразными цветами и травами

Бесы гуляющих по саду лечебницы каждый из которых говорит в душе своей: несть Бог

Бесы-врачи наблюдают за ними с дорожек, что усыпаны мелкими камешками, врачу исцелился сам

Ангелы комнаты поставили туда стол и койку но оставили стены голыми и углы пустыми

Ангел Eternita парит в пустоте этой комнаты, двумя крылами он закрывает свое лицо, двумя закрывает ноги, а двумя летает от стены к стене и кругами над головой подобно комару

Ангел воска сначала горячий потом холодный а если ты не холоден и не горяч а тепл то извергну тебя из уст моих он переменчив под пальцами принимает образ то такой то такой а потом возвращается к отсутствию формы

Слеза моя может прожечь дыру в столе растворить стену пронзить оболочку мира но как всякий бог я прячусь и пытаюсь не плакать

По утрам архангел Михаил приносит завтрак взмахнув крылами один раз

В полдень архангел Гавриил приносит обед взмахнув крылами два раза

А вот ангел болезни бьет крылами восемь раз как лебедь который пытается взлететь

В Майнце в тысяча девяносто шестом году Сатана принял мученическую смерть

У Константина Батюшкова есть письмо от Христа которое удостоверяет что он, Константин, есть Бог и потому его ногти и волосы отгоняют бесов

Но по ночам бесы забираются на потолок и наполняют комнату ужасной вонью

Они шепчут заклинания всю ночь чтобы подбить его на похотливые действия правой рукой, но он закрывает уши ладонями

У первого беса лицо отца у второго лицо матери у третьего лицо сестры — тогда он замуривает глаза

Но утром восходит брат-солнце и прогоняет врагов а Батюшков кричит им вдогонку:

За что вы меня гоните? За что возводите на меня хулу? Разве я кого-то оскорбил стихами своими? Разве я кому-то сделал больно?

Вы гнали меня и подмешивали отраву мне в питье и пищу; вы гасили звезды посплюнув пальцы; и подсылали людей чтобы те следили за мной

Я пытался перерезать себе горло но мне не дали

Я пытался сжечь книги но вы напечатали новые

Я учил кошку писать стихи и у нее уже неплохо получалось

Я писал Байрону: милорд, пришлите мне учителя английского языка, чтобы я мог читать ваши сочинения в подлиннике! и молитесь невесте моей

Ангел Невинность — аллилуйя — Христос воскрес — non sum dignus — кирие элейсон — аве Мария!

Невеста моя говорит: ты навсегда останешься в этом замке, замке Зонненштейн, что значит Солнечный Камень, в Саксонии на реке Эльбе

Пока не придут другие ангелы в кожаных мундирах и с холодными глазами, ангелы наполовину из снега наполовину из огня

Они выведут беснующихся из палат больницы и построят их на травах и на цветах сада который окружен крепостной стеной

И расстреляют их и выкопают ямы чтобы закопать их

А бесноватые поймут умирая что они тоже ангелы но пребывали в темнице плоти а теперь свистящие пули освобождают их от тел

И они возблагодарят своих избавителей и запоют из-под земли:

Свят Свят Свят Господь Саваоф

Вся земля полна Славы Его

Григорий Каковкин

Мужчины и женщины существуют

Роман

28

Утром следующего дня Аркадий, держа в руках завернутую в целлофан типовую голландскую розу, поджидал Тулупову возле работы. Людмила его заметила сразу и подумала, что вот это, наверное, и называется сумасшедшая любовь, которой у нее никогда не было, вот теперь этот добрый, неглупый франкоман — еврей будет ее преследовать.

— Аркадий, Аркаша, я вас прошу, ну зачем, ну тут же люди — я здесь работаю. Это вы дома сидите, переводите. Ну, спасибо тебе. Но больше не надо. Прошу.

— На сайте института указан телефон библиотеки. Если я буду по нему звонить иногда — можно? Так вам будет дешевле.

— Там есть номер? — удивилась Тулупова.

— Да, — и Раппопорт выпалил номер, как первоклассник четверостишие.

— Звони, — сказала Тулупова. — Но я не всегда могу говорить. Лучше на мобильный. Пока.

Тулупова пошла к крыльцу главного входа, испытывая на себе взгляд Аркадия и думая о том, что теперь ей делать с любовниками, приходящими на работу с цветами, то был один Хирсанов, и вот теперь — француз. Около входа, на улице, стоял охранник Олег и наблюдал всю сцену. Он поклонился Тулуповой и ехидно сказал:

— Ну вы и штучка.

— А ты — штук, — не останавливаясь, сказала Тулупова, и с этим словом, перепробовав его на разные лады, многократно повторяя — штук, шшш-тук, шс-тук, ты штук, тук-тук, штук, тут-тук-штук, — она поднялась на этаж к себе в библиотеку, а перед самой дверью договорилась до фразы «тук — тук, к тебе пришел штук».

Маша была уже на рабочем месте. Поздоровались. Тулупова поставила розу в бутылку с водой и села на любимое кресло большого начальника, как с иронией называла доставшееся ей по остаточному принципу, черное, с высокой спинкой, вращающееся офисное чудовище, из-за которого ее не было видно.

— Людмила Ивановна, вы последнее время всегда с цветами, — как бы в потолок констатировала Маша.

— Это компенсация за все прожитые годы без цветов.

«Сколько их будет на моей могиле?» — подумала Тулупова, но вслух не произнесла.

— А мне не дарят, — немного приврала Маша. — Просто говорят: «Пойдем, пиво попьем».

— Еще будешь утопать в них на свадьбе — какие твои годы, — по-матерински поддержала девчонку Тулупова.

Ей хотелось остаться одной, зайти на сайт и смотреть на лица, угадывая характеры, и через неосторожно оброненные слова представлять мужчин, вдовцов, бро-

шенных и разведенных, ходоков и ищущих приют бездомных приезжих. Библиотечная тишина теперь не казалось такой беззаботной и торжественной, как раньше. Когда-то она пришла в библиотеку, как в убежище. Было удобно работать и растить детей. Потом Тулупова поняла, что вот она и есть хранитель культуры и этот тихий небольшой островок есть ее храм с грешными прихожанами. Когда еще в заводскую библиотеку приглашали на встречу с каким-нибудь писателем, она бегала по этажам заводоуправления, по цехам, собирала людей и была уверена, что зовет на встречу с прекрасным, небесным. Но никто не хотел идти. Выход в открытый мир взаимоотношений мужчин и женщин стал чем-то большим, чем просто поиски спутника жизни и мужчины. Теперь все слова, существовавшие прежде, не годились. Библиотека превратилась в хранилище, склад, а она — в ключницу, заведующую. Границы ее представлений об отношениях мужчин и женщин с приходом на сайт изменились, ее рассматривали здесь не как любовницу или жену, она была участницей крупной сделки, это больше похоже, думала она, на покупку квартиры. «Первая встреча не больше пятнадцати минут, — написал один сорокапятилетний мужчина. — И мне все будет понятно».

«Что может быть понятно за пятнадцать минут? — не давал ей покоя вопрос. — Что может быть понятно? Люди живут годами и ничего не ясно!» Одновременно она чувствовала его правоту: она же видела других людей, загадки не было. Ей была понятна Маша, понятен Олег охранник, который решил, что она «та еще штучка» и что в этом «та» заключено, в какие дебри отношений мужчин и женщин она этим «та» отправлена.

«Но в принципе он прав, этот охранник, я та. Та. Я самая та. Я — штучка. Из библиотеки».

— Людмила Ивановна, мы до начала сессии будем инвентаризацию делать? — прервала поток размышлений Маша.

— Да. Скорее — да. Я с проректором поговорю, что они себе думают.

— Лучше сейчас, а то перед Новым годом... И сессия к тому же.

— Я знаю, Машенька, что тебе неудобно. Мне тоже хотелось бы перед Новым годом быть посвободнее.

«Зачем мне перед Новым годом быть посвободнее?»

— Людмила Ивановна, а вы в институте культуры учились на заочном или вечернем отделении?

Тулупова понимала, что девочке очень хочется поговорить, ей, может быть, хочется сказать важное, но она не знает, как начать, а может быть просто — приступ болтливости.

— На заочном.

— Наверное, было тяжело, — посочувствовала Маша и начала рассказывать о предстоящих тяготах сессии, потом о родителях, которые в Саратове потеряли работу, оба — сразу, и теперь на бирже труда получают копейки, затем о брате, который собрался жениться, и о многом другом, что не требовало особенного участия и понимания.

Тулупова вставляла слова сочувствия, и они сливались в законченное материнское напутствие, а по сути в банальность: да, время тяжелое, и именно поэтому надо держаться за работу в библиотеке. Приходили студенты, брали необходимые учебники и партитуры, их данные заносили в компьютер, а разговор продолжался. И наконец, Маша, не стеснясь, рассказала, что зашла на сайт знакомств. Она не упоминала тот дальний случай, когда поймала Тулупову на том, что та интересовалась огнеопасным для девушек словом «любовь», но все же именно потому и стала рассказывать.

— Вчера у меня была первая встреча. Хотите посмотреть на него?

Людмиле невозможно было отказаться и не взглянуть на лицо молодого человека.

— Сейчас, я открою. Он, конечно, старше меня, но я так и хотела, чтобы был старше, чтобы уже нагулялся и хотел семью.

Пока компьютер потрескивал, соединяясь с сервером, Людмила подумала, что вот сейчас откроет — а там Вольнов или Хирсанов. Была уверена, так и произойдет, ведь они никому не принадлежат, все в открытом доступе. То, что было у нее с

ними, — безмолвный факт ее женской истории, не укладывающийся в приличные слова.

Когда на мониторе в отдельном окне открылась первая фотография, Тулупова облегченно вздохнула — мир, конечно, тесный, но, к счастью, не до такой степени. На нее с монитора смотрел достаточно молодой мужчина, стриженный под ежик, светловолосый, зеленоглазый, в целом нормальный парень, здоровый и мускулистый. В очках. Фотографии менялись, Маша комментировала то, что и так было понятно, — с друзьями, шашлыки, на берегу моря в Турции.

— Ну и как он вам, Людмила Ивановна? — спросила Маша.

Тулупова пожала плечами:

— Хороший мальчик. Нормальный. Веселый.

— ...москвич, — радостно подхватила Маша. — С чувством юмора, без материальных и жилищных проблем. Зовет вместе жить. Тут есть еще одно неприличное видео, хотите посмотреть? Он ничего не стесняется — выложил.

— Нет, Маша, я все же к такому близкому знакомству не готова.

«Почему я лгу? Кто меня заставляет?»

— Он снял на камеру, как я играю на флейте, а он — кобра, извивается, раздевается и возбуждается — очень смешно. Честно.

— Маш, все! Давай думать о работе. Я человек старой закалки и еще не готова к таким просмотрам.

«Почему я отказываюсь, мне же интересно? На самом деле, это, наверное, хотя бы забавно. Почему я говорю «нет»? Старой закалки. Какой закалки? Кто меня закалял? Я гожусь ей в матери... и что? Что это такое — «гожусь»? Она молодая женщина, не рожала, не воспитывала, но я сама на этом дурацком сайте сижу и думаю о том же самом. Я ничего не знаю про них. Глупость! Штучка, та еще штучка».

И потом Тулупова вдруг спросила:

— Маш, а ты с ним прям сразу, в первый же вечер?

— Ну, до этого созванивались, потом пошли пиво попили в «Кружке», — ответила Маша. — А чего тянуть, все равно этим кончится. Если нравится, конечно.

«Как у них просто все, — подумала Людмила Тулупова. — Впрочем, как и у меня. В жизни вообще все просто. И очень скучно. Сначала пиво в баре или картошка в «Макдоналдсе», затем — постель. Все сводится к простому».

В этот день время тянулось мучительно, оно, как старый лифт, с трудом и треском поднималось на каждый час, из-за чего его можно было подробно рассмотреть. Оно получалось объемное, выпуклое, с неосиленным смыслом — входило и выходило из слов, из дверей, из студентов и преподавателей. Казалось, оно имело свою тень и собственную подсветку, и на простые вопросы в этот день долго искали нужные слова.

Пришел молодой русский парень с отделения народных инструментов, балалаечник и домрист: русский, крупные скулы, вдавленные почти к затылку глаза со следами голода в детстве, большой рот с надутыми недовольными губами. Людмила Ивановна Тулупова посмотрела на него и спросила:

— Что вы хотите?

Он задумался. Она еще раз медленно повторила, но уже слыша свои собственные слова, так, как будто она бог и может дать и разрешить все:

— Что? Вы? Хотите?

Он признался, что забыл.

— Ну, вспомните, — говорит Тулупова.

— Сейчас, — говорит он.

— Маша, молодой человек забыл, что ему надо взять у нас, — объясняет ситуацию Людмила, и все повторяется.

Теперь Маша спрашивала: что вы хотите? Он не помнит.

— Вы вернитесь туда, — посоветовала Тулупова, — где были, и вспомните, что вам преподаватель велел взять в библиотеке. Это какой-то концерт? Автор на букву ... Буква опять застыла в воздухе. И надолго.

Шло время, так, что слышно было движение стрелок на всех часах и везде.

Тулупова, чтобы не выглядеть богом, добавила два слова к прозвучавшему «что вы хотите...»:

— Что, вы, хотите... в нашей... библиотеке?

Зазвонил телефон. Маша взяла трубку:

— Вас, Людмила Ивановна.

— Да. Аркадий. Да.

Раппопорт позвонил сказать, хотя и приезжал для этого, чтобы в удобный для нее день она пришла к нему домой и познакомилась с мамой, ведь они будут скоро справлять Новый год. С мамой он уже обо всем договорился, но заволновался и забыл пригласить.

— Ничего, — отвечала Тулупова. — Сегодня день, когда все все забывают.

Через несколько минут на мобильный позвонил Хирсанов, и Тулупова, услышав его голос в трубке, почувствовала, что знала точно, наперед, что он позвонит, а за ним обязательно ее номер наберет Вольнов.

Хирсанов источал комплименты, говорил, что уезжал «по экспертной линии в регион» и не мог набрать, но в среду он будет свободен и они поедут на дачу к другу — там есть бассейн, баня — и что он отказов не принимает — надо отдыхать. Тулупова ответила, что подумает, но не обещает точно.

Когда услышала новый звонок, ей сразу захотелось сказать — «привет, Вольнов». Она знала, что мужчины будто чувствовали соперничество, их желание пропитывало все пространство вокруг нее, но в телефоне услышала голос и милые интонации Марины Исааковны Шапиро.

— Ты была в синагоге, Мила? — спросила Шапиро после того, как подробно расспросила о детях.

— Нет, — ответила Тулупова. — Конечно, нет, я же православная.

— Но сегодня у тебя есть возможность туда попасть: я на старости лет развожусь. Стоило мне только выйти на пенсию, как ко мне пристали с разводом.

— Марина Исааковна, ничего не понимаю, вы же и не были замужем, кажется.

— Я тоже так думала до недавнего времени. Ты можешь отпроситься и в три быть в центре? Мы тебя подхватим в районе Пушкинской, да, Пушкинской. Я правильно говорю, Арон, мы через что будем проезжать? — переспросила она какого-то Арона. — В три на Пушкинской, на той стороне, где музей революции бывший, сейчас он как-то по-другому называется...

— Могу, наверное, — Людмила взглянула на часы.

— Ты, Милочка, должна наверняка, ты же у нас как свидетель по делу проходишь. Когда евреи разводятся, у них все серьезно — мне так объяснили. Я же знаешь какая еврейка, та еще, азохн вей.

— Могу. Если надо — могу. Но ничего не соображаю.

— Тулупчик мой, надо. Я тоже не соображаю. Я тебя и видеть очень хочу, наверное, уже год не встречались.

Отключившись от звонка, Людмила сказала Маше, что скоро ей надо уходить, если ее будут спрашивать, пусть скажет, что поехала с заявкой в библиотечный коллектор.

— А на самом деле? — спросила Маша.

— А на самом деле я — свидетель.

— Где? В суде?

— Еще не знаю. Завтра расскажу.

Все эти годы отношения между Тулуповой и Шапиро не прекращались. Иногда Людмила пропадала, не звонила по несколько месяцев, потом или сама Шапиро ее находила и приглашала по старой памяти на выставку, в музей, на дачу в Малаховку, или просто долго говорили о жизни по телефону, или Людмила вдруг испытывала желание увидеть свою, как она говорила, московскую мать, напрашивалась в гости: «я тут рядом». Все дни рождения Клары и Сережи не проходили без звонка Марины Исааковны, а иногда она выбиралась и приезжала с подарками. Несколько лет назад Шапиро похоронила мать и осталась жить одна на Фрунзенской набережной, в большой сталинской квартире с высокими потолками и с еле слышным, но стойким запахом советского времени в подъезде. Из всех рассказов о бурной молодости

Марины Исааковны Людмила никогда не слышала ни о каком муже. Влюбленностей, романов, историй хватало, о них она не рассказывала в подробностях, но иногда упоминала мужские имена и подсмеивалась над собой и над ними. Тулупова чувствовала, что одиночество Шапиро не съедало, во всяком случае, она никогда не жаловалась и на вид была из тех людей, кто приспособлен к нему более других. Те пятнадцать лет разницы в возрасте между Тулуповой и Шапиро, которые раньше, казалось, непреодолимы, теперь выглядели всего лишь одним лестничным пролетом.

Возле бывшего музея революции, который с ельцинских времен стал музеем современной истории, Тулупова стояла недолго. Почти сразу остановилась черная иномарка-такси с надписью «Важная персона», из нее выглянуло как никогда припудренное и накрашенное, морщинистое, но очень задорное лицо Марины Шапиро.

— Мила! — крикнула она. — Мил!

На переднем сиденье, рядом с водителем, сидел массивный, почтенного возраста мужчина в широкополой черной хасидской шляпе.

— Здравствуйте, Людмила с потрясающим бюстом, — густым, вальяжным, подкашливающим баском сказал мужчина, поворачиваясь к задним креслам, где Тулупова расположилась рядом с Шапиро.

И представился.

— Меня зовут Арон Куперстайн, но можно и Саша. Марина мне сказала, что с нами будет женщина с потрясающим бюстом. Я с радостью согласился, потому что даже нам, жидам, ничто человеческое не чуждо.

— Арон! — восторженно крикнула Марина Шапиро. — Ты что!

И затем попыталась объяснить Тулуповой:

— Мила, он совсем с ума сошел здесь в Москве, говорит не думая. Я ему тебя описывала и единственное, что он запомнил, — про бюст. Это все, что мужчины помнят. Он, слава богу, не знаю какому, правда, совершенно уже не опасен. Это у него рецидив. Три дня в Москве — и вот что происходит с правоверным евреем на его настоящей родине.

Людмила подхватила шутливую волну, которая царила в машине:

— Мой бюст — только видимая часть списка моих достоинств.

— Да?! О'кей! И каких?

— Я квашу капусту.

— Nicht eine Frau, sondern ein Geschenk.¹

— ...еще забыла. Немецкий, английский, французский и еще много других языков знаю. Со словарем. Только. С большим-большим словарем.

Все рассмеялись.

— Я сказал по-немецки, что вы не женщина — а подарок, — пояснил Куперстайн, и Людмила разглядела его большие, выпученные наружу грустные глаза.

— Что я буду лжесвидетельствовать, я же ничего не видела? — спросила Тулупова.

— Она вас ввела в заблуждение, — немного театрально сказал Арон-Саша. — Она не поняла: вы будете нашей гостьей, а свидетелями могут быть только кошерные евреи. Мне там обещали найти двух.

— Такие удивительные правила. У нас свадьба в ЗАГСе со свидетелями, а тут — развод. Арон, у нас сегодня будет гет? Еврейский развод? — спросила Шапиро, боясь напутать.

— Неправильно. Гет — это разводное письмо, а не развод, — пояснил Арон-Саша. — Ты получишь разводное письмо.

— А оно мне надо? — с интонацией одесских евреев пошутила Марина.

Куперстайн посмотрел на Шапиро как на девочку, которая ничего не понимает:

— Я тебе объяснял — это тебе надо. И мне.

Машина подъехала к синагоге. Арон-Саша вышел из машины и оказался огромным, высоченным мужчиной, который непонятно каким образом разместился в автомобиле. Он положил свою большую ладонь на плечо Марины Шапиро и предложил

¹ Не женщина — а подарок (нем.).

идти за ним. Прошли за забор, а затем внутрь синагоги, где всех долго проверяли через металлоискатель. Арон выложил в пластмассовый поднос два сотовых телефона, связку ключей с какой-то большой печатью, блестящую представительскую перьевую ручку и, пригибая голову, прошел сквозь рамку. Людмила проходила два раза, у нее что-то подозрительно звенело, но охранник махнул рукой, что ей можно идти и так. Марина через рамку прошла как тень, ничего не выкладывая и не звеня.

В синагоге пахло едой, чем-то жареным, печеным, сладким. Было очень тепло. Проходя мимо книжной лавки, Людмила увидела, как два еврея в шляпах и висящими длинными нитками от пояса оживленно говорили с продавщицей, полной, добродушной женщиной, которую, ей казалось, она уже не раз видела в своей жизни. То ли она продавала мороженое в Червонопартизанске, то ли работала в районном отделе просвещения, здесь, в Москве. На прилавке рядом с книгами стояли разного вида семи- и девятисвечники, большие и маленькие, серебристые и медные.

— Я почему-то волнуюсь, — сказала Шапиро, закладывая под язык таблетку валидола. — Сердце колотится.

— А почему там девять свечей, а здесь семь, почему? — шепнула Тулупова Шапиро.

— Вообще-то лучше спросить у Арона, он стал таким правильным евреем, что вернулся сюда, чтобы исправить ошибки молодости, но я знаю, что это на праздник: восемь дней и одна общая. Арон, — обратилась Шапиро к шедшему впереди Куперстайну, — Люда спрашивает, почему девять свечей и семь?

— Ханукальная менора. Зажигается каждый день после захода солнца в Хануку, вроде вашего Рождества, — спешно пояснил Арон-Саша и зашел в какую-то дверь, рукой показав, чтобы женщины его подождали.

Через минуту он вышел, молча взял за руку Марину Шапиро, и они скрылись за дверью. Только теперь Людмила прочитала под надписью на иврите надпись по-русски: «Раввинский суд». Влекомая любопытством, она прошла по коридору к балкону, расположенному над входом с охранниками и рамкой металлоискателя. Людей не было, и два охранника, отупленные бездельем, спорили: что такое гектар? Один говорил, что это площадь километр на километр, другой объяснял, что это сто соток, но, сколько в сотке, не знал, и более рослый подламливал, дескать, сотка — это сто, а десять соток и получается километр. Тот, что покрепче и поменьше ростом, не соглашался, но и сотка, привязанная к ста метрам, никак не получалась меньше километра. Тулупова вспомнила последнюю страницу обложки старой школьной тетради, где все это было написано, и то, как она с трудом заставляла сына учить наизусть таблицу мер длины. Клара училась легко, а с Сергеем всегда было непросто. Она вспомнила и задумалась, для чего все это нужно учить, чтобы потом спорить вот так в синагоге о том, как люди договорились называть уже давно названное. Ей хотелось сверху подсказать им, внизу, ответ, сказать, что она помнит школьную программу, но воспитание удерживало, к тому же рядом лежали большие вопросы. Буквально за стеной, в глубине синагоги, священные книги, Тора, все торжественно, ритуально. Специально для таких вопросов: зачем? почему? для чего? строились церкви, синагоги, костелы, мечети, а тут два русских парня лениво спорят о том, что такое гектар.

«Существуют мужчины и женщины», — с какой-то необычайной стройностью и прозрачностью мысли подумала Тулупова, как будто этим утверждала наличие их в мире. — Существуют мужчины и женщины, они существуют, как гектар земли, как гектар километр на километр, или как сотка, или как десять на десять, или как метр на метр, но никто не дал им измерения, и они не знают, как себя считать, может, так, может, по-другому». На минуту ей показалось, что она что-то точно знает. И может различать шум, шорох, говор любви, вообще, она знает, что это такое. Вот так просто знает. И может об этом спорить, как эти двое внизу. Ей также известна главная мера всех человеческих мер — любовь, как выученная отличником таблица мер длины. Километр на километр, сто километров на сто или метр на метр. Она ее знает. Вдруг. Знает ее размеры, границы, слова.

«В присутствии троих вместе, в день пятый от шаббата, в 24-й день месяца элул,

года 5768-го от сотворения мира, по отсчету, что мы отсчитываем здесь, в городе Москве, стоящем на Москве-реке и на реке Яузе и на водах источников, предстал перед нами муж Аарон, прозываемый Сашей, Александром и Аркадием, сын называемого Соломоном и называемого Семеном, Сеней, известный в качестве г-на Арона Куперстайна, живущий в Мюнхене, коея в Германии (паспорт № FA 873— 6732107), и перед нами передал гет разводной (грамоту разводную) в руки женщины Марины, называемой Мари, Марой, дочери Исаака, называемого Изей, известной в качестве г-жи Марины Шапиро (паспорт № 328 4737130), живущей в Москве, коея в России, на которой женился гражданским браком. Желаю свободным волеизъявлением, безо всякого насилия, и освобождаю (оставляю) тебя. Ты, жена моя Марина, называемая Мари, Марой, дочь Исаака, называемого Изей, стоящая сегодня в Москве, городе упомянутом, что была женой моей с давнего времени и сейчас, освобождаю и оставляю и увольняю тебя, чтобы была ты свободна распоряжаться собой, пойти и выйти замуж за всякого мужчину, за которого возжелаешь, и никто не сможет запретить тебе с сего дня и далее. И вот ты дозволена всякому человеку, и сейчас будет тебе это от меня книга увольнения и письмо оставления и грамота освобождения по Закону Моисееву и Израилеву.

Свидетели были: Рувен, сын Михаила, и Рахамин, сын Рувена. И разрешена женщина, упомянутая выйти замуж по прошествии 92 дней распознания за всякого человека, кроме коэна. Это свидетельство не является подтверждением еврейства мужа и жены. Все это действительно, верно и в силе».

Дорогой, Павлик. Ты это сможешь понять. Может быть, ты это знаешь уже, но сегодня мне позвонила Марина Исааковна Шапиро и сказала, что Арон умирает от рака. Его положили в больницу под Мюнхеном. Оказывается, он приезжал и уже знал, что ему жить осталось недолго, но он думал, что у него есть год, или около этого, а оказалось, что нет ничего. Ничего нет. Как горько. Вот так бывает. Часы идут, а потом раз и не ходят, и все. Как это, Паша, вы там, на небе, все знаете? Все или не все? Марина собирается к нему ехать и сидеть с ним до самого конца, но кто ей даст визу — она никто. Ни жена, ни друг, и сам Арон говорит, чтоб не приезжала, а она знает, что он один. Дети в Америке, хорошо, если приедут на похороны. Я набралась наглости и позвонила Хирсанову, все объяснила, и он, молодец — сегодня Марина идет куда-то рядом с МИДом, в какую-то контору, и ей дадут паспорт, синий, дипломатический, включают в какую-то делегацию и она получит визу спокойно. Как хорошо, что у нас так развита дружба и связи. Все можно обойти, когда надо. Мы с Мариной вспоминали этот развод, и она прочитала разводное письмо, по-ихнему «гет», и я его прямо в эту тетрадь записала, все как есть, даже с номерами паспортов, такое оно красивое мне показалось. «Москва стоит на реке...», она до сих пор у них стоит так. Аарон Соломонович, это на самом деле, а так в Москве он жил как Александр Семенович. И вот все. Мы вспомнили всю эту процедуру, как с Марины велели снять все побрякушки, кольца, серьги и велели ходить, подняв руки ладонями вверх, по небольшой комнате, квадратов двадцать. Перед этим их долго устанавливали друг против друга, как будто это имеет значение. Раввин с седой бородой и в шляпе говорил — чуть сюда, нет, еще чуть-чуть. Почему-то эти десять сантиметров имели значение. Потом Арон кинул ей разводное письмо, которое подготовил сойфер, пока мы ходили в ресторан в синагоге. Он кинул, она поймала, и раввин говорил ей, чтоб она держала эту желтую бумагу над головой и перекладывала из руки в руку несколько раз. Потом он попросил зачем-то подержать его под мышкой, и она шла к окну и обратно, и какое-то красное солнце прям светило на меня. Я видела, что Марина улыбалась. И я тоже. Почему-то было весело, а раввин попросил еще повторить — пройти к окну, потому что ему показалось это неубедительно. Потом Арон объяснил, что все должны видеть, что женщина свободна. Это письмо на свободу. Все, лети, как птичка. Лети — лети. Марина сказала, что это самая красивая церемония в ее жизни, что все виденные ею свадьбы пустяк, и если бы была возможность все повторить еще раз, чтобы рассмотреть повнимательнее, она бы еще раз замуж вышла. Это точно было как-то особенно, два седых человека, которые много лет назад любили друг друга, теперь расходились, получали свободу, которая и так у них была. И вот Арон теперь умирает как

свободный. Ему это было важно, потому что еврейский — грех оставить женщину, связанную с ним, причем не важно, были они в браке или нет, жили вместе и этого достаточно. Он сказал, что ощущал ее как жену всегда и жалеет, что не уговорил уехать. Если бы она уехала, Павлик, я бы ее не встретила, когда приехала в Москву, и не стала бы работать в библиотеке, и вообще все было бы иначе. Об этом страшно подумать. Если бы я тогда не поехала бы в Желтые воды, просто заболела, с детьми это просто, пожалуйста, если бы ты не утонул, если бы, если бы, если бы... Я вот подумала о себе и кто мой муж? Сережа? Точно не Стобур. Я не очень в этом понимаю, да и не важно, Павлик, как это все объясняется, но когда свидетелей спрашивали: «вы видели, что передан гет», и меня спросил раввин, и все сказали «да», я поняла, что мы связаны. Все. Очень крепко. Не знаю, как сказать, но мне кажется, что, зайдя на сайт знакомств, я нарушаю что-то очень важное, какую-то связь людей, что встречаются на моем пути. Теперь это как конвейер на заводе. Они высыпаются на меня, эти фотографии, и я их смотрю, смотрю... И ничего не вижу. Когда Стобур лежал побитый возле моего забора — кто его мне подложил? Павлик, ты, наверное, должен знать.

А в пятницу мы с Хирсановым едем на какую-то дачу, черт-те куда, он сказал двести пятьдесят километров от Москвы, стоящей на Москве-реке и реке Яузе и других источниках. Вот так, Павлик. Вот так.

29

Людмила Тулупова думала о счастье, которое должно было включать собственно ее часть; счастье детей, Клары и Сережи, — за них она больше всего переживала; достаток — ей хотелось хоть раз съездить на море, на любое, свое Черное, или лучше Средиземное, или какой-нибудь океан; счастье своего будущего мужчины, которому хотелось что-то отдать. Почему-то в голову приходило именно это слово. Она сравнивала однокоренное — «отдаться», но то, что она хотела отдать, было во много раз больше. Нестерпимо больше. Оно рвалось наружу, выходило пузырьками воздуха из глубины души и тела. Будто по законам физики, с которыми не поспоришь. Людмила считала, что с помощью компьютерной мыши она пробивается, пока неизвестно куда конкретно, но где-то здесь недалеко, рядом находится ее новая счастливая жизнь. На самом деле ее жизнь измерялась расстоянием одного неверного, неточного клика, простого залипания клавиши.

Она думала о своих мужчинах, которые как в карточной игре ей сдавались одной и той же некозырной масти. Приходили и уходили. О Сковороде, который, как она теперь понимала, любил ее, может быть, даже очень. О красном партизане Лученко, который первым разглядел ее женские формы — ошалел, потерял рассудок. О муже, летчике-отлетчике, — даже дети не носили теперь его фамилию, по паспорту стали Тулуповы. Сына Стобур не видел ни разу, а Сережа, испытывая несвойственную детям деликатность, вопреки всем правилам подростковой психологии, никогда не спрашивал об отце — не было этого слова в словаре. Думала об Авдееве, который пропал, спился, высох, незаметно стерся на шести квадратных метрах ее кухни в ожидании своего решительного шага — предложения руки и сердца женщине с двумя детьми. Думала о тех, кто не раз, как оптик-шлифовальщик Савельев, был сражен ее ошеломляющим бюстом и предлагал все и сразу, но она растила детей, ждала Авдеева. А вот прошла жизнь.

«Судьба такая, — говорила она себе. — Такая судьба. Ничего не сделаешь. Действительно — ни-че-го».

Детское размышление, сны — сочетание пионерского задора, исторического фильма, который с успехом крутили в Червонопартизанске целый месяц (количество просмотров у детей имело значение), желание найти опору в жизни, счастье, помощь, верную яркую любовь, почему-то одну и на всю жизнь, все это крутилось под губкой для мытья посуды. Немного «фери» и жир сходил легко. Иногда в библиотеке или метро ее заставляли эти же стыдные детские мысли о красивой любви. Все время об одном. Она ловила себя на том, что удивительно, какая чушь приходит взрослой женщине на ум, откуда черпаются все эти нестираемые, неубывающие, неисчезающие, неотступные глупости...

Через несколько дней позвонила Шапиро из Мюнхена.

Ее голос был радостный и бодрый, словно Арон не умирал, а выписывался из больницы и они вдвоем уезжали в свадебную поездку на круизном морском лайнере. На самом деле она жила в его пустом доме, каждый день ездила к Куперстайну в клинику и возила его на бесшумной алюминиевой инвалидной коляске по красивому немецкому парку с абсолютной немецкой чистотой. Марина сказала, что они решили говорить о смерти совершенно открыто и спокойно, не притворяться, не играть в выздоравливающего и добросовестную сиделку.

— Ты, понимаешь, Мил, — звонко отвечала Шапиро на вопрос Тулуповой, как она себя там, на чужбине, чувствует. — Каждый день стал счастьем, я пожалела, что не уехала с ним когда-то, мне с ним везде бы было хорошо. Я, как и он, наслаждаюсь каждым днем. Я ему сказала, что так здорово, что теперь между нами нет ничего, что может быть между мужчиной и женщиной. Он сказал, что, как только уехал из СССР и у него дома, в Германии, появилась широкая, настоящая кровать, он стал много думать, кто с ним должен лежать рядом. Когда мы с ним спали на продавленной софе у меня на Фрунзенской, мы раскладывали ее каждый вечер, она притягивала нас — он об этом не думал! Теперь... Это такое блаженство не видеть в нем мужчины! Это такие разговоры, Мила! Мне хочется их записывать, но я никогда не смогу это сделать. Да. Я не могла тогда уехать, да меня бы и не выпустили из-за матери...

И Шапиро вспомнила о визе, полученной через знакомого Тулуповой, прервалась и спросила:

— Как ты и как твой Кирилл Леонардович? Я ему так благодарна, его имя открывало все двери, как по волшебству, передай мое с Ароном, ну не знаю что... Арон умрет, я вернусь, и ты меня познакомишь, передай ему обязательно.

— Хорошо, — сухо ответила Тулупова, вспоминая унижительную поездку с Хирсановым в поселок Урицкого, на границе двух областей, или, как выражался Хирсанов, двух Штатов, Горьковского и Владимирского.

30

Она ждала его в библиотеке. Рабочий день кончился. Он обещал приехать сначала в семь, затем позвонил и сказал, что не получается и он будет в восемь, потом еще раз набрал ее и сказал:

— Мы точно едем сегодня, милая Мила. Но во сколько точно, сказать не могу. Заседание у «председателя». Подъеду, наберу, жди — и бросил трубку.

Тулуповой не хотелось ехать. И очень. Не хотелось ждать. И очень. От «милая Мила» она испытала особое ощущение, уже неоднократно испытанное, будто проглатывала кусочек порционного сливочного масла в пионерском лагере без хлеба, потому что его уже расхватили мальчишки. От слова «сауна», которое он часто повторял, уговаривая ее поехать, пахло потом, пивом и развлечениями для молоденьких жеребцов.

Хирсанов и сам это чувствовал, но еще с советских времен «возможности» предусматривали баню как место, где, не опасаясь прослушки (почему-то считали, что микрофоны не выдерживают жары и влаги), можно было обговорить самые скользкие вопросы. Теперь, после множества скандальных, банных разоблачений в пресе, сауне не доверяли так безоговорочно, но партийно-комсомольское прошлое уже никак не позволяло вычеркнуть пар, веник, жирную еду, выпивку, женщин из сложившегося набора удовольствий жизни и элитных привилегий.

Со всем этим невкусным, сухим, жестковатым бутербродом в голове Тулупова сидела за компьютером на своем начальничьем кресле в библиотеке и смотрела на монитор, как на говорливую подругу, которой не важно, слушают ее или нет. Она подвинула стрелку мыши к слову «знакомства», щелкнула два раза, появилась иконка главной страницы сайта.

«Почему я должна ехать с Хирсановым? Пусть бы его президент вызвал и отправил... куда?»

Я «девушка» выбрала она из набора вариантов: «парень; девушка; пара М + Ж; пара М + М; пара Ж + Ж», ищу «парня» выбрала она из того же перечня, дальше

проставила возраст «от 45 до 55»; цель знакомства из вариантов «дружба; любовь; брак; секс; другое».

Тулупова выбрала «другое», потому что все предыдущее убивало своей определенностью. Она уже привыкла к требованиям мужчин, которые искали скромных любовниц и опытных жен.

На первой попавшейся анкете была фотография с рыбалки. Полный мужчина, она взглянула на рост — 180 см, с небольшой окладистой седовато-рыжеватой бородкой сидел на складном туристическом стульчике, надевая на крючок наживку. Видимо, это был образ. На сей раз он ловил женщин, ее. Приманка была простая и незамысловатая: *«Хочу познакомиться с женщиной, чтобы приятно проводить с ней время, которую можно было бы полюбить, о которой можно было бы заботиться и переживать. У меня есть дом в Тверской области. Хотелось бы ездить с ней туда, чтобы там отдыхать, ходить в лес, собирать грибы, если ей это нравится, париться в бане, жарить шашлыки и т.д.! Правда здорово?! На брак не претендую! Без фото не отвечаю!»*

Тулупова моментально представила, как она идет по лесу и собирает грибы с этим бородатым мужчиной, как он ее учит их находить, ведь она никогда не искала грибов. В Червонопартизанске лесов не было, в лесополосах, она слышала, собирали шампиньоны и дождевики, или, как их называли дети, когда они перезрелые высыхали, — «дедушкин дымок», но она никогда не участвовала в этих походах, да и в лесу была считанные разы. В Подмоскowie у Шапиро на даче гуляли в вытоптанном горожанами березовом лесу, там она видела разноцветные сыроежки и все. Один раз вместе с заводом вывозили автобусами по грибы, но все закончилось большой пьянкой. Только отъехали, часов в пять утра, в дороге, начали пить, да так, что из автобуса за грибами в лес почти никто не вышел. Подвыпившие мужчины, и особенно настойчиво Савельев, звали ее пойти пособирать в лес, но их явно интересовали не грибы. На обратной дороге самозабвенно горланили песни до самой заводской проходной, где утром был сбор. Людмила пела тоже.

«Что надо ему, — подумала Тулупова то ли о Хирсанове, то ли о рыбаке. — Вот сейчас я тоже поеду по грибы... грибочки».

«Двигаюсь по течению. Подует ветер, подниму паруса, будет теплое течение — нырну в него. Хочу радоваться каждому дню, каким бы он ни был, — писал другой мужчина, телеоператор по профессии, в своей анкете. — В меру жесткий, добрый, упрямый, с чувством юмора дружу. Скромный. Фантазер. В лидеры не рвусь, но авторитет имею. Хитрый, но торговаться не умею. Недостаток — один. Не умею отказывать, не всем, конечно, друзьям, приятелям, хорошим знакомым очень трудно. Ищу девушку обычную, без силиконовых губ, без ветра в попе, не охотницу за толстосумами. Просто девушку. Я самодостаточен и ищу такую же. Девушка с богатым внутренним миром мне подойдет. Главное, чтобы выглядела не как финтифлюшка модно-расфуфыренная, а нормально и стильно, и без особых изысков, как Женщина. Всю косметичку на лицо красить не стоит, я и так увижу человека красивого. Ценю у девушек свой цвет волос. Можно крашеный, но свой. Хочется идти по жизни параллельными маршрутами, не обгоняя, и, заглядывая в лицо, кричать: «Я тебя люблю, значит, и ты должен», и не отставать. Просто идти рядом, если тропинки иногда расходятся, они же и сходятся. У кого-то спад в настроении, другой подбодрит или не будет доставать какое-то время. Вот тогда и начинаешь любить, когда человек тебя не достает, а просто рядом. Люблю свободу и не люблю, когда на нее сильно покушаются. Ценю свободу женщины и тоже не покушаюсь. Все в меру. Сексом готов заниматься столько, чтобы не превратиться в монотонную, бездушную секс-машину. Важно, чтобы после секса можно было о чем-то поговорить. Да, еще. Деньги меня любят — и их трачу».

Тулупова открыла в большом формате фотографию. Сорокасемилетний мужчина нарисовал себе в фотопшопе какую-то большую кепку, как носили когда-то в Советском Союзе на рынках выходцы из Грузии и Азербайджана. Приделал черные усы и рядом поместил себя обычного, как он есть. Должно быть весело. Видимо, это и называлось «дружить с юмором».

«Не прыгун. Не имею белой лошади. Не олигарх. Не на Рублевке. Не Бонд,

Джеймс Бонд. Не Абрамович. В большой теннис не играю. Меня зовут КОТ МАТРОСКИН. Мая».

Лицо у Кота Матроскина было доброе, круглое, на носу роговые очки с большими диоптриями.

«И правда. Не принц», — решила Тулупова.

«Королевы и Принцессы аПсалюдно не интересуют. Интересуют кухарки и пастушки. Надолго. Полное отсутствие чувства юмора. Казаться или Быть... Волки никогда не оглядываются назад».

«Не волк. Почему-то волков тут нет совсем. А Хирсанов волк? Наверное, волк. Вольнов, наверное, волк, а Аркадий не волк. Точно».

Мысли Людмилы Тулуповой дробились на отдельные простые слова.

«Хочу найти. Хулиганку. Личного шеф-повара. Персональную тренершу по Окинавскому рукопашному бою».

«Что это за бой? Не знаю».

Людмила Тулупова листала немногословные страницы мужских анкет. Взрослые мужчины, называемые парнями, словно гимнасты в огромном спортивном зале, болтались на каких-то сексуальных перекладах, поднимались на социальных канатах, перепрыгивали через голову, демонстрируя ум и востребованное здесь чувство юмора. На вопрос анкеты, которая обозначалась в рубрикаторе «автопортрет»: *«Любимое блюдо — водка. Меня возбуждает — женщина с веслом. В сексе люблю — стоя в гамаке. Ваш любимый музыкальный исполнитель — женский крик во время оргазма. Все остальные радиостанции опопсели»*. Она будто видела всех их через фразы, часто ничего не значащие, исковерканную грамматику, обильно расставленные знаки восклицания или вопроса.

«Так много мужчин и женщин. Одиноких. Почему нам вместе не живется? Что-то все время не хватает и не подходит. Почему? Почему я здесь жду Хирсанова? Зачем он мне нужен? Зачем?»

Людмила зашла в раздел «поиск», набрала так: я «парень» ищу «девушку» и быстро нашла пространную страницу женщины ее возраста.

Замуж не хочу. Я не из тех женщин... которые любят ушами...))) Слова не стоят ничего. Сужу только по поступкам. Кумиров — не создаю! Люди лепят своих кумиров из снега и плачут, когда они тают... К политике — не отношусь. Считаю, что в нашей стране счастлив тот, кто в доле, и тот, кто не в курсе. Музыка — неотъемлемая часть всей сознательной и несознательной жизни! Любимое — блюз, джаз, рок, соул, старые итальянцы, немного попсы. Обожаю цветы и книги. Телевизор не смотрю — воспринимаю как фон на кухне. Люблю и умею готовить, но только для близких, с остальными предпочитаю ходить в кафе или ресторан. В людях ценю честность и верность, хотя обожаю лесть и комплименты, но только мне. Реалистка. Не угождаю мужчине. Никогда не жду на свидании. Для меня мужчина — не Бог и даже не божок. Считаю, что мужчина не должен быть спонсором, но обязан быть щедрым. Настоящий мужчина — тот, кто никогда не говорит плохо о бывших любовницах, женах, начальницах... Отношение к религии — ищи Бога в себе! Православный атеизм. Стерва с ангельской душой. Теперь понятно — не всяким я по зубам. Ищу солидного, современного, самодостаточного и самостоятельного мужчину без финансовых и жилищных проблем».

Тулупова зашла в рубрику альбомы и нашла там десяток фотографий довольно крупной, везде улыбающейся женщины. На одной из них она сидела на высоком барном стуле, голая, измазанная черной лечебной грязью. Наверху, над фотографией, была фраза: *«Для красоты и молодости. Турция. Считаю, что красивая женщина не может быть глупой, потому что умная не позволит себе быть некрасивой!»*

Людмила, конечно, это слышала не раз, и про красоту, и про мужчин дураков, которых можно легко взять через желудок и через навешанную на уши лапшу, но эти советы никогда ничего не давали. Теперь, думала Тулупова, когда в магазинах можно купить любые продукты, кафе и рестораны открыты день и ночь, и вовсе ни одного мужчину не взять через желудок, и то, что она замечательная хозяйка, никого уже не интересует.

«Существуют мужчины и женщины, и так долго существуют, что могли бы уже узнать друг друга, понять, кому что хочется, что любят, что не любят, и, вообще, за столько тысяч лет пора бы, наконец, разобраться...»

Листая женские анкеты, Тулупова прочитала имя — Клара. С фотографии на нее смотрела женщина с трагическими глазами, с короткой, почти мальчишечьей, прической, подбородок у нее был чуть неразвит, она улыбалась, но, может быть, и щурилась на солнце, потому что стояла на улице возле голубоватой машины, слегка облокотившись на капот. Если бы ее не звали Кларой, как ее дочь, Людмила никогда не открыла бы этой анкеты.

«Каждому мужчине нужна своя Клара! На этом сайте я встретила мужчину (к сожалению, мы уже не вместе). После встреч с ним захотелось сказать следующее, это мои выводы, предназначенные для женщин. Если вы считаете, что мужчинам «только ЭТО и надо», то нет ничего проще, чем ЭТО им дать. Не надо ничего требовать от них, у них все равно нет ничего, кроме их замечательных членов. Что дает нам, женщинам, секс? Успехи в учебе для тех, кто учится, успехи в бизнесе для тех, кто им занимается, похудение без диет, потрясающее слияние души и тела, которое не дает ни одна из йог и ни одно из физических и философских упражнений. Не надо ходить с мужчинами в кино, на концерты, в театры и в ночные клубы. Потому что самый лучший театр — это театр в вашей постели, самая лучшая музыка — это его учащенное дыхание, и вы тоже можете себя не сдерживать, можете застонать, закричать. Женщины, не прячьтесь за умными фразами, а просто получите удовольствие, которое не может заменить ни один фаллоимитатор.

Вот что я хочу сказать мужчинам: многие из вас сразу же любят предъявлять претензии женщине, даже не видя ее. Чем предъявлять претензии, лучше оказаться вместе голыми и посмотреть на себя, никакие разговоры не могут заменить хорошего секса. Те, кто хоть раз испытал его, понимают, что все внешнее — не важно. Некоторые в момент встречи начинают бесконечно обсуждать все на свете! Не надо. Надо чтобы все конфликты во всем мире разрешались половыми актами. И еще, мужчины и женщины, не надо в многовековой переписке убеждать друг друга, что вы очень большие развратники и экспериментаторы, что вы мечтаете о том, чтобы вас трахнули во все места и писали вам в рот. Заверяю всех, что в большинстве случаев просьбы об этом не соответствуют действительным желаниям. Многие мужчины, которые этого просили, моментально от этого отказались, когда дошло до реального воплощения подобных фантазий. Дорогие мужчины, не пишите долго и витиевато, в большинстве случаев вы хотите самого простого здорового секса. Да, я скорая помощь, бесплатная.

P.S. Не пишите мне те, кто не согласен со мной. Я никого не обращаю в свою веру!

В жизни секс — это одно из наслаждений, и на этом сайте почти все собрались в его поисках, поэтому в моей анкете я говорю о сексе. Решила добавить, я встречаюсь с 20-летними. Потому что 40— 50-летние мужчины прожили такую же по протяженности жизнь, как и я, но ничего не заметили, ничего не увидели, ничего не поняли. Были революции, были хиппи, песни были «Это было весною, зеленеющим маем...» То есть жизнь почти прошла, а впечатлений не осталось! А раз нет общей памяти, а тела дряблые, то буду лучше облизывать 20-летних. Малолеток прошу беспокоить. Кого я хочу найти: порой я хотела бы ответить, что ищу мужа, только потому, что мне необходимо мужское мировоззрение, а на самом деле? Прежде всего хорошего любовника и друга в одном лице. К сожалению, убедилась в этом сегодня в очередной раз, мои ровесники не могут быть любовниками! А все остальное появится сразу же, как только Вы, уважаемые граждане, займетесь сексом! Да, еще мне нужен русский, член имеет национальность. Размер от 17—20 см и более, но если есть умение и желание, пожалуйста. Не истина в последней инстанции. Переубедить не надо. Мой метод ненаучного тыка запатентован. Это Карл у Клары украл кораллы, а не наоборот. Клара ничего не брала.

P.P.S. Кого интересуют мои формы, смотрите в альбоме «разное».

Тулупова сразу нажала мышью на раздел «альбом» и щелкнула в «разное». Пока шла загрузка контента, она подумала, что, видимо, за этими откровениями стоит

несчастная любовь, или исковерканное детство, или изнасилование, или какой-то иной случай, но все это противоречит природе женщин. Да и мужчин тоже. Предположения получались очень грустные, но, с другой стороны, ей показалось, что... тут появилось несколько фотографий Клары и мысли оборвались.

Она сфотографировалась, видимо, дома, у зеркала, во весь рост, в купальнике небесного цвета. Своей большой грудью она гордилась, это легко читалось во всей ее слегка полноватой фигуре. Помимо ее довольно большого зада в зеркале отражалось окно с глиняными цветочными горшками на подоконнике и кусок старой советской люстры из пластмассы, имитирующей хрустальные подвески. На другой фотографии она стояла в норковой шубе на улице, около все той же голубоватой машины. На третьей — она сидела за домашним рабочим столом, рядом с книгами, и можно было чуть лучше разглядеть ее лицо. Она была похожа на добросовестную, исполнительную учительницу русского языка и литературы, проверяющую сочинения об образе лишнего человека в произведениях Пушкина и Лермонтова, точно знающую, где раскрыта тема, а где нет.

Тулупова разглядывала эти фотографии с интересом, понимая, что какая-то правда в словах этой Клары есть, что ее жизнь и желание любви, долгие мучительные отношения с Авдеевым — потерянное время. А есть просто удовольствие, от которого потом хочется отмыться, никому не рассказывать, забыть, но оно есть, это самое, «это», то, что неизвестная ей Клара набрала большими буквами. И сейчас она сидит и ждет Хирсанова и знает наперед, как будет все происходить, не знает деталей, не знает где, но ждет «этого», своего куска, как дворовая бездомная собака возле калитки. Когда Тулупова уже собиралась закрыть анкету незнакомой Клары, рядом с именем появилась красная надпись: «Сейчас на сайте!» Людмила быстро открыла, щелкнув мышью, и написала:

«Вы, правда, так? Со всеми?»

И через несколько секунд уже получила ответ:

«Лучше на ты, подруга. Я — правда. А ты еще притворяешься?»

«Хорошо, на ты, — ответила Тулупова. — Прямо с мальчиками, они же дети, мы же с тобой одного возраста почти. Все-таки я так не могу, я думаю, что мы уже старые...»

«Я тоже сделана в СССР, а не в Америке. Но с детьми мне даже лучше, я не стесняюсь своего целлюлита и морщин. Они знают, что я на 20 лет старше их, и мне легче, я не комплекую от того, что мы с тобой состарились быстрее, чем мужики наших лет. Мне плевать, что думают обо мне эти мальчики. Да, для них я старуха с большими титьками. И хорошо. Они ко мне пришли. Да здравствуют их поднятые члены!»

«Извини. Наверное, я что-то не понимаю. Прости», — написала Людмила Тулупова, которой захотелось извиниться, потому что она вторглась на чужую, незнакомую территорию.

«Не извиняйся. У тебя есть кто-то на сайте, твой?»

«Нет», — молниеносно ответила Тулупова, потом подумала, что, может быть, есть. И на языке появилось имя Аркадия. С розой у входа в институт вспомнился он ей.

«Почему я написала «нет», а вспомнила именно его?»

«Мне кажется, все же нам надо заставлять себя влюбляться», — написала Людмила в окне «написать сообщение».

«Заставляй! Себя. Если хочешь», — ответила неизвестная Клара.

31

Через час она с Хирсановым ехала в плотном автомобильном потоке по Горьковскому шоссе. Вечерело, будто специально быстро. За огоньками придорожных коттеджей, старых деревянных советских домов с белыми наличниками, за рамами многоэтажек, за каждым световым пятном в надвигающейся ночи она представляла мужчин и женщин, разных возрастов, национальностей, которые ели, говорили о чем-

то, переодевались, смотрели телевизор только для того, чтобы лечь рядом друг с другом.

«Весь день живет ради ночи. Ночь — главная».

И вот теперь она едет за триста километров, чтобы уткнуться в мужчину, почувствовать его надвигающуюся дрожь, желание и потом отдаться. Людмила думала о надменно-решительных словах неизвестной ей Клары и не слышала, что говорил Хирсанов, который на этот раз сам вел машину.

Когда Тулупова садилась в нее возле института, она спросила:

— Этот твой джип, Кирилл?

— А чей еще? — удивился Хирсанов.

— Президента. Он такой красивый.

— ...у него немного лучше, — ответил польщенный Хирсанов.

— И ты сам поведешь?

Людмила спросила просто так, а Кирилл размяк, как ребенок от родительских поощрений.

Хирсанов уверенно вел машину, работала радиостанция, где обещали спокойствие и ставили размеренные, блюзовые композиции, а также регулярно сообщали о пробках на дорогах. Ночное загородное шоссе завораживало, и Людмила Тулупова смотрела на открывающийся в свете фар асфальт, так же как астрономы смотрят на звезды, тупо и с наслаждением. Последняя осенняя листва, подхваченная воздушным потоком, иногда зацеплялась за сектор ближнего света и словно порванное любовное письмо отлетала в придорожную темноту.

Хирсанов прерывисто рассказывал о совещании у президента, где обсуждалась его сверхважная записка, что теперь он, если ничего не произойдет, может получить дополнительные очки в большой, очень большой игре.

Тулупова думала о своем, о том, что все удивительно как-то получилось у Шапи-ро: ее развод стал свадьбой, что они должны были расстаться, а теперь вот действительно до самой смерти, без всяких преувеличений, но все равно почти машинально спросила:

— Почему ты это называешь игрой? Вы там вообще думаете о народе или только о ваших играх?

— О народе мы, конечно, думаем. Постоянно. Если, скажем, у этого каждого народа взять, или занять, скажем, всего один доллар (хотя бы), то у какого-то отдельного «ненарода» с именем и фамилией может сразу появиться сто сорок миллионов долларов на счету. Это очень хорошие деньги, я должен сказать. А если занять два доллара?

— А ты любишь свою жену?

— Ну и скажут у тебя мысли, Мила! Так нельзя.

По радио проиграли большой музыкальный фрагмент, прежде чем Хирсанов нашел ответ на вопрос, который он и сам себе давно не задавал.

— Скорее да, чем нет. «Мы ответственны за тех, кого приручили». Помнишь эту фразу? Она больная. Нет, не на голову, — подхихикнул Хирсанов сам себе. — Но вся. На таблетках живет, и что мне с ней делать?

И спустя несколько длинных секунд добавил:

— Я и тебя люблю, Милочка.

Тулупова с детства знала лживость ласкательно-уменьшительного обращения к себе: «милочка».

Хирсанов почувствовал, что она не верит, и, оторвав правую руку от рулевого колеса, приобнял Тулупову, прижал к себе. Она не сопротивлялась.

— Мил!!! Какие наши годы!

— Кирилл, я думаю: у всех мужчин по две женщины или есть исключение?

— У некоторых и по четыре, и больше — ислам позволяет. Я в Алжире...

— Нет, — прервала его Тулупова. — Я — о наших.

— Не знаю.

— А у президента?

— А как ты представляешь: иметь такую власть и обладать всего одной женщиной? К тому же, — добавил Хирсанов, — он здоровый мужик.

— Значит, и президент такой же... Может, он тоже на сайте? Под каким именем?

— Они там с председателем... — пошутил Хирсанов.

— Каким председателем?

— Председатель — это премьер, — пояснил Хирсанов имевшийся в ходу за Кремлевской стеной сленг. — Могут быть под своими именами. У них одна беда — лица узнаваемые, а имена — что? Обычные.

— И как дальше?

— Что? — не понял Хирсанов.

— Ну и вот, они нашли женщину и что? Не виртуальным же сексом они занимаются?

— А что? Все может быть. Ну, я пошутил, конечно, нет. Я думаю, там все по-другому. Есть доверенные люди, они и ищут девочек для первых лиц.

— Это не ты? — неожиданно спросила Тулупова.

Хирсанов радостно и искренне рассмеялся, у него было легкое настроение:

— Нет, нет — не я.

Неожиданно Тулупова вспомнила о просьбе Вольнова, который не верил, что на сайте может быть человек из Кремля рангом выше дворника или завхоза.

— А действительно, Кирилл, что ты там делаешь?

— Ищу равновесие сил.

— Какое равновесие? — не поняла Тулупова.

— Тебе лучше не знать. Бумажки пишу, бумажки, разные. Разные бумажки...

— Дай почитать, — попросила Тулупова.

— Все секретные — а у тебя допуска нет. Зачем тебе?

— Женское любопытство. Интересно. И все. Я же библиотекарь. Мы, как собаки, все понимаем, все читаем, а только написать ничего не можем. Ты — пишешь. Мне интересно.

— Теперь я понимаю, что мне в тебе нравится, кроме голубых глаз и твоей прекрасной груди, конечно.

— Дай почитать, неужели только тайны есть, — Людмила подхватила легкую интонацию, предложенную Хирсановым. — Что-нибудь несекретное должно остаться для народа?

— Есть. — Хирсанов вспоминал, какие записки наверх он писал в последнее время, и решил, что можно найти безобидные бумаги из обзоров, которые получал по рассылке. — Я пришлю тебе недельный обзор. Найду неделю, когда ничего особенного не было, и пришлю. Почитаешь и поймешь, что значит руководить страной.

— И что?

— Что? — Хирсанов на секунду задумался. — Поймешь — кто ей руководить не должен.

— Вы там о простом народе-то вообще никогда не думаете, только о ваших играх, — повторила Тулупова.

— Нет, только о нем, — рассмеялся Хирсанов. — День и ночь. Вот сейчас, я думаю, нам надо поесть. Народ — «за»? Или — «против»? Мне есть хочется. Мясо хочу.

Хирсанов помнил, что где-то тут, на выезде из Московской области, была придорожная шашлычная. Когда он ездил в поселок Урицкого, к своему приятелю, можно сказать, другу и компаньону по бизнесу — Анатолию Нихансу, обрусевшему немцу, из поволжских, он раза два тут останавливался.

— Я не хочу, — сказала Тулупова.

— Не хочу — детское слово, — ответил Хирсанов и немного сбавил скорость, чтобы лучше вглядываться в темноту.

Через несколько километров, которыми измерялось не только расстояние, но и длинная, пустая, многокилометровая пауза в разговоре — пока она длилась, им удалось понять, что они ничем не связаны, ни рестораном, ни тем, что было потом в библиотеке, ни бодрящим осенним холодком, ничем — в свете фар на обочине прочиталась надпись «Хорошие шашлыки».

— Вот это. Приехали, — сказал Хирсанов. — Будем есть.

Он съехал с трассы и припарковал машину около входа в старый, разбитый

павильон со стеклянной дверью. В этот момент из нее с шампурами с мясом выходил пожилой, седовласый азербайджанец. В его фигуре было что-то необычное, что сразу бросалось в глаза, но трудно определяемое — глубокая усталость, не проходившая никогда, ни днем, ни ночью, даже во сне. Он шел к железному горящему мангалу, что стоял на улице, под фонарем.

— Какой мясо будешь кушать? — имитируя резвость, спросил азербайджанец выходящего из машины Хирсанова. — Какой хочешь? Телятина, баранина, свинина хорошая.

— Хорошая?

— Очень хорошая, свежая — утром бегал еще.

— Мил, что будешь: свинина, баранина, телятина? — спросил Хирсанов Тулупову, которая вслед за ним вышла из автомобиля.

— Я ничего не хочу.

— Как не хочешь, — сказал азербайджанец, укладывая шампуры на мангал. — Утром бегал. А теперь ешь.

— Мне один кусочек. Я возьму у тебя, — сказала Людмила Хирсанову. — Один.

— Пальчики оближешь. Ечо захочешь...

Хирсанову нравился этот мангальщик, ему вообще нравились люди, укладывающиеся в картинку, классический образ, почти ненастоящий, кажется, придуманный. Только потом внедренный в жизнь. Нравилось само узнавание, как ребенку нравится называть картинки в букваре и каждый раз удивляться и произносить: арбуз, белка, горох... Разговорчивый, услужливый азербайджанец был именно таким — вырванной страницей из букваря. Кириллу хотелось что-то ему сказать или спросить, посылая сообщение в ответ из своего образа: богатого, уважаемого московского человека, вылезшего из джипа с кожаными сиденьями:

— Я не первый раз у тебя. Знаю, вкусный у тебя шашлык, вкусный...

— Я тебя помню, ты был тут. Я всех помню. А женщин не биль, — подхватил азербайджанец, показывая на Людмилу. — Не биль?

— Да, она не была, — и добавил, обращаясь к Тулуповой: — Он такой...

— ...Камиль, — подсказал свое имя азербайджанец.

— ...Камиль такой «шашлык» готовит — надо его есть. И всех помнит. Всех?

— Всех, — подтвердил Камиль.

— Кусочек, один кусочек, — повторила Тулупова, осматриваясь вокруг.

В темноте, ближе к придорожной полосе, сверкая белыми пятнами, привязанная к дереву стояла исхудавшая холмогорская корова. Ее глаза были направлены на пылающий жаром мангал, на Камиля, на Тулупову, на Хирсанова. Она не мычала, только каменно смотрела большими глазами в их сторону, но ее непроизнесенное, неслышимое мычание было во всем ночном пейзаже, включавшем и луну, и чистое, подсвеченное ею же небо, и сухой желтый лист, поднимаемый ветром на дорогу.

— А почему здесь корова? — спросила Тулупова. — Зачем?

Азербайджанец не отвечал. Но Людмила и без него поняла, для чего тут стояла корова.

Камиль негромко крикнул что-то по-азербайджански в сторону павильона — тут же, как специально заготовленный, из двери выбежал мальчик. Тулупова сначала подумала, что это сын, но, еще раз взглянув на мангальщика, решила, что это может быть и внук. Ему было лет десять, и он также был усталый, с недетскими глазами, но очень ладненький, цирковой. Камиль сказал на азербайджанском, что надо принести сюда. Из потока непонятных звуков Тулупова услышала только «талелька», что означало тарелку, и слово «хлеб». Ничего лишнего, уху было приятно.

— Действительно, почему у тебя корова? — спросил Хирсанов, с запозданием подключаясь к вопросу.

— Барашек есть. Тебе барашка сделать, возьми барашка.

— Какого? — не понял Кирилл.

Камиль опять крикнул мальчику, тот прибежал, встал около мангала, чтобы следить за мясом, а Хирсанов с азербайджанцем пошли смотреть на баранов в кошаре, сколоченной из старых ящиков и разнокалиберных досок. Мангальщик уговаривал его купить целого барана, которого тут же готов был зарезать, разделить и

упаковать. Тулупова слышала доносившиеся обрывки их разговора. Хирсанову не нужен был баран, но само предложение и осмотр животного ему нравились, и он задавал все новые и новые вопросы о возрасте барана, о цене, в живом ли имеется в виду весе или он платит за уже разделанного, о породе, мясная ли она и так далее. Было понятно, что он умеет задавать их до бесконечности.

— Мил, ну что, купить барана? Целиком! — крикнул он Тулуповой, когда осмотр был закончен. — Нам нужен баран?

Людмила пожала плечами.

— Вот видишь, хозяйке баран не нужен.

Тулупова поняла, что он специально назвал ее хозяйкой, как бы подчеркивая важность их связи.

«По замыслу автора я должна разомлеть. Почему мне так все не нравится? Все. Почему?»

— Я подумала, — неожиданно для себя сказала Тулупова, — что барана можно бы и взять. Свежее мясо лишним не будет.

— Ты серьезно? — спросил Хирсанов.

— Хозяйка сказал — надо, — энергично вмешался заинтересованный Камиль. — Хозяйка сказал...

— Сейчас! — Хирсанов остановил Камиля, который стал о чем-то распоряжаться по-азербайджански. — Сначала поедим.

Они решили есть на улице. Рядом с входом в павильон стояли пластмассовый зеленый стол и кресла. Ели молча. Хирсанов понимал, что это скрытый бунт на корабле, но ему хотелось сопротивления, хотелось, чтобы говорили гадости, ему хотелось выйти из библиотеки на свежий воздух порока и ярких отношений. Но ему не нравились ее глаза, глаза, смотревшие без должного восхищения, сомневавшиеся в нем: а он ли тот самый, который все может? Он предчувствовал, что его ждет у немца, как он умеет встречать, готовить, какая у него баня, и всегда какой-нибудь приятный сюрприз, но он подумал о том, что она может еще пожалеть об этом, какой-то невзрослый холодок обиды впервые проскользнул здесь, за ужином.

— Барана брать не будем, обойдемся без жертвоприношений, — отрезал Хирсанов и потом добавил примиряющее: — Там у Толи все и так есть.

— Как знаешь, — согласилась Тулупова и спросила о том, кто же такой Толя.

Хирсанов объяснил.

Оставив деньги на столике, придавив их тарелкой, они быстро сели в машину.

Выбежал азербайджанский мальчик, он боялся, что не заплатят, но издали увидев цвет крупной купюры, радостно помахал отъезжающему автомобилю вслед.

Они снова понеслись по ночной трассе. Молчали. Работало радио. Людмила Тулупова думала о дороге и о том, что она бездомная женщина. Она несколько раз повторяла это слово про себя.

«Бездомная. Бездомная».

И каждый раз становилось себя все жальче. Хотелось плакать. Да, у нее есть место, где ночевать, где живут ее дети, но у нее нет дома, она бездомная женщина бальзаковского возраста, но так говорят только для того, чтобы не обидеть, не сказать просто и честно: она старая, как та корова, которую скоро зарежут, но предпочитают об этом не говорить.

«Как собачонка запрыгнула в машину к хозяину. И еду-еду не спрашиваю: зачем и куда меня везут и что со мной будет. Немец какой-то — Толя».

— О чем думаешь? — спросил Хирсанов.

— Ни о чем, — сказала Тулупова. — Как ты оказался на этом сайте?

Хирсанов промолчал, а потом неожиданно сказал:

— Я тебя хочу, давай в машине. Я хочу в машине.

Людмила резко сказала «нет». Потом еще раз повторила «нет». Кирилл даже не стал притормаживать.

— Ладно, давай доедем. Правильно. Потом будет тяжело вести машину.

«Он знает, как это бывает потом. Сколько раз это было у него в машине».

Потом, через несколько километров молчания, Хирсанов добавил про себя:

— Может, и вправду надо было взять.

- Кого, — спросила Тулупова.
- Барана.

Анатолий Ниханс через два часа встречал их со своей молоденькой двадцатилетней подругой, блондинкой Яной, уже изрядно выпив. Они открывали распашные ворота, разгоряченные, вышедшие из бани, замотанные в цветные простыни с узорами из цветов и бабочек. У Ниханса заплетался язык, но было ясно, что он хорошо соображает и не теряет головы никогда.

— Ты знаешь, кто это?! — кричал он своей подруге. — Это великий человек, великий. Настоящий! Без него — они все ничто.

Рукой он показывал куда-то вверх.

Хирсанову нравилась такая провинциальная слава.

— Он мой друг, но ты, Янка, смотри и запоминай — он верховный, верховный главнокомандующий.

Чтобы отломать от своей славы кусок, Хирсанов нежно приобнял друга, сказав Людмиле Тулуповой и блондинке Яне, что у Толи лучшая баня в России, что все могут завидовать, он сюда ехал, предвкушая, что это будет настоящий праздник, поэтому-то он гнал из Москвы за столько верст.

А затем было все очень просто.

Она пыталась полюбить Кирилла Хирсанова. Сначала тогда, когда в комнату отдыха пришел Толя, принес бутылку виски, налил Хирсанову, продолжая рассыпать комплименты, которые лились из него, как вода из артезианской скважины, с таким же напором и природной прозрачностью лести. Мужчины выпили, Людмила чуть пригубила. Немец не умолкал, и уже начинал нравиться Тулуповой. Затем он ушел, чтобы через минуту вернуться с теми же самыми простынями с бабочками и цветами в руках и сказать:

— Ребята, вы переодевайтесь, мы с Янкой шары погоняем на бильярде.

— Постой! — остановил его Хирсанов. — Ты знаешь, Мил, как его фамилия?...

— Нет. Откуда?

— Он Ниханс. То есть не Ханс, а Толик, самый русский немец из всех! Начинал как Горбачев — комбайнером!

Мужчины рассмеялись и обнялись. Ниханс закрыл плотно дверь, давая понять, что никто сюда не войдет.

По Хирсанову было заметно, что он раздевается, аккуратно складывая свои вещи, совсем не для того, чтобы идти париться. Его выдавали чуть замедленные от виски движения, довольно большой живот, медленно выползавший из белоснежной дорогой майки — тоже. Вся его кожа, стареющая, неуловимым образом, наверное, как шерсть животного, готового к атаке, наполнялась мужской задачей — овладением. Желание и готовность были и в том, как он складывал джинсы, боясь, чтобы не выпали ключи, потом так же ровно — белье. Странное покачивание, в котором была скромность и одновременно агрессия. Она стояла от него в нескольких метрах, но смотрела на него подробно, как охотник в бинокль наблюдает за зверем. Людмила понимала, что сейчас ей надо будет его любить, не отдаваться, не сопротивляться, не вступать в разговоры, сейчас она должна подойти первой, что-то сказать, погладить, сделать еще что-то, чтобы он не боялся, не свирепел. Она тоже должна показать, что совсем не против этого, что она тоже хочет, но она не могла ничего говорить, невозможно было сделать даже шаг, подходить, дотрагиваться до его тела невозможно. Она смотрела на него, а у горла, подступая к глазам, была только жалость к стареющему мужчине с классическим метаболическим животом, с седеющими волосами, с коричневой папилломой на груди, ближе к подмышке. Хотелось плакать.

«Раз уж я здесь...»

— Ты скучала по мне? — спросил Хирсанов.

Из его взгляда она поняла, что он имел в виду: хотела бы она его, как мужчину. У нее не было сил честно сказать «нет», и она ответила, как скромная библиотечарша:

— Да, немножко.

— Почему?

— Что почему?

— Почему немножко?

Она пожала плечами.

— Я просто думала о тебе. И все.

— И что ты обо мне думала?

Она опять пожала плечами.

— Разное.

— Иди сюда, — сказал Хирсанов. — Иди сюда.

И Людмила впервые вдруг услышала эти слова по-настоящему. Они много раз произносились в ее жизни. «Иди сюда», «иди сюда» на разные лады говорили ей мужчины. Их говорил подвыпивший Авдеев и тянул ее за фартук, когда она мыла посуду после их, так сказать, романтического ужина с водкой и любимой им жареной картошкой. И всегда ему хотелось именно в этот момент, перед последней невымытой тарелкой, а то, что она ждала этого уже долго, не имело никакого значения, он тянул ее и не хотел уже потерпеть и минуты. До него Стобур долго ворочался в кровати и, наконец, решивший, что ему так просто не заснуть, шептал, поворачивая ее на бок, «иди сюда». И, кажется, Сковорода на скамейке — тоже сказал. И даже партизан Лученко говорил, оставляя ее в классе, и Вольнов, конечно.

— Иди сюда, — повторил Хирсанов. — Иди.

«Я иду «сюда» и никуда не прихожу. Уже так долго».

Ее куда-то тянули, она должна была идти, словно босиком по горячему песку, идти к нему, соединяясь с ним, с его плотью, с его желанием. «Иди сюда», — говорит мужчина женщине и тянет ее к себе.

«Я им говорю — «иди ко мне», а они говорят — «иди сюда». Почему?»

— Почему ты говоришь «иди сюда»? — спросила она, подходя к Хирсанову. — Почему? Ты не можешь сказать, что меня любишь? Потому что любовь требует уважения, слов, а у тебя их нет. Просто нет. Ты меня не ласкаешь. Я не против — я просто говорю. Говорю то, что думаю.

— Это не всегда надо делать, ты же умная, девочка... иди сюда.

«Я знаю, почему им нравятся эта поза, они ее выбрали до всякой камасутры — не надо смотреть в глаза. Почему им? Она и мне нравится тоже. Поэтому же. Да. Поэтому же. Так. И мне хорошо, что не надо смотреть на него теперь».

Когда все это происходило, Тулупова никак не могла сосредоточиться, она вдруг вспомнила, что не заплатила за квартиру, «кажется, уже за два месяца». Она старалась сбросить, как наваждение, навязчивую идею о просроченном платеже, который ничем ей, впрочем, не угрожал, в этом не было ничего страшного, но они еще больше лезли в голову — «кажется, уже два неоплаченных месяца» не давали ей ничего почувствовать и забыться. И слово «кажется» было особенно противно, потому что оно тянуло за собой воспоминание о посещении сбербанка, и она думала, заплатила ли за квартиру, когда платила за телефон, или нет?

— Подожди, подожди, подожди, Кирилл, — сказала Тулупова, отстраняясь от Хирсанова, и тот подумал, что Людмила хочет растянуть удовольствие. — Давай еще выпьем. Немного.

Людмила взяла бутылку виски и быстро разлила по стоявшим рядом стаканам. Они выпили. Людмила прижалась к Кириллу, чмокнула его в грудь и успокоилась про неоплаченную квартиру.

— Как тебе? О чем ты думаешь? — спросил Хирсанов, он любил, чтобы его хвалили.

— Неужели о неоплаченной квартире, конечно, о тебе. Какой ты сильный, Кирилл. Почему ты такой сильный? В твои-то годы...

«Как хорошо врать, — думала Тулупова. — я теперь всегда буду врать. Всегда. Беззастенчиво врать».

И как только она так подумала, ей очень захотелось его.

«Он — мужчина, а я — женщина. И это всегда хорошо и не бывает плохо. Вранье спасает нас, мужчин и женщин, может, именно между нами оно и возникло впервые — вранье, ложь всякая».

— Что ты говоришь своей жене, когда вот так уезжаешь? — спросила Тулупова,

теснее прижимаясь к Хирсанову и продолжая думать о сладостном вранье и о том, что, разрешив себе врать, почувствовала себя хорошо и свободно.

— Она все знает. Ей все равно. Мил, твоя грудь, она всегда у тебя такая, — Хирсанов прильнул к ней. — Мил, я ни у кого лучше не видел, честно... ты просто...

— Ладно, не ври. Я — не верю.

— При чем тут «верю — не верю», это так. Честно. Твоя грудь — великолепна.

— А Новый год ты будешь справлять с женой?

— С тобой. Вот так вот нырну сюда и под бой курантов...

— Ври. У тебя красиво получается, — сказала Людмила, вкушая всю могучую окрыляющую силу любовной лжи, и одобрительно потрепала Кирилла за волосы.

— Иди сюда.

Когда, завернувшись в цветные простыни, Хирсанов с Людмилой прошли в бильярдную, Ниханс и Яна, видимо, устали их ждать, гоняя в полумраке шары по зеленому сукну.

— Ну и долго же вы! Чего это вы там делали, Кирилл Леонардович? — ехидно подсмеиваясь, сказала Яна, ударяя кием по шару.

Ниханс был хмельной, но взглянул на Хирсанова, трезво оценивая, проглотит ли такую двусмысленную интонацию его высокий московский покровитель.

— А вы без нас скучали? — подхватил тон Хирсанов.

— Я скучала очень. А что? К тебе надо было прийти спинку потереть?

— Ах, Янка-хулиганка! — сказал Анатолий Ниханс, подходя к столу для удара по шарам. — Сейчас ты получишь.

— Как? И что я получу?! Рассказывай!

«Она не замечает меня, будто меня здесь нет», — подумала Людмила.

Хирсанов предложил Людмиле сыграть в бильярд, она отказалась. Сказала, что не умеет и не хочет учиться. Он настаивал, но без азарта.

Переместились к столу, налили и шумно выпили, Людмила не очень понимала, что они пьют, но бутылки были красивые, разные, ими был заставлен весь низкий большой стол, расположенный рядом с тяжелыми кожаными креслами. Людмила хотела навести какой-то порядок на столе, но Ниханс ее остановил и крикнул:

— Нюра!

Не дождавшись ответа, он взял бильярдный кий и пару раз стукнул им по деревянному потолку. Через минуту сверху спустилась полная, с сероватым лицом, деревенская женщина в платке и стала убирать со стола.

Не поднимая головы, она собрала использованные салфетки, кожуру от мандаринов, вытряхнула пепельницу, по-новому переложила мясную и сырную нарезку, освободив несколько тарелок, протерла поверхность стола, заменила рюмки и стаканы для виски. Всем своим видом и проворными отточенными движениями она показывала, что не осуждает, но уже не участвует в этом бессмысленном состязании мужчин и женщин. Она уже все испробовала, была когда-то образцовой женой, прекрасной матерью, великолепной хозяйкой, все правильные женские роли были ею уже сыграны, теперь она только убирает здесь, в мире, где еще существуют те и другие, живущие вместе и ничего не понимающие друг о друге, где продолжается — это.

— Нюр, обнови нам все, — гордо сказал Анатолий Ниханс, наслаждаясь тем, что и ночью у него дома есть прислуга.

— Горячее? — тихо спросила Нюра.

— Да, — распорядился Ниханс.

Когда Нюра вышла из бильярдной, Ниханс рассказал, что Нюра живет у него уже почти три года, она — русская, приехала из Узбекистана, где прожила всю жизнь, а теперь там русским жить невозможно. Мужа давно потеряла, дочь пропала, наверное, украли. Тулуповой стало неуютно и даже зябко от этого короткого и, по сути, совсем рядового для нынешней жизни рассказа. Она инстинктивно прижалась к Хирсанову, как будто ее сейчас могли забрать в чужую враждебную страну.

Через несколько минут Нюра принесла на большом блюде мясо с зеленью и отдельно рис, и теперь было понятно, почему подала именно так, по-узбекски.

Она ушла, а Хирсанов стал рассуждать о том, что русскому человеку надо пройти восточную обработку послушанием, подчинением, он становится лучше; сегодня русский этнос собирается вместе с разным накопленным опытом, в том числе и в агрессивной среде, и это хорошо для какого-то там будущего. Его никто не слушал — ели мясо. Ниханс решил, что Хирсанова повело с выпитого, и предложил идти париться. Тулупова замотала головой — нет, а мужчины и Яна пошли в парилку.

Пока они парились, Людмила, поджав ноги, поплотнее завернувшись в простыню, разглядывала свои ступни. Она очень редко делала педикюр, на это не было денег, но ей очень нравились пальцы, правильная форма ногтей, их цвет. Ее всегда интересовало, как маленький палец ступни братски прижат к своему соседу, который на ногах не имеет названия, и все они особым способом соединены и образуют скульптурную группу, все вместе — ступня, она не может шевельнуть пальцем отдельно, вместе они красивы. В форме ступни, такой функциональной, такой не для показа, она особым образом угадывала себя, свой характер и даже судьбу. Не может быть, чтобы в ногах не отпечаталось ничего из того, где ты оказывался, шагая по этому свету, по земле. Она смотрела и будто вспоминала, как своей маленькой ножкой ходила в Червонопартизанске по небольшому приусадебному огороду с длинной и узкой грядкой моркови и лука, одной грядкой огурцов, десятью томатными кустами, жирными красными георгинами и золотыми шарами, так назывались эти высокие желтые садовые цветы, растущие вдоль всех заборов районного центра.

«Людочка, куда ты? Куда ты, Людочка, ножки будут грязными, грязными будут ножки... Нельзя, Людочка, нельзя туда ходить, нельзя без сандаликов! Павлик на небе все видит и таких плохих девочек не любит».

Она слышала чуть сердящийся голос матери — молодой, как она теперь понимала, женщины. Он всплывал в памяти. Она ясно видела свои детские ножки в теплом, подсыхающем после полива черноземе. Ее останавливало от озорства, пугало произнесенное вслух имя умершего мальчика.

Хлопнула дверь сауны. Отжимая волосы рукой, Яна, не стесняясь, вышла голая и мокрая, раскрасневшаяся, с экзотичной стрижкой на лобке, с тату дракончика на бедре и иероглифом на ноге, раньше Тулупова его не замечала.

«Она красивая».

Из-за двери были слышны громкие мужские крики и всплески воды в бассейне.

— Что смотришь?! Чего не видела?!

Тулупова отвернулась.

— Ты из Москвы? — жестко, по-милицейски спросила Яна.

— А что?

— И сюда ехала? — спросила Яна, но тон и не предусматривал вопроса. — И что?

— Ничего. Попарились хорошо? — примиряюще сказала Тулупова.

— Хорошо, — отрезала Яна. — Попарились что надо. Давай мужиками меняться. Мне твой барбос понравился. Где ты его отхватила? У немца тоже мачта стоит нормально — не пожалеешь.

Тулупова подняла голову и посмотрела такими глазами на Яну, что та сразу ретировалась:

— Ладно. Не будь учительницей! Шутка. Я им там двоим минетик уже сделала — можешь уже со своим не трудиться...

Дорогой Павлик! Тут, знаешь, такая история со мной — я сбежала, можно сказать. От мужчины. Первый раз в жизни. Сбежала и вот. Как я на это решилась?! Одна женщина из Узбекистана, русская, хорошая, проводила меня от дома до станции. Мы шли. Не знаю, как определить это, но я, как разведчик, шла, будто возвращалась из-за линии фронта после задания. Ни о чем не разговаривали. Молча шли и шли. И все было сказано. Просто, я чувствовала себя еще несчастнее ее, хотя куда еще. У нее ни кола ни двора, ни детей, ни мужа, один Бог только. Если он есть, прости меня, Господи, за мои мысли, но как ей-то жить. И я вот стояла потом на платформе одна и думала. Станция назвалась «Светлый Яр». Яр — это что — обрыв? Да?

Кажется. Утро. Никакого обрыва нигде. Степь, как у нас в Червонопартизанске или у вас в Желтых водах. Умеют у нас называть. Назвали — и привет, до свидания, живите. Стою, уже осень и холодно уже. В холод всегда приходят холодные мысли. Такие четкие и горькие, как лекарство. Куда меня всегда несет, куда, дуру старую? Меня, как рыбу ловят. Ее ловят на червяка — а меня на любовь. Червяк болтается у рыбы под носом, она видит, наверное, что болтается странно как-то, даже видит еще точно жало крючка, оно поблескивает, но хочется и все. Вот хочется любви и все. А зачем мне она? Зачем мне любовь эта? Что в ней такого? Ничего. Все видишь — а вот что получается. Подошел поезд, я села в холодный вагон электрички, еще там форточки пооткрывали все, но я не пыталась их закрыть. Понимаю, что простужаюсь, а ветер в лицо — и знаешь, приятно. Вот она, моя новая жизнь. Ужас. Нет, не ужас, а просто. Крикнуть хочется, а звука нет. Нечем. Потом я перешла в другой вагон. Там тоже форточки открыты — молодежь, наверное. Им все жарко. Потом нашла вагон, куда все пассажиры забились, те, кто так рано, в субботу, едет. Народу мало — от Москвы это далеко. Я смотрела в окно, и ты знаешь, думала, что вот слева и справа вроде одно и то же, все тот же Яр какой-то, или какой-нибудь Светлый лес, или чего там — не знаю, а вот так: мужчины — это одно, а женщины — другое. Какую-то глупость написала. Но, в общем, я хотела сказать, что я смотрю, и мне кажется, что все разделено, я не знаю почему, но вот все разделено, абсолютно все. Деревья, земля, поля, вот все-все, что видишь — это или мужчина, или женщина. И даже шкаф, кровать, тумбочка, табурет, стиральная машина. Я сейчас посмотрела на свою кухню, где сижу, и вижу точно: все то же — или «он», или «она». Вот все. Есть только мужчины и женщины, есть тумбочка мужчина и тумбочка женщина. Почему нет? И табуретка. Вот она стоит одна — и все ясно с ней. Ей плохо. Вот подставила рядом еще одну — и другая картина. Они вместе. Почему нет? Мы просто этого не знаем — и все. И им нельзя друг без друга, только рядом они могут быть, им надо быть вместе. Я смотрела — стекло в вагоне электрички грязное — и береза слева, и береза справа, озерцо какое-то, все быстро, все сливается от скорости, не можешь разглядеть, но я вижу, что это «они» и «мы». Бестолковые бабы. Которым нужна любовь до последнего. Опять глупость. Конечно, это глупость, но я уже столько глупостей тебе написала, что, если будет еще одна, ты, Павлик, не обидишься, я знаю, и поймешь. И еще я ехала и думала, чего я испугалась, что он, мой кремлевский парень, он что — святой, я же про него ничего не знаю, так, только все с его слов. Сказал — я поверила. Значит — так. Он мне ничего не обещал, я ему — тоже. Вот мой папа, он любил мать? Я не знаю. Наверное, любил. А может быть, и нет? Все смеются над той теткой, что по телевизору в телемосте с американцами сказала в горбачевские времена: «В Советском Союзе секса нет». А ведь правду сказала, правду, какой секс за шкафом в Червонопартизанске? Какой?! Там была только любовь. А секса, действительно, не было. Любовь была. Я вот раньше считала, какая может быть у моих родителей любовь, он выпить любит, да и вообще, а вот вместе прожили столько лет. Любовь была. Может, и без секса. Матери, по-моему, вообще это не было нужно. Хотя я не знаю, никогда об этом не разговаривали. Никогда. Я с Виктором года не прожила и ничего не понимаю в этом. Потом электричка приехала на Казанский вокзал. На Курском вокзале полно милиции. С собаками ходят, ищут бомбу или террористов — не знаю. Я вышла и иду по перрону. Нас поторапливают — быстрее-быстрее, а мне очень захотелось погладить собачку, просто ужасно хотелось. Я подошла к милиционеру и спросила, можно мне ее погладить, а он посмотрел на меня, как на сумасшедшую, и сказал... Все, заканчиваю, ключ в двери крутят — Сережа или Клара... Оба, вместе пришли. Пока, Павлик, буду их кормить. Их — я люблю.

32

Выпал снег. Он был первый. Радостный.

Тулупова шла по лужам к метро с каким-то необычным волнением и счастьем. Ее мысли крутились, как падающие большие мокрые снежинки, вокруг простого вопроса: что ее ждет этой зимой? Вопрос простой, но со сложным ответом: она теперь не будет зимовать, как медведь, в своей квартире, а будет ходить на выставки,

на каток, на лыжах, может быть, с Вольновым. «...а почему нет, он должен любить лыжи, он лыжник, нет, он должен любить свою жену лыжницу, пусть он ее любит, а я буду ходить одна, буду любить только лыжи, а не Вольнова». Бесконечно долго повторяя слово «лыжи», она втягивалась в новое время года, в зиму, в ее первые дни. Такую светлую, бодрящую, здоровую. Подойдя к станции метро, у самых дверей она стряхнула снег со своего любимого розового с фиолетовыми вставками берета и тут же задумалась о том, что будет носить, что непременно надо бы купить. Она спускалась по эскалатору и подсчитывала, сколько будет стоить обновление гардероба теперь, когда цены подпрыгнули. Потом пришли мысли о зарплате, о том, что она материально ответственное лицо и ей могли бы прибавить, тем более что уже два года она получала эти деньги и редко премии — все. Больше ни копейки. Она представляла, как встретит ректора института в коридоре или сама подойдет в приемную и запишется. Она ехала в людном вагоне, мысленно перебирая свои зимние вещи в шкафу — что еще можно носить, а что — нельзя. И почти за каждой вещью стояла история, а иногда и мужчина. И потом она придумала сцену: прийти к ректору Василию Трофимовичу со всеми своими вещами и сказать, Василий Трофимович, вы мне скажите, я должна в этом ходить до конца своих дней и умереть в этой кофте, купленной еще при Авдееве? Или вы мне прибавите? «Я не могу — мы на бюджете, у нас и так, как у творческого вуза...» А она ему: «Вы ректор или вы кто?» — «Или кто! А кто такой ваш Авдеев? Пусть он вас одевает». — «Его нет. Он спился. Я одеваюсь сама, вы посмотрите — тут носить нечего. Вы хотите, чтобы книги студентам выдавала бомжиха в обносках и тряпье?» — «Я ничего не хочу!» — «Оно и видно». — «Выдавайте книги, хоть голой!» — «Это мысль». Она придумывала этот невозможный диалог с ректором, и было очень весело. Когда вышла из метро наверх, она снова удивилась всему белому вокруг — первому снегу, который падал и здесь, у этой станции, в этой части Москвы, и было так хорошо на душе, что, проходя мимо охранника Олега, она неожиданно сказала вместо «здравствуйте»:

— Олег, со снежком!

— Да, Людмила Ивановна, со снежком. С первым!

От Вольнова пришло короткое письмо по электронной почте: *«Куда пропала? Звонил вчера — ты была вне зоны доступа».*

«Они как звери чувствуют на сотни километров борьбу за самку. То никого, а то «куда пропала?»»

«Никуда я не пропадала. Вот она — я. Снег выпал. Ты будешь со мной ходить на лыжах этой зимой? Или тебе только ЭТО надо, мальчик мой?»

Хирсанов въехал в Москву тем же утром по первому снегу. Вернее, он не въехал, а его привезли.

— Пора, пора, мне пора. Все. Все. Не хочу, — на разные лады твердил он всем, отказываясь от рюмки на посошок, от рассола, облегчающего душу, от поцелуев и объятий. — Пора! Все!

За два воскресных дня он так устал от типового банного сюжета, известного до деталей и прописанного с тщанием Анатолием Нихансом, что не решился вести машину сам. ГАИ он не боялся, но после бессонного застолья садиться за руль было безумием. Ниханс нашел ему молодого парня, водителя, который согласился за небольшие деньги отвезти его в Москву на хирсановском джипе и вернуться поездом обратно. Наконец, ворота открыли и поехали.

Хирсанов сидел рядом с парнем, имя тотчас забыл, иногда проваливаясь в сон, потом вздрагивал и просыпался, сидел с закрытыми глазами и корил себя за неподобающую его возрасту и положению жизнь, и с ужасом вспоминал Яну и ее крупнозадую подружку Наташу, которая пришла на другой день, когда Тулупова уехала. Он думал, что Людмила его любит, что она хорошая, добрая женщина, с такой фигурой и грудью, что ему ничего не надо искать, только остановиться, причалить свое старое суденышко — снять бы для нее квартиру да жить на два дома, не разводясь и не бросая больной жены. А летом можно даже поехать вместе в Италию к Франческо Читто.

Он вспоминал Италию и своего, как иногда думал, друга-переводчика, а может быть, агента или шпиона, с которым познакомился еще в перестроечную пору. Читто,

вразрез жадным итальяшкам, кормил и поил его две недели, возил по стране. Хирсанов подозревал его в том, что он приносит отчеты о разговорах, а счета за их ресторанный разгул оплачивает казна. Он представил, как Людмила обрадовалась в первый раз поехать за границу, да еще сразу в Италию, в помпезный и свойский Рим, потом могли бы проехать в Венецию. Эта женщина казалась ему спасением, торжественным и заслуженным покоем. От нее пахло детством, надушенным одеколоном пионерским галстуком, чистотой школьной библиотеки, где он навсегда был лучшим.

Застойные запахи советских книг, расставленных по полкам, он узнавал за версту, и ему опять вспоминалось эротическое: «дайте — возьмите — спасибо». Он думал, что библиотекари — самая низшая интеллектуальная должность в России, что они из тех, кто до самого конца верит в слово, в книгу, в писателя, интеллектуала, интеллигенцию и в него, конечно, в него. Вот скоро окончательно победит интернет, на просторах которого они познакомились, и ничего этого не будет, не будет никакой Людмилы Тулуповой и стеллажей, будут запросы, клики, прикрепленные материалы. А он будет где-то доживать старость на свои приготовленные для этого миллионы в теплой стране, может быть, в Италии и, может быть, с Тулуповой. Он будет кидать камешки в море и рядом, почему бы и нет, с ним будет она. И тогда уже окончательно ничего не останется, все исчезнет, от библиотечной стойки не будет и доски. Будет море, песок, старость и бывшая библиотечка, благодарная и заботливая, маленькая, как бы переносная, с большой теплой грудью.

Перед Москвой, километров в шестидесяти от нее, Хирсанов попросил водителя найти место потише, у леса, и встать — хотел продышаться. Он вышел из машины и спустился по первому снегу с придорожного откоса, походил по лесу, наслаждаясь морозцем и свежим воздухом, а затем вернулся к машине, достал из багажника портфель с ноутбуком. Открыл. По мобильному трафику зашел в интернет, быстро просмотрел пришедшие деловые письма, а затем зашел на сайт знакомств и написал Тулуповой:

«Прости, Мил, ничего не было. Я просто был пьян. Чего ты уехала? Я не хочу тебя терять. Что для тебя сделать?»

Как только он отправил сообщение, рядом с фотографией Людмилы Тулуповой появилась красная надпись «Сейчас на сайте». А еще через минуту он получил ответ: «Ничего. Надеюсь, тебе было хорошо».

Хирсанов не хотел просить прощения, не хотел писать, объяснять — голова сопротивлялась любому умственному напряжению, но интонация обиды читалась так отчетливо, что ему пришлось напрячься, и он написал:

«Кто знал? Я ничего не планировал — мы ехали к другу. И вообще я тебя не обманывал — все как есть. Меня надо любить таким, как я есть».

«И меня», — получил он тут же ответ.

«Что тебе не нравится?»

«Мне нравится все. Проблем нет», — написала Тулупова.

«И у меня нет».

«Забыли. Ты уже на работе? Обещал дать почитать что-нибудь... Больше к этому не возвращаемся. Хорошо?!»

Людмиле не хотелось выяснять отношения: было и было. Хотелось поставить жирную точку и больше не вспоминать, в конце концов они взрослые люди и этим как будто что-то сказано.

Хирсанову понравилось, что она освободила его от необходимости подбирать слова, оправдываться, он подумал, что Мила молодец, и написал, быстро вспомнив, что в его ноутбуке наверняка что-то есть из прошлых обзоров:

«Все. Забыли. Куда тебе прислать? На какую почту?»

Тулупова тут же прислала свой личный электронный адрес.

— Кирилл Леонардович, — спросил его водитель, — вы резину меняли, у вас зимняя?

— Всесезонная. Сейчас едем, — ответил Хирсанов, понимая, что парень своим вопросом аккуратно его торопит.

Хирсанов скопировал пришедший к нему e-mail и через свою почту отправил ей файл, который он и не стал открывать, с названием «Обзор недели 12 — 19 — 09».

Через минуту на своей почте Тулупова нашла письмо с одним предложением: «Милка, я тебя люблю, ты знаешь» и прикрепленный файл, который она тут же открыла и начала читать, даже не обратив внимания, что в углу было написано «Совершенно секретно. По утвержденному списку № 0».

«По вашему поручению, в развитие сценарной разработки под рабочим названием «План разведения мостов» специальной аналитической группой в составе Мирзояна И.В., Хирсанова К.Л., Свиридова А.Б. разработаны конкретные рекомендации по управляемому разделению властных элитных групп (кланов), рассчитанные на ближайший предызбирательный период.

Задачей данной политической разработки «Плана разведения мостов» является преодоление застойно-стагнационных явлений в российской политической системе и стране в целом, разделение правящего класса на две реально конкурирующие и контролируемые друг друга властные группы, полностью готовые к управлению страной, всеми ее институтами, включая основные силовые блоки — армия, правоохранительная система, службы безопасности и пограничного контроля. План позволяет окончательно и сравнительно безболезненно завершить процесс реформаторских преобразований и структурных трансформаций, начатый в предыдущие периоды Горбачева — Ельцина, институализировать общественные процессы и сформировать реально работающую двухпартийную систему, на основе сложившихся работающих мировоззренческих и политико-экономических мифов, укоренившихся теперь в России.

Проработка идейной составляющей этого процесса не представляет сложной задачи для проектной группы и, по сути, опирается на глубокую традицию российской истории с ее парной радикализацией: западники — славянофилы; белые — красные; либералы — традиционалисты; государственники — модернизаторы. В настоящее время идейное разделение не является задачей номер один, хотя на более позднем этапе такая проработка избирательных мифов и концептуальных платформ будет иметь большое значение. Но эта задача будет стоять перед уже разделенной на противоположные берега и реально функционирующей элитой. Теперь наиболее объемной задачей является технология принудительного разделения промышленно-финансовой элиты, бизнеса, силовых структур и политического руководства на две необязательно равные части, но в обязательно жизнеспособных пропорциях.

По нашему мнению, такое разделение возможно только под давлением компрометирующих материалов и жестких административных решений политических лидеров, которые сами будут комплектовать свои проектные площадки.

«План разведения мостов» позволяет разделить коррумпированную, сросшуюся с бизнесом и властью элиту и начать реформы как бы с чистого листа, без сведения счетов с различными кланами и с установлением единых правил игры, которые приведут к самоочищению и эффективному управлению, к реальной политической и экономической конкуренции, без потери властью лица. Навсегда снимется «проблема третьего срока», проблема преемственности власти. С момента разведения мостов будет установлена временная точка отсчета, когда вступает в действие новая система, работающая через суды и законы. Контроль одной группы над другой обеспечит появление взаимозависимой власти, снизит уровень коррупции и даст толчок цивилизованному развитию бизнеса, который, если и будет тесно привязан к одной из групп, контролироваться будет оппонентами.

Разведенные по разным берегам элитные группы, в составе каждой из которых должна быть силовая составляющая, банковская, промышленная и административно-политическая, будут бороться за власть и основные финансовые потоки с разных идейно-политических и мировоззренческих позиций. Для чего планируется разделить существующие медийные ресурсы, включая основные федеральные телевизионные каналы, так же по разным берегам, предложив им работать в рамках сформированных трендов. Именно там и должна быть создана и отработана в различных медийных форматах идейная концепция разведения мостов, помогающая населению самоопределиваться по берегам, по сути, одной властной реки.

Самым сложным в данном проекте представляется определение персонально-

го состава «берегов» и правильное разделение административного, финансового и властного ресурса. Берега должны быть устойчивы, самодостаточны и многовекторны. Их формирование это учет многих важнейших характеристик, включая и личностные качества, и реальные финансово-властные связи. Далее мы предлагаем приблизительный персональный состав первых лиц и указываем те «проблемные участки» в их биографиях, которые могли бы использоваться при принудительном разделении элиты по берегам. Только такой персональный набросок позволяет представить этот сценарный план более конкретно и увидеть контуры формируемых берегов...»

Дальше Людмила Тулупова читать не стала, ей было неинтересно, она не понимала, о каких берегах и реках идет речь и почему людей надо делить, когда они никогда ни на что не делятся. Она пролистнула несколько страниц и увидела, что документ заканчивался списком фамилий с должностями и развернутыми пометками рядом, набранными мелким кеглем.

«Вот чем они наверху занимаются! Ничего необычного — как всегда, делят власть», — про себя удивилась Тулупова.

Недолго рассуждая, она решила послать этот текст Вольнову, от которого на сайт пришло сообщение:

«И ты на лыжи! Не говори при мне слово «лыжи», а то я сблюю. Мне — только ЭТО. С тобой. В последнее время. Лучше ЭТОГО ничего нет. Не придумали еще, со времен царя Тулупа».

«Ты спорил, что такие люди на сайте не сидят. Я на твою почту отправляю то, что он мне прислал. Вот такие люди меня любят, мальчик мой, а ты со мной на лыжах идти отказываешься. Про царя это ты правильно».

Через несколько минут материал с грифом «Совершенно секретно» был на электронной почте Вольнова и пролежал в прочитанных письмах до самого вечера.

Хирсанов ехал в Москву, продолжая похмельно думать об Италии, о почетной старости у моря, о том, что жизнь его в общем-то складывается неплохо. Да, за успех в одном месте надо заплатить в другом, но главное, чтобы счета, по крайней мере, совпадали. Ему это удалось, он — счастливый человек, удачливый в целом, личная жизнь как-то не очень, но судьба к нему благосклонна, и теперь он может купить десяток молоденьких ян или наташ, но они ему не нужны, а может взять одну несчастную, хорошо сохранившуюся Тулупову и подарить ей и себе счастье. Вот так просто взять и подарить. Он может выбрать теперь то, что ему нравится, и не страдать от одиночества, и не казаться, и не ждать, он все может. Он вспомнил о работе, о том, что, если проект их группы пойдет, он будет не на берегах, а в самой реке, на капитанском мостике, ближе всех к капитану, и это даст ему такие возможности, что...

— Останови, я забыл, как тебя зовут.

Хирсанова прошиб пот, голова приобрела такую ясность и четкость, что от бессонной и пьяной ночи не осталось и следа.

— Иван.

— Иван, останови!

Хирсанов выскочил из машины, открыл багажник и достал из портфеля компьютер. Он неожиданно вспомнил, что однажды, кажется, один из черновиков проекта, самый первый и чуть ли не самый важный, сохранял под именем недельного обзора, ему тогда было лень создавать отдельный файл, и он решил, что пока перенесет текст в один из обзоров, а сам обзор удалит. И неожиданно он засомневался: не этот ли файл он послал Тулуповой? Пока ноутбук протрескивал свои программы, Хирсанов еще надеялся, что не сделал роковой ошибки, но затем в два клика убедился, что именно этот файл он и отправил. Его охватил такой силы отрезвляющий страх, заставляющий мозг работать быстрее всех компьютеров, что от прекраснотушия и путаных мечтаний не осталось и следа. Он тут же набрал мобильный номер Тулуповой и, стараясь не выдать своего волнения, стал с ней говорить.

— Мила. Это я. Ты на работе?

- Да.
- Хорошо. Письмо мое получила?
- Да. Очень интересно.
- Так, — Хирсанов говорил, будто из диспетчерской службы руководил молодой тупой стюардессой, сажающей самолет на аэродром. — Хорошо. Компьютер рядом?
- Я сейчас занята. Подожди. А что?
- Все брось и подойди к нему. Подошла? Он открыт?
- Он в спящем режиме. А что случилось?
- Открой.
- Открыла. И что?
- Ты никому не давала читать это?
- Нет, — сказала Тулупова, даже на самом деле забыв о Вольнове, да если и вспомнила бы, не могла бы сказать Хирсанову ничего.
- Получилось убедительно.
- Теперь выдели то, что я тебе послал, и удали. Перенеси в корзину и удали. Я хочу слышать звук, когда корзина на твоём ноутбуке...
- ...у меня обычный компьютер... — поправила Тулупова.
- Неважно. Я хочу, чтобы я слышал этот звук! Мне нужно быть уверенным...
- Тулупова водила мышкой по экрану монитора, и через некоторое время Хирсанов услышал характерный звук очищенной от файлов корзины.
- Все. Ты слышал? — сказала Тулупова.
- Да. Теперь удали мой электронный адрес из «входящих», а затем очисти корзину почты.
- Зачем? — спросила Тулупова.
- У тебя нет вопросов получше? — сказал Хирсанов. — А теперь забудь, ничего не было, ты ничего не читала и ничего не знаешь. Все! Ты поняла?
- Что я поняла?
- Все.
- В каком смысле? Между нами — все?
- Между нами все отлично, если ты все сделала, как я просил. Все отлично. Пока, Мил, никому ничего не рассказывай. Ничего не было, ты ничего не знаешь. Пока. Я тебе позвоню.
- Хирсанов вспомнил все, что говорил ей, как бы оценивая свои действия: кажется, самолет удалось посадить на полосу без видимых повреждений. Он закрыл свой ноутбук, удалив перед этим переписку с Тулуповой, и снова сел в машину. Взглянул на водителя, не понимавшего, что происходит. Он решил, что теперь может вести машину сам и хочет в ней быть один.
- Сколько до Москвы? — спросил он.
- Полчаса, наверное.
- Километров?! — почти крикнул Хирсанов.
- Тридцать пять. Как движение пойдет, может, и быстрее...
- «Какой услужливый идиот», — подумал Хирсанов, и ему захотелось быстрее от него избавиться.
- Тут хотя бы автобусы к вам? Я уже сам готов вести машину.
- Да, но я думал заехать в Москву, раз уж я...
- Это как хочешь. На ближайшей остановке выйдешь, я с тобой рассчитаюсь и все. За все спасибо. Понял?
- А-а нельзя ли с вами...
- Будет так, как я сказал. Дальше езжай куда хочешь...

Часов около семи, когда редакционная жизнь постепенно замерла и по домам разошелся технический персонал, Вольнов увидел на мониторе неоткрытое письмо от Тулуповой. Прочел то, что она написала про лыжные прогулки, улыбнулся и открыл прикрепленный документ.

Сначала слова не очень обнажали смысл: *«По вашему поручению, в развитие сценарной разработки под рабочим названием «План разведения мостов» специальной аналитической группой в составе...»* — читал он.

В отличие от Тулуповой, Вольнов прочел весь документ до конца, вникая и в тонкости набранного мелким шрифтом. Рядом с известными и очень известными фамилиями стояли приписки «есть материалы: крышевание строительного бизнеса в период пребывания на посту мэра с 1998 по 2004 год» или «есть материалы: будучи членом Совета Федерации, завладел обманным путем акциями ряда рыбоперерабатывающих предприятий; рыночная стоимость — 3,2 миллиарда долларов» или «материалы в работе: в качестве взятки получил в 2007 году контрольный пакет металлургического холдинга», «есть материалы: возглавляя Комитет по международным делам, приватизировал на членов своей семьи несколько объектов недвижимости СССР в Праге, Варшаве и Будапеште» и в таком духе «есть материалы — материалы в работе» на полутора десятках страниц. Несмотря на то что Вольнов всю свою профессиональную жизнь занимался спортом, писал о нем, думал о нем, переживал за победы и поражения советских и российских команд, он, как и большинство народа России, представлял все достаточно ясно, объемы воровства, взяточничества, криминализации и всего остального. Да, страна больна — но что он может сделать. Он всегда радовался, что пишет о спорте, — как ни крути это честное дело, далекое от политической грязи, хотя теперь и в спортивных разведках пахло не только потом тренировок, но все же это не похоже на удушливый смог циничного политического торга, борьбы спецслужб, денег и вопиющего беззакония. Он гордился своим профессионализмом: в спорте «наши» бьют «ненаших» и он умеет об этом рассказать. И все, и ничего больше. Ему все известно про страну — иллюзий не оставалось, но была надежда — вдруг он ошибается. И вот — перед ним лежал полный, готовый к следствию материал. Этой информацией владели на самом верху, она существовала в таком объеме и расписана на десятках страниц. Вольнов откинулся в кресле и осмотрелся по сторонам — стало страшно. Страшно читать и знать, даже страшно смотреть на монитор и понимать, что эти буквы и цифры могут иметь очень высокую цену, включая жизнь. Его жизнь.

В большом зале современной редакции уже почти никого не было. В противоположном углу молодые девчонки из отдела писем залиvisto смеялись, за стеклянной дверью главного редактора свет не горел. Вольнову было понятно, что сегодня и сейчас уже ничего не надо делать. Он посчитал, что это даже хорошо, что уже вечер и нет нужды горячиться и торопиться с выводами. И вдруг его осенило, что документ он открыл через редакционный сервер, а значит, его уже так просто не уничтожить. Вольнов взял чистый DVD-диск, скопировал на него файл, присланный от Тулуповой, и написал на нем красным фломастером «Статистика футбольной лиги за 2007—2010», рядом поставил три жирных креста, чтобы потом не перепутать, и положил в папку с бумагами рядом с компьютером. Потом он задумался, застыл перед монитором, тупо разглядывая горизонт, облако и зеленую гору на фотографии рабочего стола, и решал, что ему делать и чего не делать. Он вспомнил, что где-то в ящиках стола ему попадалась флешка от фотоаппарата, он порылся, нашел и еще раз записал на нее хирсановский документ. Вольнов решил, что сохраненный таким образом документ имеет большие шансы быть не утерянным. Затем он встал со своего кресла и, посматривая по сторонам, прошелся возле пустующих рабочих мест с компьютерными столами. Подойдя к одному из них, он бросил флешку в глубь приоткрытого ящика одного из сотрудников и сознательно постарался запомнить его месторасположение и то, что было рядом: календарь известной рыболовецкой компании, ручка на рыжем шнурке и рекламная наклейка на стекле перегородки — летящий ангелочек с крылышками. Вольнов не очень понимал, зачем он так поступает, но докладная записка, как он решил, самому высокому лицу страны произвела на него такое сильное впечатление, что детективный характер его поведения возник сам собою, из воздуха. И еще из страха, большого страха, он даже не подозревал, что так рядом, так близко с ним, с его свободой находится это неспортивное чувство.

Он вернулся на свое место и удалил письмо, полученное от Тулуповой, вместе с

документом, пришедшим с ним. Очистил корзину, а затем удалил всю короткую переписку с Людмилой.

Что с этим делать — эта мысль не давала ему покоя. Просчет вариантов продолжался и тогда, когда он вышел из здания газеты, сел в машину и направился домой. Только теперь он вдруг вспомнил о Тулуповой, о том, что ей можно позвонить и узнать что-то дополнительно.

— Привет, дорогая, — сказал он, когда Людмила Тулупова взяла трубку. — Говорить можешь?

— А почему нет?

— Может, ты у своего кремлевского друга в объятиях. Я откуда знаю?

— Ты ревнуешь? А говорил, что не знаешь, что это такое.

— Я не ревную — я переживаю.

— Да?! Из-за меня?!

— Ты сама-то читала то, что мне прислала? — не выдержав, прервал игривый тон Вольнов. — Читала?

— Не до конца. А что? Кстати, мой «кремлевский источник», так это называется, потом позвонил и сказал, что прислал это мне по ошибке, и просил, чтобы я все удалила из компьютера. Про тебя я не сказала ничего, так что ты удали — и все.

— Все?

— Все.

— Ты понимаешь, что за это могут голову открутить?

— Зачем им моя голова — я не знаю. Ты боишься?

— Я?

— А кто еще? Ты.

Вольнов вдруг задумался: боится ли он, в самом деле? И страх неожиданно, вдруг стал исчезать, он это почувствовал, как чувствуют первые капли дождя. Страх исчезал сам собой от игривого женского голоса, от ее спокойствия, от того, что он захотел к ней прижаться, от того, что Людмиле было совершенно все равно, что будет дальше, и он сказал себе — бояться нельзя, это неправильно.

— Нет. Я не боюсь. Может, мы это опубликуем? Как там поживает твоя гражданская позиция?

— Она живет одна. И скучает. Я политику ненавижу. Они там наверху о нас почему-то не думают, а мы о них только и говорим. И ты, мой мальчик, не плачь. Я не дам тебя в обиду и сохраню тебя для твоей семьи и побед в спорте.

— Тебе нравится говорить мне такие вещи?

— А какие — такие? Скоро Новый год, а мне, получается, встречать его опять не с кем. Ты видел сегодня снег?

— Видел. И что?

— Скоро Новый год.

— Что будем делать?

— С чем?

— С этой бумагой, может, мне ее опубликовать, пойти завтра к главному редактору?

— Это что-то изменит? Тебе это очень надо — опубликуй.

— Ты серьезно?

— А почему нет? Ты звонишь только из-за этой ерунды?

— Нет, — не в силах сказать, что только из-за страха он набрал ее номер. — Но у меня сейчас... в общем, я не один, она приехала.

Он всегда называл жену «она».

— Я это знаю. Ты мне говорил, я помню. Все?

— Все, — сказал Вольнов.

— Ну, пока, мой мальчик, пока.

Вольнов услышал холодные, разъединяющие их с Тулуповой гудки.

Он медленно, в пробке ехал по ночной Москве, и на ум приходили грустные мысли, которые невозможно было расставить по порядку. Одна мысль называлась Тулупова, другая мысль называлась — жена, третья мысль — уродская родина, четвертая называлась — ничего сделать нельзя, пятая — тоже имела свое название,

шестая — тоже, и так, казалось, до бесконечности, но, на самом деле, до двери дома, где все мысли обрывались и превращались в заботы. И в разговоры о них же.

34

Весь следующий день для Тулуповой, Хирсанова и Вольнова был совершенно виртуальный, он как будто был специально придуман для того, чтобы никто из них ничего не успел обдумать и изменить. День засасывал в глубокую вихреобразную воронку необязательных дел, встреч, звонков и покупок.

Людмила пошла на работу только к обеду, но встала рано, часов в шесть. Сна не было ни в одном глазу, но при этом необычайная бодрость и желание убирать, стирать, гладить, драить, мыть, готовить. Глаголы, обозначающие ее состояние, были именно такими. Она знала, что так с ней обычно бывает, когда она оказывалась в сложных жизненных обстоятельствах, — мысли исчезали вместе с чувствами, вместо них работало тело, каждый мускул. До завтрака она успела испечь пирог с вареньем, приготовить сырники, параллельно, стараясь не потревожить сон детей, разобрала полки на кухне, рассортировала и безжалостно выкинула все просроченные крупы и другие продукты. Потом, когда все проснулись, она отрегулировала очередность в ванной и обеспечила быстрый чай с заглатыванием всего, что она приготовила. Клара и Сергей вышли из дома без опозданий.

Хирсанов еще в ванной получил телефонный звонок из канцелярии, со Старой площади, что ориентировочно в два часа дня всю группу готов принять президент, и они должны быть на месте. После этого начались непрерывные разговоры с участниками будущей встречи и обсуждения того, что они должны взять с собой, какие бумаги и в каком виде. По телефону было принято говорить кратко, не упоминая имен и названий, так, чтобы было понятно только участникам разговора, и от этого разговоры выходили очень долгие и нервные. Мирзоян жаловался на здоровье и сначала вообще хотел избежать личной встречи, ему было шестьдесят четыре года, и он, бывший прокурорский работник, старался держаться в тени. Эта осторожность очень раздражала Хирсанова — взялся играть в большую игру — играй, не притворяйся больным. Свиридов был удивлен такой спешкой Старой площади и перезванивал по несколько раз с новыми идеями для предстоящего разговора. Когда Хирсанов почти собрался выходить, жена начала командовать из спальни, что он должен сделать для дома — давно обещал. Ей всегда надо было, чтобы он что-то купил, запомнил названия лекарств, которые вопреки здравому смыслу ей лень было написать на бумажке. Ее голос раздражал. Она лежала на кровати и отказывалась погладить рубашку, и говорила, что у него в гардеробной есть чистая и глаженная. Да, она была, но нелюбимая и слишком модная. Ходили слухи, что президент не любит модников и раздражается от ярких галстуков, рубаш с высокими воротниками и дорогих костюмов.

Вольнов к десяти утра поехал на автомобиле на встречу с функционером спортивного клуба — лет пятнадцать назад чемпиону мира по лыжным гонкам на пятьдесят километров — тот обещал дать развернутый комментарий к прошедшим на днях соревнованиям и к скандальному заседанию МОК. Москва, как всегда, стояла в утренней пробке, но он успел вовремя. Войдя в приемную, он тотчас узнал от молоденькой блондинки-секретарши, по фигуре бывшей спортсменки, что ее начальник задерживается, извиняется и переносит встречу на час тридцать позже. Полтора часа надо было как-то убивать. С легким чувством досады Вольнов вышел из здания клуба и, перескакивая через снежную кашу и лужи, дошел до соседнего здания, где на первом этаже — сетевая кофейня, сел за пустой столик у окна, заказал себе чай в чайнике и долго думал о том, сколько денег зарабатывают владельцы заведения на этом чае, какова у них, этих бандитов, рентабельность одной чашки. Он знал, что глупо считать чужие деньги, но не мог ни на что другое переключиться и продолжал в уме делить и умножать им же самим придуманные цифры.

Тулупова отдраила ванную комнату — от зеркала до потолка. Когда терла ка-

фель и швы, не думала ни о чем, кроме структуры поверхности и способах подобрать-ся к ее чистоте. Хотела начать убирать в туалете, но чистящая паста закончилась. Тулупова, не раздумывая и минуты, быстро оделась, спустилась вниз на лифте, перешла на противоположную сторону улицы, сто метров в горку и еще столько же в глубь квартала — там находилась хозяйственная лавка и магазин с собачьим и кошачьим кормом, дверь у них была одна, общая. Когда она заходила, видела мальчишку лет десяти, который мерз возле входа, а когда с покупками вышла, он обратился к ней:

— Тетенька, купите рыбок.

— Что?! Каких рыбок? — не поняла сразу Тулупова.

— Вот, — и мальчишка достал из-за пазухи небольшую банку. — Меченосцы.

Все разные: красный, черный и пятнистый. Тетенька, купите...

— Какая я тебе тетенька! Ты должен быть сейчас в школе...

— Женщина, — поправился коренастый, с деревенской хитрецей паренек, которого только сейчас Людмила повнимательней рассмотрела. — Мне деньги очень нужны, купите. Недорого. Сто рублей за всех. Называются «Ксифофорус Геллера».

— Как?

— Ксифофорус Геллера.

— Как ты это выговариваешь?! Мне их кормить-то нечем... они помрут... — сраженная латынью, внутренне уже согласилась купить Тулупова.

— А я вам корм отсыплю...

— ...и аквариума нет.

— А им и в банке хорошо. Они неприхотливые, — и добавил: — Веселые!

— Да уж, веселее некуда... — сказала Людмила и полезла за деньгами в сумку.

— Вы знаете — у них самки могут превращаться в самцов, — продолжал рекламировать товар мальчишка.

— Почему? — спросила Тулупова.

— Не знаю, — ответил мальчик. — Наверное, надоело самками быть.

Дома, заполняя большую трехлитровую банку водой и выпуская в нее «Ксифофорус Геллера», она догадалась, что же на самом деле купила. Черный, с красноватыми плавниками, настороженный и быстрый — это Хирсанов, на своей черной машине, важный, богатый; красный, яркий и легкий — это Вольнов, а пятнистый, совсем как в своем клетчатом пиджаке, — Аркадий Раппопорт. Тулупова решила так. Она поставила банку на подоконник и довольно долго смотрела, как бессмысленно перемещаются ошарашенные простором и светом рыбки.

«Привет, ребята, — тихо сказала Людмила Тулупова. — Попались. С кем из вас можно Новый год встретить? А? Ни с кем. Может, вы и не мужчины вовсе?..»

Она взглянула на часы и решила прервать уборку — не успевала, надо было ехать в библиотеку на работу. И поехала.

Хирсанов прошел по коридору президентского этажа, дошел до поста службы безопасности и рамки металлоискателя, показал удостоверение — его проверили по списку, сдал выключенный мобильный телефон в ячейку сейфа, получил ключ от него, расстегнул молнию на кожаной папке, показал ее содержимое, и его пропустили дальше к приемной. Он всегда думал, что на такой высоте власти немного людей и много желающих на нее попасть, а вот он идет по красной ковровой дорожке — она всегда здесь такого цвета, и при той и при этой власти, — и он всегда находился рядом. В непосредственной близости с теми и тем, самым главным, кто решает, подписывает, от кого все зависят; если все пройдет удачно, он закрепится на этой высоте и войдет в узкий круг тех, кто не сдает телефон в ячейку и никогда не подвергается досмотру. Хирсанов сдает и, значит, его еще в чем-то подозревают, он не до конца свой. Его могут подозревать в измене, в терроризме, в том, что он может украсть святое время верховной власти, но наступит час «икс» — не исключено, что это произойдет сегодня и он сможет встать так близко, как будет удобно ему. Он сам станет частью этой высоты, это будет его коридор, его этаж, его уровень. Хирсанов поймал себя на том, что его греют, в сущности, детские мысли: «быть первым», «иметь самые лучшие игрушки». «Но — мы так устроены, — рассуждал он, — нам

нужны лучшие женщины, лучшие машины, большие деньги, полная свобода, а это, значит, несвобода для других и поэтому...»

— Кирилл Леонардович, вам надо подождать в третьей приемной, — остановила стройный поток его мыслей женщина сорока лет, референт президента. — Пройдите, вот туда.

— Спасибо, я знаю, — сказал Хирсанов, давая понять, что он здесь все-таки не первый раз.

— Я позову, как только он сможет принять. Вы в резерве.

Хирсанов прошел в комнату с диванами, телевизором и минеральной водой на журнальном столе. Там уже сидели в креслах соавторы проекта, Мирзоян и Свиридов.

— Привет, Кирилл.

Он пожал им руки, сел рядом и для порядка спросил:

— Ну что, когда? Что-нибудь известно?

Оба пожали плечами. Говорить что-то или обсуждать было неудобно, все знали, что помещение прослушивается и все снимается на камеру. Ждали, поглядывая друг на друга и по сторонам, но взгляд ни на чем не задерживался.

Вольнов отсидел в кафе полтора часа и выпил несколько чашек чая. Он думал о том, что его вчерашний испуг имеет непонятное происхождение. Он придумал для него специальное название, почти научное, где-то он его слышал, читал, но сейчас казалось, что оно свое, придуманное и очень точное — социальное одиночество. В его комканых, кислых рассуждениях оно было похоже на то, что у него в семье, — то же самое одиночество, только в семье, со Светкой. Он вспомнил, что называл ее так, когда только познакомились, ему хотелось с ней долго говорить, строить общие планы. Он писал о ней чуть ли не каждый день в газеты, спортивные журналы, и вздохнул, а теперь — ничего: холод, боязнь, страх выяснения отношений, вот она приехала и лучше бы не приезжала. Был какой-то бесчувственный, дежурный секс и ничего. Никому об этом не расскажешь — механически держишься за семью, ребенка, квартиру, а зачем, надолго ли его хватит? Так же, думал он, и в стране, где кипяченая вода, поданная ему сейчас в виде чая, за четыре доллара, если переводить с рублей, а что? И тут обман! И тут что-то не так — все не так в его жизни. Вот если бы он нашел такую, как Тулупова, которая бы любила за то, что он есть, жив, за то, что он может доставить удовольствие женщине. С ней бы — Новый год и новая жизнь. Все эти чемпионаты — мир, Европа — что они против простой жизни с любимой женщиной — ноль. Вот он знает, что будет в стране через год-полтора, когда они введут в действие свой план разведения мостов, начнется новая игра, полетят головы, и что ему от того — он не собирается бросаться спасать страну? И от чего спасать, хотелось бы понять? Зачем? Кому об этом расскажешь? Что это изменит? И что изменит развод со Светкой — ничего. И выходило у Вольнова, что, как ни крутись, ни дрыгай ногами, ни сопротивляйся, чай останется чаем и не станет водкой — те же четыре доллара — но денег уже не жалко и хочется бросить машину и надраться по-настоящему, крепко, чтобы никакие мысли в голову не лезли.

Прошло полтора часа. Вольнов вернулся в приемную руководителя клуба — тот уже был на месте.

— Заходите, — пригласила секретарша.

— Привет, извини, Коля, — неожиданно сердечно сказал руководитель клуба, с которым Вольнов был давно знаком, и тот знал, что чемпионка по биатлону Светлана Кулакова — его жена. — Извини. Мы вчера тут после заседания так приняли, честно. Ты выпить не хочешь? За рулем? На работе?

— Не поверишь, сидел в кафе и мечтал, — ответил Вольнов.

Недовольная секретарша принесла нарезанного сыра, колбасы, лимон, и они стали пить.

Ближе к вечеру, оставив машину у клуба, Вольнов спустился в метро с мыслью, что его теперь не берут двести пятьдесят или триста граммов, те, что они приняли на брата, а это что-то значит, но посидели хорошо, впрочем, о чем говорили, не вспомнишь. Он доехал до дома, твердо решив, что завтра на работе уничтожит пришедший

от Тулуповой документ, потому что он не революционер и не будет играть в непредсказуемые игры с обнаглевшей властью.

Хирсанов с товарищами — соавторами просидели в приемной больше пяти часов, но так и не дождались встречи. Референт заходила почти каждый час и говорила, что она спрашивала о них, но он сказал — «пусть ждут». Около восьми где-то на просторах родины произошло чрезвычайное происшествие, по этажу зашагали военные с большими звездами, и теперь было ясно, что аудиенции не будет, президент точно уже не сможет принять.

— Дальше будем искать окно в его графике, — сказала референт, заглянув к ним в комнату.

Извинилась и ушла.

Хирсанов с самого утра предполагал, что все так может кончиться, и поэтому не сильно огорчился. Втроем с товарищами они вышли со Старой площади, коротко вдохнули морозного воздуха и разъехались по домам, даже не поговорив.

Приблизительно в это же время и Людмила Тулупова спустилась в метро — засиделась в библиотеке. Поскольку приехала на работу поздно, получилось, что все вроде соскучились, получился день приемов. Приходили девочки из бухгалтерии — смеялись над анекдотом, который она хотела запомнить, но все равно забыла. Долго сидела Роза Сатарова, выпивая чашку за чашкой чая. Маша путано рассказывала о своих бурно развивающихся отношениях с молодым человеком. И вот Людмила едет обратно домой в метро, в плотном потоке уставших, возвращающихся в свои квартиры, в личную жизнь. На перегонах между станциями вагон покачивало, и люди, как желе, ритмично покачивались, кивая головами, как бы соглашаясь на все, что с ними может произойти.

Дома она поняла — дети даже не заходили. Из наготовленного утром ничего не съедено. Позвонила Сереже и Кларе, узнала, что придут не скоро, ночью. Включила телевизор, села около окна и искоса, отвлекаясь от телевизионной картинки, подглядывала за меченосцами в банке. Грустные мысли приходили. Получалось, она такая жена напрокат — встретилась с одним, с другим, прожила вечер, ночь, день, и было хорошо. Действительно, хорошо, но вот и все, и ничего больше. Горечь только. Меченосец Хирсанов плавал отдельно наверху и был доволен собой, его рыбий взгляд иногда останавливался на ней, но чаще смотрел в окно, в темень, в легкий мелкий снежок под уличным фонарем. Красненький меченосец Вольнов, казалось, был такой смелый и независимый, он резко менял направления, замирал на секунду и, как тореадор, бросался на несуществующего быка и упирался в толстое, искривленное стекло банки. Пестренький Аркадий Раппопорт плавно перемещался вверх-вниз, будто искал способ вылезти из стеклянного плена.

В новогоднюю ночь она опять будет одна. Тулупова посмотрела на Вольнова, Хирсанова и Раппопорта в банке и подумала, что они все ей чужие. Она несколько раз произнесла про себя это простое слово. Чужие. Остановившись на нем, она прочувствовала каждую сухую букву — чужие. Сможет ли она вырваться из своего одиночества, которое стало естественным и, казалось, вечным? Мужчины, так было не раз, врывались в ее жизнь, она протягивала к ним руки, еще мгновение, и он может стать близким, родным, своим, еще одно, последнее любовное усилие и она произнесет — мой, вот он, вот... И опять невидимая рука беззвучно уводила их, как расписание уводит поезд с вокзалов.

Перед сном раздался телефонный звонок. Она сразу поняла, что международный, потому что он всегда и звенел громче и, кажется, тон его менялся, приобретая капиталистический оттенок. Она подскочила к трубке — Шапиро.

— Он умер. Сегодня он умер. У меня на руках, — в ее голосе соединились торжественность от только что перенесенного страдания и легкость освобождения. — Тулупчик, я не плачу, нет, только чуть-чуть, немного. Чуть-чуть. Он умер, как герой. Настоящий.

Марина еще сказала: «Тулупчик, Тулупчик ты мой», и Людмила Тулупова зарыдала в голос, она не могла сдержаться — Арона Куперстайна больше нет, и хотя она

его почти не знала, ей вдруг так стало больно за все, что происходит в мире, и так захотелось плакать.

— Не плачь, Людочка.

— Марина, как это было? — спросила Тулупова, когда первый залп горя отгремел в душе.

— Очень просто. Еще вчера началось, и все хуже и хуже, он, конечно, знал, знал, мы знали, но он все время, нет, это я все время еще во что-то верила... У меня больше не будет мужчины никогда. Он мне больше и не нужен. Уже все было. У меня был Арон — единственный мужчина в моей жизни... Ты знаешь, я, оказывается, еврейка. Я этого не знала и вот, теперь точно знаю... он был единственный мужчина в моей жизни. Он так умел любить.

— Это же счастье, — сказала Людмила Тулупова. — Это же счастье!

— Счастье. Конечно, счастье, я все время с ним была — да, именно это слово. Я думала — одна, нет детей, нет мужа, я думала, что — ну не всем же — не всем... Но знаешь, Тулупчик, знаешь, так бывает: развод становится свадьбой, а смерть — рождением. И я стала еврейской женой. Была интернационалистка! Ты понимаешь, я — еврейская жена! Вот после, теперь, сейчас...

— Нет.

— Все!!! Все. — Шапиро пыталась сдержаться. — Он просил, чтобы я не лила слез, он так просил. Как там наши дети? Они уже посходили с ума от любви?

И они проговорили с Шапиро целый час не в силах расстаться. Марина Исааковна рассказала, что вечерами с Ароном они читали вслух Тору, он на иврите, а она в переводе, по-русски. Потом Арон пересказывал все простым понятным языком — до этих смыслов она не могла бы добраться никогда. Ее удивило в пересказе Арона, что Бог сотворил мужчину и женщину и дал им общее имя «человек», и только там, в Мюнхене, в Германии, она поняла, что мужчина и женщина — это одно и то же, вместе они и есть один совокупный человек. Адам жил сто тридцать лет и родил детей, сыновей и дочерей, но были «все дни Адама девятьсот тридцать лет», это значит, что лицо, характер, кровь, голос, все носило печать Адама еще почти тысячелетие.¹ Шапиро говорила, что так жалеет, что у нее нет детей, что Тулуповой еще жить века в своих дальних, дальних детях, а она добьется разрешения перевезти тело Арона в Россию, если, конечно, получится. Людмила Тулупова сказала, что зашла на сайт знакомств и у нее были первые встречи. Она не сказала ни с кем, ни как далеко она зашла, но ей было важно приоткрыть хоть кому-то часть своей новой жизни. Теперь Шапиро поняла, откуда возникла визовая поддержка, и она одобрила Людмилу, сказав:

— Все правильно, люди не знают, откуда берется любовь, где ее можно найти. Все правильно, Тулупчик. Любовь надо искать...

35

Еще в лифте, поднимаясь на редакционный этаж, Вольнов услышал звонкое учащение собственного пульса. У него так бывало, когда на футбольном поле он предчувствовал приближающийся проигрыш, и даже не по счету, не по ходу игры, а неким внутренним взглядом видел будущую атаку противника, оплошность защиты и растерянность вратаря, — сердце бешено билось. Плотно зажатый людьми в широком офисном лифте, кивком головы, движением век здороваясь со знакомыми журналистами, он уже знал, что день будет необычным, тяжелым и длинным. На этаже, на выходе из лифта, к нему обратился парень из отдела писем:

— Ты уже слышал?

— Нет, а чего?

— Зайди к главному.

Вольнов вошел в огромный зал и увидел, что большая часть сотрудников редакции стоит у стеклянных дверей кабинета главного редактора. Вольнов заметил, что место, куда он два дня назад забросил флешку с документом от Тулуповой, пустует. Ни книг, ни бумаг, ни компьютера на рабочем столе не было, только крепко приклеенный розоватый и покарябанный ангел на стекле остался. Так бывает, когда сотруд-

ник увольняется и забирает свои личные вещи из всех ящиков, но компьютер должен был остаться на месте.

«Почему его убрали?»

Бросив портфель на стул около своего рабочего места, Николай Вольнов направился к главному. Около кабинета он спросил выпускающего редактора Игоря Макарова, что происходит, почему народ не работает.

— Нас хотят закрыть. Пущены все силы.

— Кто сказал? Почему?

— И я не знаю почему. Но это же не просто так? Просто так ничего не бывает.

— Что не просто так?

Макаров пожал плечами.

Дожидаюсь, когда из кабинета редактора выйдут лишние люди, Вольнов понял, что произошло. Катя Шакроборти из отдела общества, шумная, туповатая, вздорная девица — модница и богачка, недавно развелась с мужем швейцарцем и, наконец, уволилась. Но в последний рабочий день нашла флешку с документом от Тулуповой, которую Вольнов, оказывается, именно ей подкинул в стол, — выгребала свои вещи из ящиков и наткнулась. Решила проверить, что там записано, — открыла файл и позвала всех смотреть. Кто-то, может быть, в это время уже себе скопировал, никто не знает. Примчался на работу главный редактор — она к нему с криками и угрозами: это козни против нее, подбрасывают, выживают, хотят во что-то впутать. И вот уже все обсуждали тайный смысл найденного файла. Вольнов, уловив момент, пробился к главному, своему товарищу, нормальному, сердечному, простому парню, лет уже под пятьдесят, опытному, но довольно трусливому.

— Коля, что ты думаешь об этом, а? — набросился на Вольнова редактор. — Это провокация или... У нее еще двойное гражданство, ты понимаешь? Она гражданка другой страны, была бы Дуней Ивановой и черт бы с ним... Как у нее такой документ оказался! У нее! Именно у нее. Я ее увольняю и... вдруг...

— Я думаю — это чистая случайность. Если бы, как ты думаешь, через нее кто-то пытался нас слить, она бы и не показывала файл всем. Зачем ей надо? — пытался развернуть понимание ситуации Вольнов, но логика уже была безнадежна разрушена.

— Это не может быть просто так. Опубликовать мы это не можем, мне это просто никто не даст. Раз. Тираж арестуют — два. Типографию опечатают, меня выкинут. Я думаю, что они это специально подбросили мне, чтобы я клюнул, заглотнул их наживку. А я — не буду! И все! И еще фээсбэшников бдительно вызову, пусть разбираются, как это у нас оказалось. Надо сказать в редакции, чтобы все молчали, если работать хотят.

— Надеюсь, ты еще не позвонил в ФСБ? — настороженно спросил Вольнов, но интонации главным редактором в таком состоянии уже не читались.

— Нет. Но в Кремле такие люди работают! Мирзоян, Смирнов, Хирсанов — такие люди есть, я узнал. Есть! — и главный редактор широко развел руками. — Есть!

— А может, все забыть и к черту!

— Коля, сразу видно, что ты не теми видами спорта занимаешься. Политика — это не биатлон — тут настоящие патроны. Коля — это меня кто-то проверяет. Может, учредители? Может, еще кто? Я не знаю! Ты понимаешь, что они хотят? Они хотят разделить элиту на части, весь компромат сложить в Кремле, в одном большом чемодане, и начать игру с ничейного счета. Снова: ноль — ноль. Ты представляешь, какая может начаться утечка капитала! Да все побегут. Рынки могут обрушиться — это же перспектива полного передела собственности и правил игры! И кто-то через нас организовывает слив... Кто?! Почему через нас?

— Не знаю, — сказал Вольнов, понимая, что ситуация уже не может быть никак исправлена ни его признанием, ни логикой, ни трезвым расчетом, ничем. — Но я бы не суеллся. Может быть, это вообще липа?

— Какая липа! — возмутился редактор.

Любые аргументы Вольнова еще больше убеждали, что это заговор, хитроумная комбинация, а он — мишень. Если опубликует — снимут; не опубликует, начнет советовать — спросят: откуда это у тебя, на кого работаешь? По несколько раз

разговоре с Вольновым он прокручивал эту, как ему казалось, безвыходную ситуацию.

Вольнов вышел от главного с настоятельной его просьбой заполнить сегодня газету спортивным материалом под завязку и не лезть с советами, потому что в большой игре спортивный журналист ничего не понимает. Вольнов подумал про главного — «это был твой шанс», дошел до рабочего стола, осматриваясь, достал диск с записью документа, повертел в руках и положил на видное место, теперь такой диск мог быть у любого. Он видел, что через час редактор собрал у себя отдел политики в полном составе, всех замов, ответственного секретаря и долго решал, что делать. Ближе к концу рабочего дня, когда Вольнов сдавал написанные материалы по спорту в номер, в редакцию приехали два человека в отглаженных серо-синих костюмах с простыми незапоминающимися лицами и долго разговаривали с главным и нашедшей флешку Катей Шакроборти.

Вольнов был даже доволен, что все события теперь развиваются без него. Вопрос о том, что делать, был передан в руки судьбы — время работало отдельно от людей и смысла. Он думал, что если залезут на сервер и смогут узнать, откуда пришло письмо, то его вызовут, а нет — так нет, он останется ни при чем. Широкая огласка, которую получил файл, успокаивала: все-таки журналистское сообщество не даст ему пропасть, если вдруг что. Время, будто переданное кому-то в бессрочную аренду, раскручивало эту историю уже самостоятельно, независимо от него. Вольнов хотел позвонить Тулуповой и рассказать о том, что происходит, начал было искать телефон в записной книжке, но сразу не нашел. Надо было заходить на сайт, смотреть переписку, отыскивать его там, но редакция гудела, как разбуженный улей, и ему не хотелось, чтобы его видели блуждающим на сайте знакомств. Он заметил, как главный пошел провожать ребят из Конторы к лифту, как в его фигуре, в сдержанных жестах прочитывался безотчетный страх, читающийся так же легко, как в букваре алфавит. Вольнову стало стыдно за себя, потому что и он, оказывается, два дня назад был прижат и прибит точно таким же страхом. Ему так же хотелось сохранить то, что есть, то, что есть у него сегодня, сохранить свое, а остальное — забыть, вычеркнуть. Он долго не думал — набрал мобильный телефон жены и все.

— Светка, — неожиданно легко и бодро вырвалось у него.

— Здорово, Вольнов.

— Кулакова...

— Что Вольнов?

— Кулакова, ты на лыжах с мужиками ходишь?

— С какими мужиками, Вольнов? — спросила жена, чувствуя в голосе мужа интонации их первой любовной словесной игры. — Каких ты имеешь в виду мужиков, Вольнов?

— Близких, Кулакова, близких, родных, — эта игра в перебрасывания фамилиями могла длиться долго. — Снег выпал. Видела?

— Выпал, Вольнов.

— Если еще день-два, мы сможем пойти на лыжах вдвоем, с тобой. Ребенка — к матери.

— Вольнов, ты у нас снова лыжник!

— Да.

— Я и сегодня пошла бы на лыжах с тобой.

— Кулакова...

— Сто лет Кулакова...

— ...

— Что, Вольнов? Что ты там засопел? А?

После этого разговора Николай Вольнов оглянулся по сторонам, задумался, взвесил внутри себя «за» и «против», зашел на сайт знакомств. Следуя инструкциям и подсказкам провайдера, он быстро удалил свою анкету с сайта, и на одного мужчину, желающего найти здесь женщину, стало меньше. В ближайшую субботу Вольнов с женой, чемпионкой мира и Европы, поехали в Подмоскovie кататься на лыжах. Они шли по первому, еще неглубокому, снегу, сначала вдоль старых дачных садовых

домиков, потом полем по уже кем-то проложенной лыжне, потом сосновым лесом, и Вольнов все время кричал вдогонку отрывающейся от него жене:

— Кулакова, ты можешь не бежать?! Светка — это не чемпионат! Кулакова — куда ты гонишь?!

36

Только через неделю об утечке секретного документа доложили наверх — до этого вяло проверяли подлинность бумаги. Все подразделения Администрации отказывались признать, что в недрах ведомства разрабатывался такой сценарий раздела политической и экономической власти. Еще дней десять ушло на то, чтобы определиться, кто этим делом будет заниматься и, вообще, надо ли узнавать источник или лучше и проще — забыть. И забыли бы, если бы в начале декабря, когда Москва начала готовиться к Новому году, а в витринах запестрели рекламы распродаж с утомительно радостной улыбкой Деда Мороза, в Лондоне не была почти полностью перепечатана сценарная разработка с указанием фамилий авторов и их впечатляющими номенклатурными биографиями. Материал получился громкий. Не менее громкое обсуждение прокатилось по основным мировым СМИ. Обсуждали и сам проект, и последствия его реализации — дров в костер Хирсанов подбросил вдоволь. «Новый политический проект — власть снова берет КГБ»; «Дело закрывается — новый раздел власти в России»; «Нервные судороги обанкротившегося режима»; «Институализация коррумпированной системы»; «Чистый лист новой российской политики будет писаться кровью»; «С первого апреля приказано не воровать»; «А денежки теперь врозь» — заголовки статей в ведущих газетах и журналах мира были броскими и запоминающимися. Последовало опровержение от МИДа, в том смысле, что эта чья-то разработка, состряпанная в духе холодной войны, специально сделанная, чтобы опорочить демократические завоевания России, которая интенсивно борется с коррупцией во всех эшелонах власти. Хирсанова и его соавторов решено было не увольнять, иначе это только подтверждало бы реальность разработки проекта в стенах Администрации, их негласно отстранили от работы, сменили форму допуска, и возможность попасть на президентский этаж у Хирсанова пропала, кажется, уже навсегда. Он не винил Тулупову ни в чем, потому что был уверен, что документ отловили владельцы сайта или даже сами фээсбэшники, нашли его в Сети и сами перепродали на Запад за большие деньги. Пара часов, что он был в компьютере у библиотекаря, ничего не могла решить, думал он.

Один раз за время служебной проверки его вызвали в первый отдел. С ним уважительно разговаривали, он написал объяснительную записку, что ничего не знает, его имя использовали. Но больше ничего не происходило, время теперь застыло, и могло показаться, что ему теперь снова возвращается прежний размеренный ход. Хирсанов пытался выяснить по доступным каналам, что его ждет, но в одном тесном коридоре Старой площади ему посоветовали «не суетиться, не привлекать к себе внимания, сидеть и ждать — ему все скажут в свое время».

Хирсанов почти не выходил дома, ухаживал за женой, думал о жизни и, как ни странно, в светлых тонах. В очередном пересказе своего жизненного пути, этот миф он готовил сам для себя, выходило, что он счастливый человек, да, он мог бы добиться большего, но он — добр, морален, открыт для людей, и поэтому не получилось оказаться на самом верху, хотя и то, что он имеет теперь, — немало. Конечно, он уйдет из Администрации, но игра не окончена, у него есть влиятельные друзья, которые, как только прекратится опала, вернутся, его не оставят, наконец, есть накопления, есть связи и знание того, как принимаются решения там. В итоге он пришел к формуле, которая его окончательно успокоила: для политика опала — это позитивное состояние, время накопления энергии и, вообще, кто знает все?

Наверное, так бы и было — скандал постепенно утихал. Службе безопасности не хотелось заниматься бесперспективным делом с информационной утечкой: одна головная боль и никакого интереса — ни звезды, ни денег. Но неожиданно в Италии, на пресс-конференции российского президента, какая-то истеричная журналистка, сразу видно, что феминистка, — Хирсанов это сам видел по SNN, напористо и

визгливо спросила: «Как можно иметь дело с Россией, если она насквозь пронизана семейственностью и коррупцией; вы считаете реализуемым недавно опубликованный в западных СМИ план разведения мостов?» Президент дипломатично парировал выпад, что называется, открестился, но после, выходя из зала, буквально прошепел своему помощнику: «Разберитесь с этими пидарами, я не хочу больше слышать ни о каких мостах — никому не должно быть повадно...».

В тот же день создали оперативную группу из трех человек, полковника и двух молоденьких лейтенантов — обсудили и наметили. А через три часа лейтенант с простой чекистской фамилией Савилов, потому что он представлял династию в третьем поколении и гордился этим, доложил руководителю расследования:

— Товарищ полковник, я уверен, это — Хирсанов. Он периодически заходил на сайт знакомств, искал там женщин, у него там даже была страничка-анкета. Сейчас он ее удалил. Он заходил на сайт с мобильного интернета, который был зарегистрирован на его дочь. Через него ушел документ, он высылал его некой Тулуповой Людмиле Ивановне, заведующей библиотекой в Музыкальном институте. Наверное, хвастался, какой он крутой, все знает. Классический случай. Как в учебнике...

— Надо оторвать ему хер! Этому Хирсанову! — разозлился полковник, его всегда злило, когда мужчины влипали в историю из-за женщин, ему, как настоящему мачо, становилось обидно за весь мужской род. — Хер ему надо оторвать! Баб ему не хватает — на дороге стоят, денег — жалко! Классический случай!

— Да, — гордо подтвердил двадцатипятилетний лейтенант, очень довольный легко одержанной победой.

— Ну, надо посмотреть, кто это такая, Тулупова? Чего она там? Может быть, за ней кто-то стоит ...

— Едва ли, — сказал лейтенант Савилов.

— Едва ли — но проверить нужно.

Так фамилия Тулуповой спустя много веков после Иоанна Грозного снова зазвучала в стенах Кремля или совсем рядом с ним. Самому Президенту о Тулуповой, конечно, не докладывали, но наскоро составленная записка главе его аппарата гласила, что «в ходе следственной проверки, проведенной группой под руководством полковника Каширина Г.П., установлено, что сотрудник аналитической службы аппарата Администрации Президента Хирсанов К.Л. через социальную сеть интернет-знакомств передал своей знакомой Тулуповой Л.И. конфиденциальные документы, находящиеся у него в работе. В настоящее время следствием устанавливаются мотивы предательства, дальнейшая цепочка утечки секретной государственной информации и пути ее проникновения к врагу».

Людмила Тулупова ничего этого не знала, не смотрела новостей SNN и не читала первых полос иностранных газет, она только видела, что на сайте исчезла анкета Вольнова, вместо фотографии появилось ее серое очертание и голубоватая надпись «Пользователь удален. [Архив сообщений](#)». Она хотела нажать на «архив», но не решилась перечитывать пустую переписку, приведшую ее в никуда. Чтобы больше никогда не соблазняться воспоминаниями, она отметила галочкой его строку и безвозвратно удалила Вольнова из списка тех, с кем общалась на сайте. Все — его больше не было, Вольнов стал ее врагом, оскорбительно скрывшимся без объяснений. С ним покончено — обидная точка, впрочем, способная превратиться в многоточие. Между мужчиной и женщиной знаки меняются, плюсы и минусы, точки и запятые, ничего окончательного не существует.

Через несколько дней, так же молча, исчез и Хирсанов.

У Людмилы наворачивались слезы, которые превращались в идеальную чистоту в ее квартире, в самых ее дальних уголках. Сережа и Клара считали, что мать так капитально убирается специально к Новому году, и постоянно останавливали ее рвение к абсолютной чистоте и порядку.

— Вы мне лучше помогите, а не останавливайте, — говорила она, непрерывно продолжая работу по дому.

Аркадий Раппопорт несколько раз предлагал ей встретиться, но она, ссылаясь

на генеральную уборку, которую за нее никто не сделает, отказывалась. И все же один раз согласилась пойти с ним в кино.

Известный фильм известного режиссера не произвел должного впечатления, хотя несколько сцен ее тронули, но спецэффекты она не переносила органически, ей хотелось простого, старого кино, теплоты, любви, привязанности, незамысловатой истории и радостного финала. Хотелось тех слез, с которыми она выходила из Дворца культуры с колоннами, в детстве, девочкой, в Червонопартизанске. Но где их взять — и те слезы, и то кино? Она рассказала Аркадию, как раньше весь их городок выходил зареванный из зала после индийских фильмов, рассказала, что шахтеры, огромные сильные мужики, плакали, как дети. Раппопорт не подхватил ее ностальгическую волну. Он красноречиво набросился на конъюнктурного режиссера, переигрывающих актеров и лживый сценарий. А она думала, что он очень умный, этот еврей Раппопорт, очень умный, так сравнивает американское и французское кино, во всем разбирается, и ему с ней будет скучно, если бы она, так бы вдруг получилось, стала с ним жить. И потом он никого не любит. И она ему так и сказала:

— Аркадий, ну почему вы никого не любите? Они же старались, делали кино!

Она знала, что говорит глупость, но именно так ей хотелось сказать, именно ему, именно сейчас, самодовольному, занудному еврею, всезнайке.

А Раппопорт ей сказал:

— Я вас люблю. Почему никого? Тебя.

Тулупова повернулась так, чтобы он не видел ее засверкавших голубых глаз, которые будто на секунду ослепило косое закатное солнце, и они радостно прищурились, но Раппопорт это заметил и, дождавшись, когда она, как годовалый ребенок кашку, разжует его признание, сказал:

— Мил, ты помнишь, что мы вместе встречаем Новый год?

Тулупова кивнула:

— Был такой разговор.

— Мама приглашает тебя к нам, чтобы мы могли познакомиться, ну не только на Новый год, ну, в общем, до того, она тоже хотела бы знать, с кем она будет на Новый год, это же такой праздник, понимаешь... Это будет — чай.

— Мне что-то испечь? — спросила Тулупова.

— Нет-нет, она все сделает сама.

— Когда? — спросила Тулупова.

— Ну, времени уже не осталось — на этой неделе.

Времени действительно оставалось мало. Лейтенант с фамилией, которую легко произнести, но трудно запомнить, — Савилов приехал в Музыкальный институт им. Ипполитова-Иванова с тем, чтобы выяснить, что собой представляет Тулупова Л.И. и не находится ли она в преступной связи с Хирсановым К.Л. Он мог бы позвонить в отдел кадров, навести справки, мог вызвать Тулупову для дачи показаний, но скоро был Новый год и у Савилова на него были свои планы.

Их всегда было три. У него всегда все было по три: три решения, три задачи, три версии...

Первое — начальству приятно было доложить, что он был на месте, видел, встречался, узнал, это называлось «быть в поле». Второе — ему нравилась музыка, он играл на гитаре, пел туристические песни и искал себе необычную девушку, певицу или пианистку или актрису. Она обязательно должна быть связана с искусством — тут, в институте, он мог случайно такую встретить. У всех больших чекистов, считал он, жены были из мира искусства, и это было не случайно. Третье, почти главное, — рядом с институтом находился известный торговый центр. Получалось, в рабочее время можно зайти приглядеть подарки для отца, полковника ФСБ в отставке, для матери, работавшей в санэпидемстанции, и для младшей сестры, выпускницы школы. Они дожидались в Новокузнецке, когда лейтенанта Савилова повысят, продвинут, дадут жилье, а они, продав старую сталинскую квартиру, полученную дедом, основоположником чекистской династии, еще в 1948 году, переберутся в Москву вслед за удачливым сыном. Новый год он должен был ехать встречать к ним. А дальше опять было три варианта: один, с девушкой или с другом.

Савилов на входе показал охраннику Олегу свою впечатляющую корочку и спросил, на каких этажах находятся ректор и библиотека.

Охранник назвал этажи, показал, как пройти, и добавил тихо, почти про себя, но так, чтобы лейтенант услышал:

— ...понятно, знаю, кто вам нужен, зачем пришли...

Савилов остановился и, взглянув на охранника попристальней, уточнил:

— И зачем же я пришел?

— По поводу этой старой бляди, библиотекариши Тулуповой.

— Ты считаешь, что ФСБ интересуется блядьми? — отсек Савилов и пошел по указанному маршруту, подумав, что версия о том, что Тулупова агент иностранной разведки, отпадает прямо у дверей института, она просто...

Может быть, впервые за всю жизнь Людмилы Ивановны Тулуповой такое короткое и емкое определение, данное внутри, что называется, трудового коллектива, имело исключительно положительное значение. Версия номер раз, что она шпионка иностранного государства, отпадала.

«Пусть не врет — а зачем ему тогда библиотека?» — вдогонку рассудил про себя Олег.

Лейтенант зашел в библиотеку, когда за стойкой сидела флейтистка Маша, которая ему сразу понравилась, особенно ее пухлые, чувственные губы.

— Это — понятно, библиотека... А где дирижерское отделение? — спросил Савилов.

— Дальше по коридору, — ответила Маша. — Слева.

— А вы кто?

— Я?

— Вы тут работаете?

— Я флейтистка.

— Клево! А вы вот так вот можете, дома... вот на флейте поиграть?

— Моцарта, — гордо сказала Маша.

— Моцарта на флейте?!

— Да. А что тут такого? «Волшебная флейта».

А это ваши — брат и сестра? Они слушают? — спросил Савилов, показывая на цветную фотографию, которая стояла на столе рядом с компьютерным монитором.

— Нет, это дети нашей заведующей, Сережа и Клара. А вот и...

В этот момент в библиотеку зашла Тулупова, которая вернулась из бухгалтерии, где оформляла новые поступления.

— Что надо молодому человеку в верхней одежде? — сурово спросила она поверх зарождавшихся здесь отношений...

— Ничего, — ответила за Савилова Маша. — Дирижерское отделение человек ищет...

— Сатарова Роза Ахматовна, завкафедрой, — дальше по коридору.

Савилов решил на всякий случай не произносить слов, чтобы Тулупова не запомнила его голос, он поднял руки вверх, мол, сдаюсь, и вышел.

Идти к ректору и выяснять что-либо еще показалось ему уже бессмысленным. Он ее видел, психологический портрет был составлен, детей ее он рассмотрел на фотографии, имена запомнил, лет им около двадцати, все было и так ясно. Уходя из института, он рекомендовал охраннику никому не говорить о том, что он здесь был.

Олег кивнул и подумал, вот что бывает с теми, кто брезгует народом, русским мужиком: не отвечала Людмила Ивановна на его благорасположенность к ней, культурная очень, и вот теперь пускай ее органами другие органы занимаются...

На другой день Савилов доложил полковнику Каширину все, что узнал про Тулупову в институте и у шофера закрепленного за Хирсановым автомобилем.

— Водитель говорит, что несколько раз привозил цветы от Хирсанова для Тулуповой. Вozил их однажды в закрытый ресторан на Никитской. И там оставил.

— Ну, — торопил его доклад Каширин. — Какие выводы у тебя, сынок?

Савилову очень не понравилось это обращение, оно даже пугало, с какой стати он так вдруг, «какой я ему сынок»...

— Ну, и все собственно. Жена у Хирсанова болеет — он искал ей замену на сайте знакомств. Она там еще встречалась с другими.

— Ну!

«Что он от меня хочет?» — подумал Савилов.

— Тулупова ни при чем, — подытожил лейтенант и добавил: — Разговаривал с официантом, который их обслуживал, расплачивался он карточкой члена клуба. Говорит, счет был большой, больше тысячи долларов. Он слышал, что женщина из Червонопартизанска, что на Украине, как и этот официант, Сковородников фамилия. Он ее знает. Хирсанов предлагал ему работу, дал визитку, но обманул. Парень голодный, на все готов, хотел к нам...

— Ну и используй его, если на все готов... — сказал Каширин.

— А зачем он нам? — спросил Савилов, понимая, что полковник уже знает больше, чем он.

— Может сгодиться. Тут так получается, — Каширин подбирал слова помягче. — Ясно, что документ ушел от него, от этого хер-Хирсанова. Это и компьютерщики еще раз проверили. Все сходится. В газету он попал, наверное, через Тулупову или еще как... Неважно. Он сука — предатель. Но дело на него заводить нельзя, потому что мы тогда должны объяснить, как такие документы готовятся. И где. Он может, защищаясь, говорить, что готовил их, чтобы придать материалы, так сказать, суду общестественности. И его в лучшем случае ждет 129-я — за клевету. Понятно?

— Да. Понятно.

— Понятно тебе, сынок. Все тебе понятно! Сука он, Хирсанов! Сука и блядь настоящая! — прокричал Каширин, заставляя себя обозлиться больше, чем на самом деле был зол. — Сука! Ты понял, кто он? Сука — он с какого стола ел всю жизнь? У него все — все было! В общем, его решили вывести из игры...

— Как... — догадывался, но все еще не верил Савилов.

— Так. На хер это Хирсанова! Его убрать! Как предателя. Без всяких. И тебе, сынок, надо это сделать. Это боевое крещение твое будет. Без соплей, по-тихому. Сегодня он придет на работу, у него на входном контроле отнимут пропуск. Он засуетится, а ты бери машину и что тебе надо в техотделе, этого парня, голодного, бери — пусть поест. И решай проблему без шума лишнего. С предателями надо... — и полковник Каширин сделал несколько движений руками, которые ясно показывали, что надо делать с предателями. — Если нужен совет, сынок, обращайся. Подскажу. Задание понятно?

— Да.

— Что за «да»?! — прокричал Каширин.

— Так точно! — поправился Савилов.

37

Раппопорт и Тулупова подошли к серому, угрюмому девятиэтажному дому. Около входа в арку Аркадий показал на четыре зашпаклеванные дырки на фасаде.

— Здесь была мемориальная доска моего отца. Барельеф и слова — тут жил академик Моисей Григорьевич Раппопорт, выдающийся физик, один из авторов создания атомной бомбы, ну и так далее. И годы жизни. Мы ее сняли, потому что каждый год, иногда несколько раз, ее обливали краской, писали гадости. Нам всегда надо было звонить в мэрию, выяснять, кто это должен очищать, писать заявление и просить, чтобы они это сделали быстрее. Делали всегда долго и плохо. И слово «жид» можно было прочесть все равно. В общем, мы попросили, чтобы ее сняли. Совсем. Вот остались дырки от крепления болтов. Достопримечательность.

— Аркадий, это очень больно?

— Нет. Не так, как кажется. Но больно. Конечно. Меня совсем не трогает антисемитизм, но он — отец... — Аркадий пожал плечами. — И для страны старался.

Они вошли в темный подъезд. Сонная старуха консьержка, как сова в клетке, медленно приподняла один глаз — на второй у нее не было сил — и, увидев знакомую канареечную фигуру Раппопорта, снова его закрыла. Также медленно, только с оглу-

шительным грохотом захлопнулась серая, стальная, с многократно покрашенной сеткой, дверь лифта. Они стали подниматься в полутемной кабине на этаж.

«Кажется, на седьмой этаж, — подумала Тулупова, — хотя какая мне разница, где он живет, надо ли мне это запоминать, зачем?»

— Лифт все хотят поменять на современный, — произнес Аркадий, как бы извиняясь за звуки, которые на каждом этаже издавала лифтовая машина. — И никак.

Людмила не хотела идти знакомиться, и вообще, Новый год никак не виделся праздником, никак — просто обещала, не могла отказать. Теперь ее вводили в дом, где, как в фибровом чемодане, в дальнем углу антресоли, хранилась чужая, прошлая жизнь неизвестной семьи. Любопытства не было — был только страх. Дверь сорок пятой квартиры, перед которой они остановились, — Аркадий искал ключи в карманах — была единственной обычной, деревянной, филенчатой дверью на лестничной площадке. В перестроечные времена все поменяли замки и двери, готовясь защищать от всего и всех бурно наживаемое богатство, а тут, на входной двери, кривовато висел старый советский почтовый ящик.

Аркадий стоял с ключами, собираясь что-то еще сказать, и Людмила, уже привыкшая к нему, поняла — ему надо помочь.

— Что? Что Аркадий? Что мне надо знать? Снять туфли — надеть тапочки...

— Нет. Я сказал маме... В общем, я сказал ей, что ты меня любишь...

— Ясно: я должна соответствовать.

— ...сильно. Иначе она не понимает, почему мы должны вместе справлять Новый год.

— Еще и сильно! Это сложно, но я попробую.

Тулупова вдруг вспомнила, глядя на почтовый ящик, как с жадностью вынимала из точно такого же долгожданное письмо, когда девочкой в Червонопартизанске переписывалась со всей страной. Тогда была школьная мода, писать ученику такого-то класса и дальше указывать номер в учительском журнале по списку: «здравствуй, незнакомый друг...». Звонко звучало каждое слово в строке. «Незнакомый» — значит, таинственный, а потом почти сразу любимый. Она вспомнила, как долго думала, ставить ли восклицательный знак после слова «друг» или это слишком чувственно и мальчик из далекой Москвы, Ленинграда или Киева быстро распознает ее пылкую натуру.

— Ты переписывался в школе с девочками из других городов? — спросила Тулупова.

— Кажется. Нас, кажется, заставляли. В седьмом или восьмом классе.

— Письма и газеты сюда приносят?

— Нет, — ответил Аркадий, не понимая, почему сейчас она его об этом спрашивает. — Наш почтовый ящик внизу, просто мама хочет, чтобы все оставалось, как было.

— Раппопорт, нагнись, я тебя поцелую.

Аркадий нагнулся, Тулупова его поцеловала в щеку, сказав:

— Это была репетиция. Надо же привыкать. С наступающим Новым годом!

— И я тебя очень прошу — никакого сайта, мы познакомились в кино. Случайно. Ей так понятней, но она деликатная — об этом не спросит.

Аркадий открыл дверь и крикнул в глубь темного коридора:

— Ма! Мы пришли.

— Да, иду, — звонко ответил неожиданно молодой женский голос, и откуда-то сбоку вышла аккуратная, прибранная, с подведенными тушью глазами женщина.

— Это моя мама, Анна Шоломовна, — представил невысокую бойкую старушку сын.

— Можно Шоломовна, так проще. Можно Соломоновна, это все равно. Евреи не носят со своими именами, как с писаной торбой. Бенья — Борис. Хава — Ева. Сара — Соня, — на одном дыхании выпалила она. — Что с того? Лишь бы вам было удобно. Нас и так узнают. А там, на небесах, нас встретят не по именам...

— Мила, — представилась Тулупова и почувствовала себя маленькой девочкой, которая только сейчас научилась бойко произносить свое имя.

— Мила, значит, Мила, — сказала мать Аркадия. — Хорошее имя.

Она вдруг подумала, что у нее никогда в жизни не было такого ритуала — знакомство с родителями. Свекровь ворвалась в их дом в Червонопартизанске — теперь она даже не могла четко вспомнить, как это было. Стобур просто сказал: «вот» и рукой указал матери на нее. Она постояла минуту, как отлитый в каком-то неведомом крепком, молодом материале предмет, и они ушли, оставив родителей договариваться о свадьбе и деньгах.

Аркадий провел Людмилу по трехкомнатной квартире, в которой не было ни одной новой вещи, кроме монитора и компьютера на массивном столе с зеленым сукном. Даже холодильник был старый, с округлыми формами. Помпезная люстра под потолком, диван с мягкой спинкой, полочкой наверху и откидывающимися валиками, красивые широкие стулья, круглый стол под цветной скатертью с бахромой, часы с маятником, высокий буфет в большой комнате — все было пятидесятишестидесятих годов и слегка облезло и потерялось.

Свое впечатление Тулупова донесла просто, заодно попробовав для произношения имя и отчество:

— У вас очень необычно, Анна Шломовна.

Произносилось легко.

К чаю все было готово. Варенье, обжаренные хлебцы, сливочное масло, коробка с конфетами, где не хватало двух штук, и тонкие чашки с блюдцами, их мелкий рисунок инстинктивно хотелось рассмотреть, но почему-то сделать это Тулуповой было неудобно, она сдержалась.

— Вы посмотрите, Мила, какой рисунок у этих чашек! Это настоящие китайские чашки, их подарили Моисею, когда его выбрали в Академию. Где они их достали — я не знаю, наверное, это был грабеж, потому что так их никто не отдал бы.

— Они их купили в антикварном магазине, на Октябрьской, — холодно вставил Аркадий.

— В комиссионном, — поправила мать.

— В комиссионном, — согласился Аркадий.

И Тулупова почувствовала, как им хорошо вдвоем вот так незлобно спорить вечерами о пустяках, хотя было ясно, они обо всем уже переговорили. Ей тут же захотелось как-то в этом поучаствовать, и она спросила:

— А где это?

— Там его уже нет, — ответил Аркадий.

— А что там? — задала вопрос мама.

— Обувной.

— Сегодня обувных столько, будто все стали сороконожки... — сказала Анна Шломовна.

Возникла пауза, и потом мать спросила:

— Мила, вы не еврейка?

— Нет.

— Совсем «нет» или немножко есть? — с некоторой надеждой переспросила она.

— Совсем нет.

— А похожи. Я скажу вам крамольную мысль — все хорошие русские люди похожи на евреев.

— Русские думают наоборот: все хорошие евреи похожи на русских, — переиначил крамольную мысль Раппопорт.

— Не знаю. Моя фамилия Тулупова. В детстве я думала, что я потомок князей Тулуповых, которых Иван Грозный убил. Из Украины я, из шахтерской семьи. Отец шахтер.

— Стахановец, — мама иногда отказывалась думать и превращалась в частотный словарь, показывающий наиболее частые сочетания слов.

— Почему обязательно стахановец? — сказал Аркадий, который не любил эту ее бессмысленную манеру.

— А кто? — спросила мать. — Ударник коммунистического труда?

— Да. Он был ударником коммунистического труда, — сказала Тулупова.

— Вот видишь, — сказала Анна Шломовна сыну, как будто не глядя стреляла и попала в цель.

— О чем мы говорим? — сказал Аркадий. — Я не понимаю.

— Мы знакомимся, — сказала старушка. — А как мы должны знакомиться?

— Никак, — сказал Аркадий.

— Мила, что у нас будет на столе на Новый год — что вы любите, вы придете с детьми?

— Мои дети уже взрослые, их не возьмешь с собой, мы вместе уже Новый год не встречаем.

— Но вы их пригласите, а то они обидятся.

— Обязательно, — сказала Тулупова.

Ей было странно, что разговор складывается так легко. Анна Раппопорт вспомнила старый анекдот, когда из деревни в Москву приезжала родственница, а потом своим деревенским рассказывает: «...они там в Москве живут очень ужасно, даже сыр с плесенью едят», и заговорили о еде. О том, кто что любит. Анна Шломовна интересовалась, что предпочитают Людмилины дети, вспоминала, как растила малоежку Аркадия, что любил и не любил привередливый, державшийся всю свою жизнь одного нехитрого меню муж Моисей. Она сказала, что готовила его блюда с закрытыми глазами все тридцать пять лет их совместной жизни и все новое он начисто отвергал.

— Это все надо знать! Женщины, прожившие с одним мужчиной всю жизнь, как я, — заключенные, получившие пожизненный срок и приспособившиеся к лагерным условиям. Раньше про нас, верных жен, сочиняли романы, а теперь никто и говорить не станет. Кому интересно, что любил мой Моисей на завтрак?! Мила, вы сколько лет прожили со своим мужем?

— Мама! — пытался остановить Аркадий.

— А что?! Не говорите, не надо, если военная тайна...

— Два года, — сказала Тулупова.

— Это было, наверное, короткое счастье?

— Нет. У меня не было этого счастья знать, что любит мой муж на завтрак, Анна Шломовна.

Вдруг захотелось сказать прямо, как чувствовала и как думала, когда терла, мыла, стирала у себя в маленькой квартирке:

— Мое счастье — только дети. Дети и все.

— Что ж, это грустно, Мила, — ответила старушка. — Но будем считать, что у вас еще все впереди, — и сразу подвела черту под всеми разговорами о новогоднем столе: — Главное, чтобы у нас была ель. Живая!

— Да, обязательно живая! Как всегда, каждый год, — подхватил Аркадий. — Это такой запах в доме!

Вскоре Анна Шломовна Раппопорт засобиравшись, оделась в легкую светлую дубленку, надела цветастый платок, а поверх него аккуратный норковый берет и вышла, оставив Людмилу с сыном наедине.

— Я приду через час-полтора. Не прощаюсь. Мне в аптеку надо — Аркадий стесняется покупать лекарства по моим льготным рецептам...

Хлопнула входная дверь, два раза повернулся ключ в замке.

Аркадий тут же, словно подкошенный внезапным сном ребенок, повалился на Людмилу Тулупову — не произнося слов, не вздыхая, боясь шевельнуть руками. Его тело, большое и несуразное, почти как у любого мужчины за сорок, падало в сидящую на диване женщину, точно специально с наклоном подпиленная сосна. Оно сваливалось на колени, требуя тепла, ласки, ответа, но траектория была выбрана неверно, и он падал весь, сразу, как храм Христа Спасителя при большевистском взрыве. У Аркадия Раппопорта, даже не у него, а у его тела, было одно желание — пролезть в

нее, переодеться в ее кожу и уснуть, согретым ее кровью, дыханием и женским, жарким теплом.

— Аркадий, ты так пристаешь?

Все его тело зашевелилось в глубоком «да».

Такого Тулупова не испытывала никогда. Свободный еврейский ум был совсем неопытным мальчиком. Она развернула его на себя, повернула голову, словно у пластмассовой куклы, и положила на свою грудь.

— Полежи, мой любимый, нежный, успокойся. Лежи.

Аркадий замер.

Людмила медленно гладила его седеющие волосы и смотрела на потолок с лепниной, на старинную люстру, на круглый стол со скатертью, на обои и вообще на всю почти нетронутую современным предметом академическую обстановку и думала о том, что ее зовут жить в музей, под той самой мраморной плитой, которую сняли с фасада и занесли в дом. Нечто прямоугольное, завернутое в тряпку и перевязанное толстой веревкой, она видела прислоненным сбоку при входе. Ей нравился этот музей неизвестного ей человека, ученого и доброго семьянина. Похоже на библиотеку, даже запахи схожи, но жить здесь было и заманчиво и невозможно. Она чувствовала, что теперешнего главного жителя этого дома, безмолвно возлежащего у нее на груди, и его замечательную еврейскую маму надо будет полюбить по-настоящему, без подделок, как она, наверное, еще никогда не любила и, наверное, уже не сможет. Она стала думать о том, почему не любят евреев, да, они высокомерные, у них в заднем кармане на все свое мнение, но они такие лапочки, такие дети...

Аркадий осмелел и оттаял на ее груди, потянулся расстегнуть застёжку на спине, но Тулупова, поцеловав его несколько раз в макушку, а в его лице весь еврейский народ, сказала:

— Пусть это будет в Новом году, Аркаша. Пусть все новое начнется с Нового года — я еще не готова.

38

У Хирсанова отобрали пропуск на первой проходной, при входе в комплекс зданий Администрации Президента. На все вопросы офицер службы охраны через стекло показал подписанное кем-то распоряжение с печатью. Хирсанов бросился было звонить, но вдруг понял, что это — конец. Ничего изменить нельзя. Он поехал домой и три дня лежал и ждал, что за ним придут. Он ел, спал, читал, и всякий раз ему казалось, что этот кефир утром он ест в последний раз. И кусок обжаренного с луком мяса имеет точно такой же последний вкус, потом кровать, ее удивительная горизонтальность, чистые простыни, кофе — все имело свое определение и вкус расставания. Жена нудно спрашивала из своей спальни, как кукушка в часах, с заданной периодичностью:

— Что ты все дома? Тебя что — выгнали?

Когда четвертым днем за ним не пришли, голова заработала иначе. Он рассмотрел из окон квартиры весь двор, машины и людей, и не нашел слежки. Обошел дом и купил в ближайшем магазинчике хлеб, молоко и десяток яиц. Нес пакет и думал: вот набор пенсионера — финал жизни. К вечеру Хирсанов спустился в гараж и подогнал свой джип к подъезду. Он решил, что его могли уволить без объяснений, — он свободен. В голове нашлись аргументы в том смысле, что арестовывать и судить его нельзя, что он нужен, что он много знает, более того, знает то, что не знает никто. Да, его ждет унижительная опала на некоторое время, но потом начнутся выборы и он может пригодиться. В памяти всплывали фамилии знакомых ему людей, которые попадали в немилость, а потом глядишь — снова на этаже, с табличкой на двери. Затем пришла мысль о том, что он никому не нужен до Нового года — посмотрел на календарь — уже двадцать пятое, почти ничего не осталось. Самолеты на горные

курорты в Швейцарию и Францию стояли под парами — кто его вспомнит в мертвый сезон, когда никто уже не работает?

Савилов тоже смотрел на календарь, но иначе — до Нового года хотелось завершить эту работу и уехать на неделю к родителям в Новокузнецк. В Москве решили ничего не предпринимать: тут пресса, люди, любое происшествие скрыть трудно — ждали выгодного момента и смотрели, как в окна домов постепенно вечерами зажигаются лампочки на украшенных елях. Оперативная машина, грузопассажирский Volkswagen, менялась два раза в сутки, а иногда Савилов приезжал на своем старом «Форде», который мечтал сменить, и ждал в соседнем квартале. Когда Хирсанов выходил из магазина, Савилов специально проехал мимо, навстречу, пытаясь разглядеть лицо и прочитать его психологическое состояние. Проехал — но ничего не понял.

На хирсановскую машину поставили маячок, еще когда она стояла в гараже. Все делалось правильно, как положено, но не хотелось ждать, мерзнуть под крепчающим морозцем. Один день в оперативной машине просидел Сковородников, для того, чтобы привыкал и приглядывался.

— Лейтенант, мы тут что, будем Новый год справлять? — на четвертые сутки спросил Савилова водитель оперативки. — Это не я спрашиваю — это жена.

— У тебя есть предложения? — ответил Савилов и добавил: — Попробуем что-нибудь сделать.

Он поехал в контору, нашел в деле распечатку последних звонков Хирсанова, среди них — один межгород. По коду выходило, что это граница Горьковской и Владимирской областей, поселок Урицкого, владелец телефона — некто Анатолий Вальтерович Ниханс, предприниматель. Савилову очень хотелось успеть к родителям, к семейному столу, и в голове начинали рождаться комбинации, суть которых состояла в том, чтобы организовать приглашение приехать на праздники в поселок Урицкого, к этому Нихансу. Он не знал точно, какие между ними отношения и не насторожит ли такое приглашение Хирсанова, но захватывать его и везти куда-то он рассматривал как самый крайний вариант. Ничего путного на ум не приходило. Он позвонил в оперативную машину — новостей не было: из дома не выходил, никому не звонил и ему — никто. Савилов набрал номер библиотеки, где работала Тулупова. Трубку взяла Маша, он ее сразу узнал.

— А где ваша строгая начальница? — игриво спросил Савилов.

— Кто говорит?

— Говорит советское информбюро. Работают все радиостанции Советского Союза...

— Кто это?

— Никто. Маша, ты одна?

— Кто говорит? — возмущалась Маша, но не могла бросить трубку из-за женского любопытства и еще оттого, что она догадывалась, кто это звонил. — Кто?

— Это — я. Ваш незнакомый друг.

— Кто?

Савилов еще чуть потянул время и напомнил Маше о своем посещении и о том, что она ему понравилась и вот он звонит.

— Кстати, Маш, вы не знаете, где находится поселок Урицкого?

— Далеко. Моя завбиблиотекой недавно туда ездила, говорила, что это часов пять на электричке или меньше, я ее сейчас спрошу...

— Не надо, — остановил ее Савилов. — Если пять или меньше, я туда не поеду точно, в такую даль на Новый год. Буду искать другие варианты. А вы где справляете, Маш?

— Еще не знаю, — сказала Маша, хотя обещала справлять Новый год со своим молодым человеком, который ей все еще нравился, но уже не очень.

— Я все понял, — многообещающе сказал Савилов и распрощался.

Повесив трубку, он подвел черту вслух:

— Дуракам везет. Значит, недавно он там был с библиотечаршей.

Савилов спустился в столовую на нулевой этаж, заказал себе порцию борща со сметаной, два вторых — мясное и рыбное, клюквенный морс, чай, а на салфетке за едой набросал SMS, как бы от Ниханса. Задача была проста: написать текст, который, с одной стороны, привлекал бы, но, с другой, там не должно быть ничего, что могло бы насторожить, например, обращений на «ты», на «вы», потому что неизвестно, как они общались между собой, должен угадываться стиль человека... После обеда Савилов отдал отпечатанный на принтере текст в отдел компьютерной обработки, с тем чтобы они отправили SMS как бы с телефона Ниханса, и у Хирсанова на мобильном телефоне источник определился как положено.

Через час Кирилл Леонардович Хирсанов прочитал сообщение, которое, как он решил, было в типично восторженном духе Толи Ниханса: «У нас пошла такая охота по первому снежку! Погода прелесть. Надо не только работать, но отдыхать. Встречу на высшем уровне. Жду в любой день, чем раньше, тем лучше. С наступающим! Если я вне зоны — значит, на охоте. Жду».

Хирсанов нажал на номер контакта в телефонной книге своего мобильного. Подождал и получил ответ: «Телефон находится вне зоны действия сети».

«На охоте», — подумал Хирсанов.

На самом деле на охоте был он сам, причем не в роли охотника.

Тулуповой на работу позвонила Клара и сказала, что хочет на праздники уехать — с двадцать девятого декабря по третье января — в подмосковный дом отдыха.

— И с кем же ты хочешь уехать? — обреченно спросила Людмила Тулупова.

— Ма, ну какая разница. С кем, с кем — с людьми...

— Я знаю этих людей?

— Ма!

Людмила знала, что этот разговор обязательно должен состояться, но теперь он был почему-то очень болезненный, болезненный как никогда.

— А Сережка?

— Сережка тоже уезжает — я знаю, со своей этой, училкой, они тоже куда-то намылились.

— А между прочим, нас всех приглашают на Новый год в гости, в хорошую семью. Там уже купили настоящую живую елку, до потолка, — мне уже позвонили.

— И?

— Что «и»?

— Я должна водить хоровод под этой елкой? С неизвестными мне людьми?

— Ничего ты не должна! — еле сдерживая себя, сказала Тулупова и бросила трубку.

Ей вдруг так стало страшно предстоящего Нового года, мучительного одиночества в чужом доме, и самое страшное — изображать любовь, захотелось немедленно броситься к телевизору и смотреть всю их новогоднюю глупость, все их тупые шутки и чокаться, чокаться шампанским с экраном до одурения.

«Как быстро подкрадывается этот Новый год, как быстро!» — подумала она.

Утром пятого дня жена Кирилла Хирсанова вышла из спальни в красном широком пеньюаре с оборками и тонкой вышивкой по краям. Она зашла в ванную комнату и долго плескалась под душем, слушая музыку по радио. Хирсанов вышел из своей комнаты, заметил через неприкрытую дверь силуэт жены, услышал неожиданно бодрые звуки, которыми сопровождалось купание, и понял, что его вечно больная жена вдруг ожила и имеет определенные намерения. Он забыл, когда они занимались этим, сколько прошло лет. Высчитывать, было это в прошлом веке или все же в этом, ему не хотелось.

Он выглянул в окно: легкий снежок, солнышко, некрепкое в своем свете. Машину за ночь слегка припорошило.

Кофе был готов. Он сделал бутерброд с сыром и стал жевать быстрее, когда прекратилась литься вода, но успеть доест до встречи с женой не получилось.

— Почему ты меня не подождал? — спросила она, заходя на кухню. — Мы могли бы вместе позавтракать.

— Я тороплюсь, мне сегодня надо, — ответил Хирсанов, понимая, что теперь ему ничего не остается, как ехать к Нихансу на границу двух штатов.

— «Хер» садится в машину. Куда едет, не знаем — никому пока не звонил, — передали из оперативной машины лейтенанту Савилову. — Что делать? Мы — за ним?

— Да-да, конечно, — распорядился по радиации Савилов. — Докладывайте о маршруте, я к вам присоединюсь.

Савилов набрал номер мобильного телефона Сковородникова:

— Ну, Сковорода, давай блины жарить! Я тебя подхватываю у метро, ты снимаешь квартирку на Рязанке? Все сходится — крюков делать не надо. О'кей. Мой «Форд» ты видел. Жди.

Хирсанов сел в джип, долго прогрел мотор, хотя этого не требовалось, но ему почему-то хотелось, чтобы в машине, как дома, было тепло, потом аккуратно, медленно, как катафалк, выезжал из двора на широкий проспект и почти сразу остановился у придорожного магазина «Цветы». Зашел в стеклянный павильон, стал выбирать. Как-то по-новому посмотрел на отборные розы, хризантемы, лилии, герберы и на ценники под ними — все не нравилось, все не то. Продавщица с украинским говорком предложила помощь, но он отказался.

Он подумал — а вдруг Тулупова не согласится с ним поехать и он будет с этим веником как дурак. И вообще, эта отутюженная селекционная цветочная красота противоречила всему, что он чувствовал сейчас. На самом деле — дарить ничего не хотелось. Пусто и жалко себя. Он подумал, что такого Нового года у него, наверное, еще не было.

— Ничего не нравится? — спросила продавщица.

— Ничего.

Хирсанов вышел из магазинчика, снова сел в машину и почти без пробок доехал до Музыкального института. Набрал номер.

— Привет, — сказал он. — Привет, Мил, это — я.

— Да, Кирилл, я узнала, — ответила Тулупова, она только что примирила себя с тем, что на длинные праздники останется одна, а сам Новый год, с тридцать первого на первое, будет встречать у Аркадия. А дальше все было непонятно. Ей это все не нравилось, как будто кто-то стоял рядом и останавливал, шептал что-то невнятное на ухо, ни во что не верил, на все отвечал ухмылкой, сомневался в каждом шаге — ничего из всех ее планов не выйдет. Вот и Хирсанов появился вдруг.

— Посмотри в окно, — сказал Хирсанов.

— Зачем?

— Посмотри.

Тулупова подошла к окну и увидела знакомую машину Хирсанова и его рядом с ней.

— Вижу.

— Отключай ему связь! Срочно! — распорядился Савилов, понимая, зачем объект, то есть Хирсанов, приехал к институту.

Связь прервали.

Хирсанов несколько раз перенабрал номер, а затем стал жестикулировать, показывая Людмиле Тулуповой, чтобы она спустилась вниз — раз телефон не работает.

Если бы Савилов истерично не оборвал связь, она легко бы отказалась — по телефону это всегда проще; если бы Хирсанов позвонил чуть раньше из цветочного магазина или подъехал, как победитель, с букетом лживых торжественных роз, или бы позвонил еще до звонка дочери Клары — настраивание у нее было бы другое; если бы жена Кирилла Хирсанова не надела утром красный пеньюар, не пошла бы в душ, а

продолжала бы привычно лежать в кровати, подсвеченная работающим телевизором, — Кирилл собирался бы еще полдня, да, может, и не собрался бы никуда ехать; если бы Аркадий не купил ель, а попросил бы Людмилу Тулупову, как и мечтал, поехать с ним вечером после работы и выбирать их первую елку вместе; если бы Шапиро приезжала из Германии не в январе, а раньше; если бы Тулупову вызвали в бухгалтерию или к ректору с годовым финансовым отчетом по закупкам библиотечных фондов; если бы флейтистка Маша, если бы... «Если бы» — какое замысловатое количество и качество этих «если бы» могло бы выстроиться в нужный, счастливый для Людмилы Ивановны Тулуповой ряд и развернуть ее — «если бы». Но она, надев дутое легкое пальто с пристегивающимся воротником из крашенного под леопарда кролика, спустилась вниз, как школьница, пробежала по морозцу к машине, села на переднее сиденье рядом с Хирсановым, и он сказал, как-то особенно проникновенно, не пошло, как довольно часто у него выходило, — «если бы», но он сказал именно так:

— Перед Новым годом такое бывает — связь... рвется. Но не между нами, Мил? Между нами ничего не рвется...

— Нет, — сказала Тулупова. — Между нами ничего не рвется. Ничего особенного и не было, поэтому и... Да, Кирилл?

— Неужели ты все еще обижаешься — не обижайся, — ответил он и добавил: — Меня с работы выгнали, подчистую. Уволили.

— Да?! Ну, не расстраивайся, тебя везде возьмут — ты такой умный.

Опять библиотекарь выдала ему книжку и перьевой ручкой жирно записала в потертый желтоватый читательский билет: число, затем черта с наклоном, месяц римскими цифрами, название книжки и далекий голос: Кирилл, ты у нас самый читающий мальчик во всей школе, самый умный, самый начитанный, вот, распишись здесь, это последняя страница в твоём читательском билете, дальше надо будет уже доклеивать, вот ты у нас какой, расписывайся.

— Мил, поехали со мной. Ниханс эсэмэску прислал — такая охота по первому снегу! Это будет самый лучший Новый год в твоей жизни, поверь. Я люблю тебя. Мил. Мне без тебя плохо.

— Нет. Я — не охотница. Я справляю Новый год в другом месте, с другим человеком — я обещала. И никуда не поеду, Кирилл. Не могу, хотя ты очень хороший...

Хирсанов не заметил этого «человека», он не верил, он считал, что у библиотекаря не может быть несколько мужчин, и поэтому только повторил:

— Мил. Мне плохо. Очень.

Она машинально погладила его по голове, как ребенка, который жалуется — больно ударился.

— Не расстраивайся, ты действительно умный.

— Мил...

— Что?

— Мил...я тебя прошу.

— Нет.

— Просто туда и обратно. Мне одному так...

Савилов спросил стоящую недалеко оперативную машину:

— У вас нет направленного микрофона — о чем они там говорят так долго?

— Нет. Мы не взяли.

— Жаль.

— Вот, — добавил он сидевшему рядом Сковородникову, — идешь на охоту, рыбалку, отец учил, — бери все.

— Крючки большие и маленькие... — поддержал тот.

— Уже соображаешь, Сковорода! Вот где тебе пахать надо — у нас!

Савилов посмотрел на лицо молодого парня и в очередной раз понял, что тот и не догадывается, для какой работы его взяли, почему он здесь сидит, подписав пустую, никчемную бумажку о неразглашении государственной тайны.

— Мил...

— Да, что ты хочешь?

— Мне одному почему-то страшно. Поедем, по дороге съедим шашлыки, а потом я отправлю тебя обратно на этой же машине с шофером, там у них есть один парень...

— И когда я вернусь?

— Когда захочешь... — радостно сказал Хирсанов, понимая, что она готова согласиться. — Хоть сегодня, хоть завтра, как решишь...

Тулуповой вдруг неожиданно нестерпимо, как воды, захотелось дороги. Будто кто-то подталкивал ее в бесконечный путь. Захотелось ехать долго-долго одной. Захотелось этого мелькания, шума резины, захотелось обратного пути, уже без Хирсанова, за стеклом — снежок, лес, холод, белая, ровная зима, петляющее полупустое шоссе, почему-то никогда не надоедающие российские просторы, глубокий, врезающийся в темноту свет фар. Одиночество дороги. Все с нее начинается, все ею заканчивается.

Вскоре она все это увидела и услышала. И свет фар, и просторы, и лес, и шум шипованной резины. Но перед этим Тулупова поднялась в библиотеку — время было уже половина второго — и написала короткую записку для Маши: «Открой библиотеку сама, я завтра буду чуть попозже». И подписалась инициалами: «Л.И.Т.».

Она смотрела по сторонам, вспоминала ту осеннюю дорогу и теперь, казалось, ничего не совпадало — другая дорога и другая страна. Затерянные концы и нераскрытые начала. Смотришь и ничего не ясно, ни с чем — ни с тобой, ни со страной, ни с чем абсолютно. Почему она поворачивает туда, почему сюда? Кого объезжает и от чего отворачивается полотно зимней дороги? Почему спускается вниз и как выходит в горизонт? В темный, подсвеченный луной.

Хирсанов особенно не гнал, во всяком случае, так ей казалось. Что-то говорил о работе, о том, что все не так в России делается, что он бы мог и хотел все развернуть, но так сложно пробиться со своими идеями. Все время ждешь чего-то, а так и не выходит ничего, и все идет к черту.

— Ты не спишь? — спросил он долго молчавшую Людмилу.

— Нет, я слушаю, — соврала Тулупова, которая, как самый тупой ученик в классе, не смогла бы повторить и двух последних слов учителя.

Но все, что говорил Хирсанов, никому уже не могло пригодиться.

Оперативный Volkswagen шел в нескольких километрах впереди. Маячки, светящиеся на панели монитора слежения, позволяли держать точное расстояние до объекта. Савилов на «Форде» вместе со Сковородниковым шел за джипом Хирсанова сзади и ждал, что тот остановится на какой-либо бензозаправке по пути, но объект ехал и ехал и уже далеко вышел за территорию Московской области. Собственно, здесь лучше всего и было проводить операцию, которую они с Кашириным обсуждали, — главное, подальше от Москвы и без применения огнестрельного оружия.

— На ближайшем посту милиции, — передал Савилов в оперативную машину, — договоритесь, чтобы его остановили и проверили. Может, мы там попытаемся все сделать. Как поняли?

— Поняли. На посту.

— А что мы будем делать? — наконец перестал стесняться и спросил Сковородников.

— Делать будешь ты, — ответил Савилов. — Пусть это будет твое первое боевое крещение. Первое. Боевое. Это входной билет такой — в наш мир. И заметка на память — что бывает с предателями.

Савилов посмотрел в глаза шахтерскому пареньку и не увидел в них ни страха, ни робости, ни даже волнения — он, как будто у себя в ресторане, принимал очередной заказ.

— И что? — спросил Сковородников — «заказывать будем или еще меню посмотрим»?

«Пока еще меню посмотрим».

— Рано. Не торопи.

— Где-то здесь, — сказал Хирсанов Людмиле Тулуповой. — Тут мы с тобой ели, у азербайджанца, как его звали, не помнишь?

— Нет, — ответила Тулупова и стала напрягать память.

Она вспомнила стоявшую на привязи корову, которая вскоре должна была превратиться в разрезанное на кусочки, замоченное в пряности и луке мясо, вспомнила послушного мальчика с шампурами, запах шашлыка и свежего лаваша, но имя мангальщика упорно не вспоминалось.

— Представляешь, мы бы сейчас подъехали и сказали ему привет, там, как его...

— Да. Он бы удивился, что ты его запомнил. Но какая разница, как кого зовут, — она вспомнила Анну Шоломовну и повторила за ней: — Там нас встретят не по именам...

— Что-то ты, Мил, прям очень грустно на мир смотришь. Так нельзя. Как там в рекламе: «Все только начинается...»

— Что?

— Наша с тобой жизнь. Сейчас барана купим — ты же тогда хотела...

— А сейчас-то зачем? Там же у них охота...

— Баран на Новый год лишним не будет.

Хирсанов увидел знакомую вывеску, теперь присыпанную снегом, — «Хорошие шашлыки».

— Останавливаются у шашлычной! Не надо ментов загружать. Срочно сюда! — скомандовал по рации Савилов, и оперативная машина, улучив просвет в едущем навстречу потоке, быстро развернулась и понеслась в обратную сторону.

— Как ты думаешь, — обратился он к Сковородникову, — если ты рядом пройдешь с ними, они тебя вспомнят?

— Не знаю, они выпивши были. Я был в костюме. В белой рубашке...

— Но близко не подходи все равно. Вспугнуть нельзя. Когда выйдут из машины оба, ты на тормозные колодки прикрепи это. С одной и другой стороны, тут специально все сделано, посмотри, вот так...

Савилов показал, как крепится специально сделанное приспособление, для того чтобы в течение нескольких минут тормозные шланги были разъедены и не сработали тормоза. Он попросил Сковородникова повторить, что он и как понял.

— Включать будем дистанционно, когда отъедут и разгонятся как следует.

— А женщина? Она тоже? — спросил Сковородников: — ...она тоже предала?

— Не надо. Лишние вопросы в нашем деле не приветствуются. Мы ее к нему не сажали... Хотя она тоже виновата, если по-настоящему посмотреть, но я что-нибудь попробую сделать. Но уж как получится.

На самом деле, Тулупова тоже не давала покоя Савилову, он все время думал, как ее убрать из машины. Она мешала, как лишний свидетель, и делать с ней непонятно что. Если они доедут до поселка, там свидетелей будет еще больше, если ее удалять из машины, она опять должна быть ликвидирована. Отложить акцию — но люди, которые ждут Нового года, трое оперативников, включая водителя, он сам — все хотят Нового года в кругу семьи. В общем, как ни крути — так и так, в его рассуждениях все получалось плохо, и еще скажут — «с простым делом не справился».

Хирсанов действительно решил купить у мангальщика Камиля живого барана, с тем чтобы при нем его зарезали и освежевали. Поэтому после поздравлений с на-

ступающим Новым годом и восточных объятий он пошел выбирать с Камилем барана в кошаре. Камиль шел и жаловался на то, что перед Новым годом баранов осталось мало, всех молоденьких разобрали, но все равно он подберет старому клиенту хорошего, с большим курдюком, который, если правильно приготовить, будет «самый вкусный еда на Новый год». Хирсанов по своему обыкновению допытывался, как правильно его готовить и от чего помогает курдючное сало, о целебных свойствах которого он слышал.

Людмила Тулупова сидела в машине.

Савилову и Сковородникову, наблюдавшим издалека за происходящим с небольшой парковки, казалось, что она и не собирается выходить из автомобиля.

— Что она там сидит? Черт! — выругался Савилов.

— Холодно. Грется.

— Сходи, пройдишь, посмотри. Закажи нам по шампуру.

Сковородников вышел из машины и двинулся к павильону. Навстречу ему выбежал мальчик и, открывая перед ним дверь, спросил, будет ли он заказывать шашлык или люля и сколько порций.

— Две.

— Две люля — две шашлык, — принял заказ предприимчивый мальчишка.

— Два шашлыка! — почти по складам произнес Сковородников.

— Хорошо. Зачем, дяденька, нервничать?!

В это же время подъехала оперативная машина. Из нее вышел водитель и тоже заказал у мальчишки три порции мяса с собой.

Через некоторое время все участники охоты ели мясо, но судьба сортировала людей на тех, кто ест свой последний кусок, и на тех, кому суждено делать это еще не раз.

Из перерезанного горла барана толчками выливалась кровь в пластмассовый синий таз, часть ее каплями попала на свежавывавший снег и по-новогоднему украшала его. Хирсанов с пытливостью мальчишки наблюдал за умелыми действиями азербайджанца, а тот, чувствуя его ученический восторженный взгляд, сказал ему без почтения:

— Ты когда-нибудь кровь кушал?

— Нет. А ее едят? — удивился Хирсанов.

— Еще как идят! Жарят на сковородке...

Тулуповой мальчишка принес порцию шашлыка в машину, она его съела одна, пока Кирилл возился с покупкой барана. Потом вышла на мороз, чтобы выбросить одноразовую тарелку и заодно помыть руки. Возвращаясь к автомобилю, она неожиданно столкнулась с земляком, отходившим от хирсановского джипа. Сковородникова она узнала сразу, несмотря на то, что тот был в спортивной куртке, вязаной шапке и высоко закутан шерстяным шарфом. Она узнала его моментально, как узнают своих детей в любой темноте и непогоде, он так же, как его отец Андрей Сковородников, шел медленно, спокойно, словно по пляжу.

— Ты, — удивилась она. — А чего ты тут делаешь?

— Работаю.

Она не понимала, как могла произойти их встреча здесь, на дороге.

— Где?

— Тут. Хотите, поехали с нами в Москву — мы тут с ребятами, — невнятно произнес Сковородников и показал на савиловский «Форд». — В Москву, в общем, едем.

— Нет, спасибо. Не могу, меня ждут... — сказала она машинально — эта вторая случайность уже совсем никуда не укладывалась, была уже знаком, дальним и непонятным приветом из Червонопартизанска.

— Ждут, — повторила она.

— Тогда с Новым годом! — сказал Сквородников и своей династической походкой пошел к машине.

— Да. Тоже, — через длинные паузы говорила она. — Тебя.

39

Кирилл Хирсанов, довольный собой, со словами восторга загрузил в багажник завернутую в полиэтилен тяжелую тушу барана, и они выбрались на темную трассу, проехали по дороге несколько километров, и подогретый удачной покупкой Хирсанов придавил педаль газа. Тулупова, все еще не понимавшая смысла последней, случайной, как ей казалось, встречи, сказала своему кремлевскому другу:

— Ты знаешь, кого я только что видела? Помнишь...

Это было ее последнее слово. Она его еще один раз повторила, уже когда на огромной скорости, без тормозов они летели в белую придорожную бездну, повторила шепотом и протяжно, как начинают русскую песню, со вздоха, с сердечного порыва:

— П-о-м-н-и-шь...

Она видела, как бумажно мялась черная крышка блестящего в свете фар капота, как сыпалось стекло, словно дождь с градом. И ничего не было слышно. Перед глазами, уже полужакрытыми, летел белый тальк из сработавших подушек безопасности. Тальк, похожий на дым и облака. Она совсем не чувствовала боли. Совсем. Даже порезанный палец на кухне болел бы больше. Она чувствовала, что все крутится и летит. И долго. Долго. Летит. И мелькают слова, которые она то ли произносит, то ли они сами высвечиваются на какой-то приборной доске: «я. ты. смех. было. чудо. как все. беспокойство. возьми. саранча. и все. любовь. беспокойство. много. женщина. колбаса. ух. нашатырь. ночь. всегда. муж. солдат. здесь не храм. кольцевой. ведется следствие. вызывает тот факт. городом. тело». И потом она видит его, узнает и говорит своим тихим, звонким, детским голосом:

— Здравствуй, Павлик.

— Здравствуй, Мила.

— Павлик, ты?

— Иди сюда, — говорит Павлик.

— Почему ты тоже говоришь «иди сюда»?

— Потому что только сюда можно идти. Всю жизнь шла сюда, остался последний шаг. Не держись, там ничего нет, — сказал Павлик.

— Почему? Почему нет? Там все было. Там...

— Не держись — я тонул смело...

— Смело?

— Да.

— Очень смело?

— Смело.

— У меня там дети. Могут быть внуки. Я их теперь не увижу.

— Увидишь, отсюда все видно.

— Правда?

— Иди сюда... Иди сюда...

— Идти?

— Смелее.

— Мне кажется, что у меня еще бьется сердце.

— Это не страшно, скоро это пройдет. Не держись.

— Ты меня ждал, что ли?

— Конечно.

— Но ты знаешь, сколько мне уже лет...

— Да, но ты пришла ко мне все той же девочкой трех лет.

— Ты что, меня еще любишь? Ты что, любишь меня? Ты... что ли...

— Мужчины существуют для того, чтобы любить женщин... Ты моя единственная женщина. Единственная на всю ту, короткую, и эту бесконечную жизнь. Ты — моя жена...

— Я жена?

— Да.

— Жена?

— Ты — жена ангела.

— Но я...

— Я так долго получал от тебя письма.

— Да, я тебе писала...

— Я их читал. И вот мы снова встретились.

— Но меня теперь нет... меня же теперь нет...

— Я знаю.

— Но... как мы будем? Как?

— Я знаю и это.

— Ты что, меня еще любишь?

— Ангельской любовью, самой сильной из всех. С наступающим, Новым годом, Мила! С Новым годом! Хорошо... Ты здесь, среди нас, — сказал Павлик.

Она оглянулась на окружающую ее синеву, на десятки, а может быть, сотни парящих над ней ангелов. Они смотрели на нее с радостью, умилением и тихо говорили друг другу: «она жена ангела», «он дождался — она жена ангела», «она писала ему всю земную жизнь — она жена ангела».

«Это я, это обо мне говорят, что жена ангела. Они говорят, что я жена ангела, что я была женой ангела все эти годы на земле, все эти годы — я жена ангела. А что должна была делать жена ангела? Она должна ждать, она должна ждать своего часа. Она должна быть женой ангела. И только. Ей будут приходить ангельские мысли, у нее будут ангельские дети, и в ее доме всегда будет гореть свет от свечи, и всегда будет стоять настоящая ель на Новый год».

Вдруг откуда-то сбоку, как будто в громкоговоритель, произнесли: «Тулупова, на вскрытие».

Душа ее вся съежилась.

— Не бойся, это делают всем. Всем, кроме детей. Я обо всем договорился, тебя будет смотреть Бог.

— Договорился? — не поняла Тулупова.

— Он всегда смотрит в таких случаях, — сказал Павлик-ангел.

— Тебе не делали этого, нет?

— Мне — нет. Но я знаю, все будет хорошо.

Она полетела в синеву.

— Какая чистая душа, — сказал Бог.

— Она жена нашего ангела, — шепнули откуда-то сбоку и добавили: — Вы его знаете...

— Ох, это мирские подсказки... — отрезал Бог. — У нее ангельская душа — это видно сразу. Да, это видно, видно... да. А почему она только сегодня у нас?

— У нее было двое детей, она их воспитывала одна, — опять подсказали сбоку.

— И что? — как-то почти про себя сказал Бог.

— Ее убили...

— Вы мне будете рассказывать! — с одной очень характерной интонацией сказал Бог. — В общем, все ясно. Кто там еще сегодня? Я устал от вас и ваших просьб.

«Понимаешь, Павлик, я не знаю, о чем вы там думали на небе все это время. О чем ты там думал, я не знаю. Понимаешь, Павлик, жизнь никогда не кончается. И не начинается. Она же бесконечна. Вот я иду к тебе. Уже пришла, той же девочкой, что ты меня встретил в три года в Желтых водах. Я такая же, со мной ничего не произошло,

как будто в жизни ничего не было. Никого не было — была только я. Я вернулась теперь в ту ангельскую картинку, которую видели наши родители, когда мы играли на ковре, на полу у тебя дома. Ты ждал меня — я искала тебя всю жизнь. Ты мой. И самый-самый. Тот, который. Который введет меня в мир любви. Где только любовь. Я и вхожу сейчас, с тобой. Дорогой, Павлик! Именно в этом мире мы существуем. Я иду к тебе навстречу. Навстречу особой страсти, которой мы не знали там, и вот теперь я понимаю, что ничего не теряла, ничего не искала, я, может быть, только ждала. Нет тела, оно ничего не просит, не говорит, мой большой бюст уже закапывают без меня, а я снова девочка, готовая летать с тобой по небу. Иду к тебе, и вот все. Все, что можно сказать здесь, сейчас. Это как письмо получилось. Последнее. Но я не знаю, я тебе это говорю или пишу? Не важно. Важно — мы с тобой».

40

Савилов со Сковородниковым подъехали к искореженному хирсановскому джипу первыми. Некоторое время молча сидели в машине, дожидаясь оперативной группы. Когда спецы приехали, они осмотрели машину и тела. Хирсанов был еще жив, но его решили не трогать, потому что травмы были очень серьезные, и посчитали, что он все равно не жилец. Сняли номера с машины, подчистили места, где прорвались тормозные шланги. Достали ноутбук Хирсанова, чековую книжку и передали Савилову.

— Главное, чтобы долго искали, а так ничего делать не надо. Авария — и все, — сказал лейтенант оперативникам.

Когда собрались уезжать, водитель оперативки вспомнил про лежавшего в багажнике джипа барана — его решено было взять на Новый год, не пропадать же парному мясу.

Развернулись и спокойно, не нарушая правил, поехали в Москву.

Через несколько минут Сковородников сказал Савилову:

— Я бы сейчас музыке послушал.

Савилов включил и вспомнил про флейтистку Машу, про какую-то «Волшебную флейту» Моцарта, о которой она говорила, и потом почти всю обратную дорогу до Москвы думал о том, почему большие, видные чекисты женились на дамах от искусства.

Тулупова этого эпизода не видела — тогда она предстала перед Богом, но потом она смотрела сверху, как ее ищут дети, Сережа и Клара, ищут по всем моргам Москвы, зашли на сайт, позвонили Аркадию, рассказали, что она пропала. Раппопорт подключился тоже, но больше плакал, ревел белугой, и ей, наверху, было стыдно перед ним. Немного. А потом ее нашли, в небольшом морге при районной больнице. Там же, в реанимационной палате, лежал и Хирсанов.

Людмила видела, как ее отпевал старый батюшка в храме при каком-то новом кладбище. Он только что перенес инсульт и с трудом вел службу, спотыкаясь и не проговаривая слова. Она на него не обижалась, пусть работает, надо же семью кормить. Клара, наоборот, переживала очень, ей казалось, что это унижает и оскорбляет ушедшую в иной мир мать. Но потом она подумала, ей как будто сверху кто-то подсказал, что эти слова уже ничего не решают, все уже решено.

Потом были поминки, на которые Людмила Тулупова не пошла посмотреть, они летали в небесах с Павликом, и она не слышала ни что говорила Марина Шапиро, ни что говорила Юлия Смирнова — члены экипажа непотопляемой подводной лодки, ни Роза Сатарова, ни флейтистка Машенька.

Через две недели Клара очень хотела узнать, куда мать ехала и с кем, кто он был, этот Хирсанов. В интернете появилось сообщение, что один из авторов «Проекта разведения мостов» попал в сомнительную автомобильную аварию, что состояние у него тяжелое.

Клара купила курицу, сварила, потом еще купила апельсины и мандарины и поехала в районную больницу за почти двести километров от Москвы. Приехала — а

его перевели в институт Склифосовского в Москву. Она — туда. Пока путешествовала по электричкам и метро, бульон прокис. Остались одни фрукты. С ними она и пришла в палату к Кириллу Леонардовичу Хирсанову. Ему стало лучше, но говорить он еще не мог. Только подморгнул ей и слабо кивнул головой, что вот выздоровеет и расскажет все. Она часто к нему заходила. Сидела, кормила, потом разговаривала, и однажды он ей сказал:

— Дорогая Клара, я украл некоторое количество кораллов и думаю, что в Италии мы бы могли их тратить вместе, пока я не умру или от любви к тебе и твоей молодости, или просто так от одиночества, если ты захочешь меня бросить. Я все понимаю и про маму, и про мой возраст, но я знаю, меня решили оставить в покое, и мы можем без препятствий уехать. Ангел мой, скажи, что ты об этом думаешь?

Так Хирсанов с Кларой оказались в Италии на берегу синего моря, по-настоящему синего. Сергей на лето приезжал к ним со своей подругой, а потом и женой Верочкой, которая училась в Академии труда и социальной политики уже почти десять лет. Она всегда что-то сдавала и не сдавала, брала академический отпуск и сидела дома. Она читала книжки и поддерживала чистоту в той самой однокомнатной квартире с большим аквариумом на десятки рыб, а Сергей честно строил свой небольшой бизнес из нескольких торговых палаток в новом спальном районе Москвы.

На Пасху и в день рождения Людмилы Тулуповой, но никогда на Новый год они ходили на кладбище и иногда видели, что могилу кто-то прибирал раньше их, видели свежие цветы и обгоревшие свечи и даже однажды нашли висевшую под портретом еврейскую шестиконечную звезду, которую тут же убрали, потому что Людмила Ивановна Тулупова все-таки была православная.

И еще. Когда ее дети стояли возле могилы, они никогда не плакали, они почему-то были уверены, что она — счастлива.

2009—2010

Лариса Миллер

На счастье намеков

* * *

Давайте отменим унынье, упадок, урон.
О как нынче воздух прозрачен, и горек, и сладок,
И слышится щебет со всех светоносных сторон
Весенних, сквозных. Мы на взлете. Какой там упадок!

Коль трудно взлететь, то хотя бы на цыпочки встать.
Для всех, кому хочется жить, вариантов без счету,
И если еще не летал, то пора наверстать,
Услышать на счастье намеков и поймать его с лету.

* * *

Снег счастливый летает, летает душа, что крылата,
Даже кажется, будто летает сегодня земля,
По лазурному небу летает небесная вата.
Прав Создатель, нас в мире сквозном и воздушном селя.

Прав Творец, что лишил нас сегодня предметов громоздких,
И зачем они, если уходит земля из-под ног?
Молодая, нарядная, снежная, в искрах и блесках.
Отдыхает Создатель. Он сделал для нас все, что мог.

* * *

А тогда, на начальном этапе,
Рисовала я солнце на папе,
А вернее, на снимке его.
Я не знала о нем ничего.
Лишь одно: его мина убила.
И так сильно я папу любила,
Рисовала на нем без конца.
Вышло солнышко вместо лица.

Миллер Лариса Емельяновна — поэт, прозаик, критик и эссеист. Родилась и живет в Москве. Окончила Институт иностранных языков. Автор книг «Безымянный день», «Земля и дом», «Стихи и проза», «Стихи о стихах», «Сплошные праздники», «Заметки, записи, штрихи», «Между облаком и ямой», «Мотив. К себе от себя», «Где хорошо? Повсюду и нигде» и др. Живет в Москве.

* * *

Я не знаю имен многих птиц и кустов, и деревьев.
А ведь с ними соседствую, даже касаюсь их взглядом.
Вот пичуга распелась, на голую веточку сев.
Но и я безымянна для них, хоть живу с ними рядом.

Может, так даже лучше, таинственной и веселей.
И меня здесь не знают, и мной этот мир не изучен.
Этот ствол заскорузлый, шершавый, в морщинах — он чей?
Этот март ослепительный, ветреный — кем он озвучен?

* * *

В чью-то душу пробиться хочу.
В чью-то душу пробиться пытаюсь.
Говорю, тороплюсь, спотыкаюсь,
То срываюсь на крик, то шепчу.
Ну впустите, впустите меня.
Бьюсь и бьюсь у закрытой калитки.
Но без этой безумной попытки
Я прожить не умею и дня.

* * *

Ну а с кем мне еще говорить? С небесами толкую.
Небесам исповедуюсь. С кем мне еще говорить?
Да и кто может выдержать долго беседу такую?
Кто еще меня может вниманьем таким одарить?

Ну а им-то самим интересно со мной? Интересно?
Ведь они высоки, глубоки, лучезарны, тихи.
Все земное для них, полагаю, и плоско и пресно.
Потому-то, наверное, я перешла на стихи.

* * *

Скажи мне, жизнь, ты что — уходишь, да?
Меня уже не будет никогда?
Скажи мне, жизнь, ты от меня устала?
А я как раз сегодня рано встала
И строю планы, и пишу стихи,
Где много всякой нежной чепухи.

Елена Чумаева

В районной больничке рядом с Москвой

В ночное время суток

— Заходи, манюня. Сало будешь?

— Не, я сало не ем.

Неодобрительный взгляд:

— Оно и видно. Но это ты зря, сало не будешь есть — замуж никто не возьмет.

Передо мной сидела грузная немолодая женщина с лоснящимся лицом. На голове у нее смятым блином набекрень красовался медицинский колпак грязного серо-зеленого цвета, а на мощных плечах — медицинский халат такой же неопределенной расцветки с завязками позади, затянутыми столь туго, что бюст обрисовывался как на скульптуре Мухиной «Рабочий и колхозница», только был он в два раза больше. Короче, всем на зависть. Куда там до нее Памеле Андерсон, просто смешно!

Это был мой первый рабочий день, вернее — ночь, потому что должность моя называлась «санитарка гинекологического операционного блока в вечернее и ночное время суток». В медицинский институт я после школы не поступила и пошла учиться в медучилище, а параллельно, чтобы познать профессию, так сказать, изнутри и с азов, решила работать. Когда я выбирала, куда определиться, мне представлялись героические события ночной жизни оперблока: в тишине ночи раздается громом телефонный звонок с сообщением о поступающем пациенте, все разом оживает, приходит в движение, врачи и медсестры без устали хлопочут над больным, лица их сосредоточенны, серьезны и полны той особенной тайны, которую часто я видела в кино на лицах актеров-врачей. Вот такое было у меня представление (кино, да и только!). Да, самое главное — в моих видениях я сама конечно же оказывалась не последним винтиком в деле спасения человеческой жизни.

И вот это медсестра?! С салом! В операционном блоке! Бред.

— Ну, что стоишь? Иди, надевай халат и за работу.

— А что делать? — спросила я, доставая новенький отглаженный халат, принесенный с собой (ровно через два дежурства халатик приобрел специфический цвет и вид, и меня это абсолютно уже не трогало).

— Как что? — медсестра со странной ухмылкой посмотрела на меня. — С дневных осталось после «криминалки», там лежит, во второй операционной.

— Что лежит?

— Не «что», а «кто»! Труп — вот что.

— А мне-то что делать? — спросила я, внутренне похолодев.

До этого я никогда трупов близко не видела, а уж тем более к ним не прикасалась.

— Так, сначала отрезаешь кусочек клеенки, делаешь в нем дырку и через дырку бинтом привязываешь к большому пальцу ноги. На клеенке чернильным карандашом

пишешь ФИО с истории болезни. Потом опять же карандашом пишешь то же самое на бедре.

— На каком бедре? — дрожащим голосом еле слышно осмеливаюсь спросить.

— Тьфу ты, ну совсем бестолковая! У трупа на бедре, что ж тут неясного?!

— Я не смогу!

Ужас!!!

— О, господи! Ну, ладно, в первый раз покажу, но потом, учти, будешь делать все сама!

Она тяжело поднялась, вытерла жирные руки о халат и, переваливаясь, повела меня в операционную.

Операционная! Святая святых в больнице. Место, где — судя опять же по кино — все сверкает, блестит и прямо-таки пахнет чистотой.

И вот открываются обшарпанные, давным-давно крашенные белой краской деревянные двухстворчатые двери. Вот это да-а! То, что я увидела, настолько меня поразило (в первый раз, потом — как будто так и надо), что я застыла на пороге, не в силах войти.

Посередине комнаты стоял металлический операционный стол, на котором, раскинув руки, лежала голая женщина с разметавшимися волосами. В глаза мне бросились длинные ярко накрашенные ногти на ее синюшных руках. Они алели и приковывали взгляд. Ноги женщины и сам операционный стол были в противных темных застывших пятнах крови. Такие же пятна — причем в большом количестве — виднелись и на полу. Под столом стояли два таза, наполненные какими-то кровавыми ошметками и множеством испачканных кровью марлевых салфеток. Салфетки валялись и вокруг тазов. В помещении тошнотворно пахло, и мне захотелось открыть окно. Но, увидев мое движение, медсестра рывкнула:

— Нельзя! В операционной окна *никогда* не открываются. Запомни!

Пришлось дышать ртом. А медсестра будто и не ощущала омерзительного запаха. Как ни в чем не бывало, приказала:

— Значит, так... Вымоешь пол, стол, тазы. Всю грязь отнесешь на «сжигалку»¹. Как все отмоешь, включишь вот эту лампу², — она ткнула рукой куда-то под потолок.

— А... вот... — пролепетала я, имея в виду, что же делать с больной... вернее, уже не больной.

— Ну, что еще? — по одному моему виду медсестра, похоже, все-таки поняла несказанный вопрос. — Ах, это? Оставь как есть, утром уберут. А теперь смотри и запоминай.

Не обращая внимания на то, что наступает на кровавые пятна на полу, медсестра подошла к операционному столу, вытащила из кармана огрызок химического карандаша, послунявила его и принялась писать на бедре мертвой женщины. Свободной рукой — безо всяких перчаток! — она придерживала ногу трупа. Карандаш быстро высох, медсестра снова послунявила его и продолжала выводить фамилию покойной. Меня чуть не стошнило. И мне придется делать так же?!

— А часто здесь... это?..

— Что «это»?

— Ну... писать?

— Так, поди, через раз, — радостно, как мне показалось, отвечала медсестра.

Закончив свое кошмарное дело, она сделала рукой жест, означавший «пока», и удалилась. Я осталась одна в этой невероятной операционной. Мне стало жутко страшно. За громадными окнами без занавесок чернело ночное беззвездное небо, и вдруг стало отчетливо понятно слышанное раньше выражение «космическое одиночество». Только мы одни и остались на всей земле. Только я и эта молодая мертвая женщина, которая совсем недавно, как и я, ходила, смеялась, радовалась или огорчалась — жила.

«Надо заняться делом, иначе...» — пришла спасительная и здравая мысль. Где

¹ Как я потом узнала, место в этой больнице, где положено сжигать все отрезанные части человеческого организма и весь использованный ватно-марлевый материал

² Ультрафиолетовую, как опять же выяснилось позднее.

же перчатки? Медсестра про них ничего не сказала. Я побежала туда, где она должна была сидеть, но в комнате никого не оказалось. Я несколько раз понапрасну обшарила все шкафы и вернулась в операционную. Там в тазике под столом я видела использованные перчатки. Пришлось вытащить их из кровавой марлевой кучи, вымыть (как же противно!) и надеть. Других-то я не нашла!

Когда, преодолевая тошноту, брезгливость и страх, я наконец приступила к работе, сзади послышались шаркающие тяжелые шаги. Стало совсем страшно, я сжала в руках швабру и повернулась.

— О, привет! Ты новенькая, что ли? — пожилой человек в бело-сером мятом халате, без колпака, с папирсой в уголке широкого рта, смотрел на меня с непонятной жалостью.

— Да, — почти прошептала я пересохшими губами.

— Знаешь, у меня нога больная. Мне бы спирту...

Он не просил, а приказывал — ласково, но твердо. Даже не спросив, кто он такой, я засуетилась, бросаясь от столика к столику, от шкафчика к шкафчику.

Человек в халате тихонько засмеялся:

— Да, сразу видно, новенькая. Как же ты не знаешь, где тут спирт? Это ж в нашей работе первое дело. Поди, в моечной посмотри, там должен быть в широкой банке.

В моечной на стеклянном маленьком столике я действительно увидела банку с рукописной этикеткой «спирт», приклеенной белым медицинским пластырем. Жидкость в ней была почему-то зеленого цвета. Я понюхала — пахло спиртом. «У него болит нога... Значит, он хочет что-то на больной ноге спиртом помазать», — подумала я. Рядом с банкой лежали ватные тампоны, намотанные на деревянные палочки. Взяв один, я окунула его в спирт и понесла человеку в халате. «Почти что мой первый пациент», — промелькнула горделивая мысль. Увидев меня с тампоном в руке, врач (а это, как потом выяснилось, был дежурный врач из другого отделения) отчего-то покраснел, а глаза его расширились.

— Что это?!

— Спирт, как вы просили.

— А зачем?

— Как «зачем»? У вас же нога болит... Наверное, надо помазать.

— Что помазать? — голос врача как-то странно менялся, становясь слегка придушенным.

— Так ногу же!

«Как это он не знает, что ему надо делать? Чудно!»

— Да мне не мазать, глупая! Мне выпить надо!! — взревел доктор.

— Так ведь он зеленый!

— Кто? — лицо врача уже не просто красное, а багровое, а голос сделался раскатисто-металлическим.

— Спирт. Спирт в банке зеленый, — ответила я истинную правду.

Он достал из кармана халата граненый стакан.

— Так! Вот тебе сосуд. Нальешь в него этого *зеленого* спирта и принесешь мне. Нога уже отваливается.

«Почему, когда болит нога, спирт надо пить?» — думала я, исполняя приказание.

Доктор лихо опрокинул в себя стакан (потом я узнала, что в спирт специально добавляют зеленку, чтобы его не пили), после чего умиротворенно прикрыл глаза, и его губы изобразили подобие улыбки.

— Ну, вот и хорошо, — он легко поднялся с табуретки и, не сказав больше ни слова, ушел.

Продолжая неприятную санитарную работу, я размышляла об этом визите и чувствовала в поведении врача какую-то нестыковку. Точно! Доктор не обратил абсолютно никакого внимания на умершую женщину на операционном столе. Ничего не спросил, даже не взглянул. Тогда мне это казалось невероятным.

Около половины первого ночи, когда я закончила уборку, вновь появилась медсестра. Где была, не сказала, а спросить я побоялась.

— Ну, что, уже приходил?

— Кто?

— Травматолог наш дежурный... Каждое дежурство приходит, алкоголик несчастный.

— Да он же врач!

— Тю, девочка, да ты такая наивная? Все врачи пьют.

«Не может такого быть», — осталась я при своем мнении.

— Все вымыла? — спросила медсестра.

— Да, — скромно ответила я.

— А коридор?

— Как коридор?! Вы ж мне про коридор не говорили.

— Говорила — не говорила, иди, мой!

Сама она отправилась в комнату операционного блока, где помещалась пара стерилизаторов для биксов, похожих на большие, опрокинутые на бок бочки. При желании в них мог бы поместиться человек. Стерилизаторы всю ночь работали, издавая противный надсадный гул. Однако только в этой комнате имелась кушетка. Правда, как можно уснуть при таком шуме — большая загадка.

Так вот, медсестра ушла спать, а я вновь набрала ведро воды, взяла швабру и принялась мыть десятиметровый коридор. Глаза слипались, ноги не двигались, но работа шла...

И вдруг раздался оглушительный звонок телефона. Я даже вздрогнула от неожиданности. «Наконец-то! Началось настоящее, ради чего я здесь», — по-дурацки обрадовалась я. Сон мгновенно улетучился, я быстренько убрала ведро и швабру и побежала к медсестре.

Она сидела на кушетке, разглядывая свои босые ноги и держа трубку телефона у уха.

— ...А в травму ее засунуть нельзя? — услышала я окончание разговора. — Не было печали, черт бы их всех побрал! — с выражением муки на лице медсестра нехотя буквально сползла с кушетки.

— Ну, что стоишь? Иди, каталку тащи, — она махнула рукой в сторону недомытого мной коридора.

Действительно, в углу у стенки притулилась узкая железная, на расшатанных колесиках каталка. Место, где предполагалось лежать пациенту, было ничем не покрыто, железная поверхность кое-где еще блестела остатками белой краски.

— Нашла? — послышался недовольный голос медсестры. — Давай ее сюда.

Я взялась за ручки и попыталась толкать каталку перед собой. Но колесики вихлялись из стороны в сторону, и неуклюжее сооружение рыскало от стены до стены. Тогда я взялась за передние ручки, и каталка оказалась у меня за спиной. Тащить ее стало значительно легче, но грохот она производила немыслимый...

На выходе из операционного блока ко мне присоединилась медсестра, взяв каталку за задние ручки. Теперь двигать каталку было совсем легко, однако скорость движения резко снизилась.

— Мы же опоздаем! — вырвалось у меня.

— Куда? — непритворно удивилась медсестра.

— Больная ждет, быстрее надо!

— Ничего она уже не ждет, а у меня ноги болят и сердце колет. Мне вообще волноваться нельзя.

И мы продолжили путь в прогулочном темпе, а затем на старом железном лифте спустились со второго этажа на первый, где находилось приемное отделение. Я ожидала увидеть бригаду людей в белых халатах, которые четко, без лишних разговоров выполняют всякие медицинские процедуры. Но в отделении было тихо и безлюдно. В малюсеньком закутке на узком диване лежала на боку женщина средних лет, одетая в больничную рубашку с короткими рукавами. Ноги ее были подтянуты к животу, который она, не переставая, гладила руками. Лицо бледное, по щекам беззвучно катились слезы. Не было ни подушки, ни простыни, ни одеяла. Рядом сидела за письменным столом худая врач неопределенного возраста и быстро-быстро что-то писала в истории болезни. Вид у нее был очень усталый, и она не обращала никакого внимания ни на больную, ни на нас.

— Валентина Петровна, мы приехали, — незнакомым мне ласково-елейным голосом проговорила медсестра.

— Не сбивайте, ждите, — не поворачивая головы, отрывисто произнесла врач.

И опять тишина. Казалось, больная тоже боится плачем помешать врачу. Мне было ее очень жалко, я сама чуть не плакала. Единственное, что меня утешало, это поведение врача и медсестры. «Если они не спешат, значит, все не так страшно».

Прошло минут десять. Наконец врач закончила писать, резко встала.

— Анестезиологов вызвали?

Медсестра закивала головой:

— Конечно, Валентина Петровна, сразу же.

— Ну, и где они?

Как мне потом уже объяснили, анестезиологи дежурили в другом корпусе, и по ночам им приходилось вызывать «скорую», чтобы перебираться из здания в здание. Ходить пешком по территории больницы ночью было небезопасно — бегали бродячие собаки. Такие переезды отнимали, разумеется, много времени.

— Наверное, уже подходят, — сказала медсестра.

— Хорошо. Берите ее и везите в операционную, — приказала врач. — А я пойду мыться.

(«Мыться» — значит стерилизовать руки и надевать стерильный халат).

— Валентина Петровна, а что тут? Какой набор-то готовить? — моя медсестра подобострастно подалась вперед, к врачу.

— Тупой удар, похоже разрыв яичника, готовь большой набор, — бросила врач и ушла.

Медсестра мигом переменялась: ее манеры стали привычно грубыми, а голос из елейного превратился в ржавый.

— Хватит нюни разводить, залезай на тележку, — сердито прикрикнула она на больную.

Женщина страдальчески глянула сначала на меня, потом на медсестру. Ее синюшные губы очень тихо произнесли:

— Сил нет, больно очень.

— Нет, ну интересно, — возмущенно отреагировала медсестра. — А мы как, на себе тебя потащим? Вот еще придумала! Доктор уже в операционную пошла, давай быстрее перекладывайся!

На меня медсестра глянула так, что пригвоздила на месте. Кое-как больная добралась от дивана до каталки, но здесь силы ее закончились. Дальше нам все равно пришлось ей помочь, хотя медсестре сильно того не хотелось...

Проделав обратный путь в два раза медленнее, как мне показалось, мы, наконец, достигли операционной. Хорошо, что анестезиологи уже были на месте и наладили все свои аппараты. Повезло и в том, что оба они были мужчины и легко переложили больную с каталки на операционный стол. С ними вообще дело пошло быстрее. Один наладил капельницу, другой ловко вставил трубку в горло больной и через шланг подсоединил ее к насосу (это был аппарат искусственного дыхания). Я смотрела во все глаза, стараясь запомнить непонятное, чтобы потом спросить (все равно, конечно, забыла).

Пришла в халате, шапочке и маске врач, Валентина Петровна. Мы с медсестрой еще раньше надели маски, медсестра занималась инструментами, а я стояла сбоку от операционного стола — на подхвате.

Валентина Петровна кивнула анестезиологам:

— Привет, ребята. Как с вами попадаю, так обязательно что-нибудь привезут! Опасно с вами дежурить.

— Вас послушать, Валентина Петровна, так это мы вам пациенток поставляем, — засмеялись анестезиологи.

Они перебросились еще парой-тройкой привычных шуток, одновременно автоматически, как казалось со стороны, выполняя медицинские манипуляции. Чуть погодя врач-анестезиолог, посмотрев на свои приборы, негромко выдохнул:

— Можно начинать.

Валентина Петровна встала сбоку от больной, которую медсестра уже по-особому накрыла стерильными простынями, оставив открытой только область живота. Это пространство помазали тем самым зеленым спиртом, и Валентина Петровна почти без нажима, как-то легко сделала прямой поперечный разрез скальпелем. Мне представлялось, что хлынут реки крови. Но ничего подобного: по краям раны лишь выступили кровавые капли... Так сочтется белое молочко, если сломать стебель одуванчика. Доктор принялась углублять и расширять разрез. Я стояла довольно близко, и мне было хорошо видно, как скальпель постепенно углублялся в бело-розовую живую ткань. У меня не было ни страха, ни брезгливости, только сильный интерес: а что там дальше? Пропали жалость к больной, недовольство медлительностью медсестры, осталось одно чистое любопытство. Не было ощущения, что это живой человек, что идет операция практически по спасению жизни, настолько все выглядело буднично. Тихо, никто не разговаривает, мерный шум приборов, периодическое звяканье металлических инструментов и отрывистые команды: «Зажим», «Тампон», «Расширитель».

И вдруг действительно «реки» крови! При очередном движении скальпеля как будто прорвалась плотина — кровь залила всю операционную рану и скрыла под собой все, что требовалось распознать. Сразу проснулся, казалось бы, дремавший анестезиолог, стал диктовать своему напарнику какие-то лекарства, которые надо добавить в капельницу. Движения врача-гинеколога стали гораздо более быстрыми, и хотя она ничего не сказала, медсестра стала подавать ей большие марлевые салфетки, которыми доктор буквально затыкала эту кровавую дырку. Салфетки намокали, врач бросала их тяжелыми шлепками, не глядя, в таз под операционным столом, попадали не все («Вот почему пол и стол после операции такие грязные»).

— Дело плохо, — негромко проговорил анестезиолог, будто и не хотел, чтобы его услышали.

Но его услышали. Руки хирурга стали двигаться хаотичнее, темные тяжелые тампоны все чаще шлепались рядом с тазом.

— Давление падает, надо бы переливание наладить, — быстро проговорил анестезиолог, ни к кому конкретно не обращаясь.

Наверное, это было не один раз отработано: медсестра тут же деловито выудила из груды стерильных инструментов обычный половник (!), установила на операционном столе пол-литровую стеклянную банку (конечно, оба предмета тоже были стерильными), и половником, как суп из кастрюли, начала зачерпывать кровь из раны на животе у больной и сливать в банку. Валентина Петровна направляла половник в место наибольшего скопления крови. Когда банка почти наполнилась, медсестра также по-деловому перелила кровь в капельницу (называлось это «реинфузия»).

Врач в это время что-то вырезала в кровавом месиве. Непонятно, как она определяла, что есть что. Но вот часть живого организма наконец отсечена и отправлена в уже переполненный таз.

— Шить, — короткое слово врача не требовало пояснения, и медсестра подала ей инструмент с толстой кривой иглой. Валентина Петровна шила, определенно не видя, куда втыкает иглу, потому что все заливалось кровью. Тем не менее постепенно крови становилось меньше, медсестра сама макала тампоны в рану, которая тоже уменьшалась по мере зашивания.

Все! Последние швы на коже помазали зеленкой.

— Мы закончили.

Валентина Петровна отошла от стола, рывком сдернула с рук перчатки, с плеч — халат (завязки сзади просто оборвались) и ушла из операционной.

— Вот что значит «золотые руки», — почтительно глядя ей вслед, произнесла медсестра.

— Привезли бы пораньше и обычные руки подошли бы, — проворчал себе под нос анестезиолог.

А я не понимала: все хорошо или все плохо?

— А что с ней теперь будет? — решила я спросить у медсестры, кивнув на больную.

— Теперь-то все должно быть нормально, — ответил за нее анестезиолог. — Но еще бы чуть-чуть и... — он не закончил фразу, а только махнул рукой.

«Вот это да, значит, мы все-таки опаздывали», — подумала я огорченно.

— Ну, что там, долго еще? — спросила медсестра.

Вместо ответа анестезиолог поднялся с круглой табуреточки, на которой просидел всю операцию, и принялся хлопать прооперированную женщину по щекам:

— Алло! Пора просыпаться!

Женщина с трудом открыла глаза и смотрела непонимающим взглядом. Резким движением анестезиолог вытащил у нее изо рта трубку, женщина закашлялась, из уголка губ потекла тягучая слюна. Трубку тоже была вся в розовых слюнях, анестезиолог швырнул ее в таз под столом. Я вздрогнула: «И это тоже мне придется мыть?». Между тем врач наклонился над больной и механическим голосом, с паузами спрашивал:

— Как тебя зовут? Как тебя зовут?

И вот женщина с запинанием выговорила:

— Наташа...

— Ну, все, можете увозить. Историю я потом принесу, писать много надо.

Анестезиолог уселся опять на свою малюсенькую табуреточку, согнулся и, положив историю болезни на коленку, принялся строчить.

— Подвози каталку, — это уже сказано мне.

Медсестра поснимала простыни, которыми была укрыта больная, и побросала их в большую кучу на полу. Да, неприглядный вид у операционной к концу операции.

— Слушай, что надо делать, — начала медсестра, когда я поставила каталку рядом с операционным столом. — Берешь ее двумя руками под плечи, а я — за ноги, и на счет «три» перекладываем. Поняла?

Я кивнула, и процесс начался. На счет «три» я пыталась поднять больную, но ничего не получалось, так как медсестра одновременно брала ее за лодыжки, а таз, что называется, проваливался. Медсестра прикрикнула на меня:

— Резче надо, резче!

Видя наши мученья (а ведь мучились-то мы трое: больная была в сознании), анестезиолог только вздыхал. Наконец он не выдержал:

— Да возьмите вы ее под зад!

С кряхтеньем, сопеньем и ощущеньем, что кончились все запасные силы, мы переложили больную на холодную металлическую каталку. Медсестра полуприкрыла ее маленькой простыночкой, и мы покатали в гинекологическое отделение. За окном коридора начинало светать, но свет этот был хмурый, невеселый, а может быть, это мне так казалось из-за усталости.

Звоним в дверь гинекологического отделения. Открыла дежурная медсестра, которая оказалась подругой моей наставницы. Взаимные восклицания по поводу встречи, привычные стенания по поводу их недооцененной работы. Мы с больной ждем. Я прислонилась к стенке и закрыла глаза. Мысли только о себе самой (в сострадательном наклонении). Хотелось лечь и спать, спать, спать. Но перед этим обязательно вымыться, а еще лучше, чтобы кто-то вымыл, а я бы могла не открывать глаза.

— Не спать! — хохотнули медсестры.

— Что, новенькая? — спросила подруга.

— Да вот, прислали, ни кожи, ни рожи, — не смущаясь моим присутствием, ответила моя медсестра.

— Ну, и как? — они разговаривали, будто меня не было рядом.

— Да никак пока, первый раз с ней дежурю.

Обе медсестры оглядели меня с ног до головы, как бы прикидывая, стоит ли со мной еще дежурить.

Больная, про которую все напрочь забыли, тихо простонала. Не трогаясь с места, медсестра из отделения в раздумье проговорила:

— Куда ж ее девать-то?

— Забито все? — голос моей медсестры (я снова закрыла глаза).

— Под завязку! Давай ее в коридор на диван.

— Не-е, это уже работа не наша. Мы довезли, а дальше — ваше дело.

«Вот это подруги», — лениво удивлялась я, когда мы весьма неторопливо плелись к себе в оперблок. Я боялась подумать о том, какая меня там ждет уборка. Подойдя к двери в наш операционный блок, медсестра глянула на большие настенные часы над дверью:

— Ого, уже полвосьмого. Отлично! Сейчас смена придет. Можешь ничего уже не мыть.

Вот что такое счастье! Можно уйти из этого кошмара и рухнуть в свою чистую, мягкую кровать. Это первая мысль, а вторая: «Господи, придется ведь приходиться сюда еще и еще неизвестно сколько!»

Таким был мой первый рабочий день (вернее, ночь). Потом случались дежурства похлеще, когда за ночь могли привезти по «скорой» и три, и четыре пациентки. Но это потом, при адаптированной моей морали и приобретенном умении не распылять зря свои силы (зачем драить до стерильности коридор? Глупо).

Первая рабочая ночь, наверное, как первая брачная (или внебрачная), помнится ясно и отчетливо, как вчера (или сегодня?).

А начиналось красиво...

— Могу танцевать с тебя? — спросил почти по-русски чернокожий ординатор из дружественной нам африканской страны.

— Извини, не танцую, — постаралась я ответить как можно вежливее.

— Я танцевать тебя? — продолжал настаивать африканец.

— Нет, не хочется, — для верности я уселась на рядом стоявший свободный стул.

Африканец отошел в сторону, но продолжал поглядывать на меня. Все это происходило на кафедре офтальмологии, где я (врач-офтальмолог с трехлетним стажем) обучалась в ординатуре (это такой вид повышения квалификации у врачей, длящийся два года). Этим вечером (в нерабочее время) на кафедре отмечали юбилей профессора. Все интерны и ординаторы по традиции были приглашены на всеобщее торжество. Официальная часть уже закончилась, речи сказаны, подарки вручены, салаты съедены, вино, коньяк и прочее продегустированы. Настало время «свободного общения в неформальной обстановке». Это обозначало разговоры в коридоре, курение с коллегами на лестнице и, конечно, танцы. Последние меня и подвели.

Сию спокойненько на своем одиноком стуле, попиваю неплохое, кстати, французское вино, разглядываю еще неизвестных мне коллег (ординатура только началась, мало кого знаю). И тут мужской голос удивленно произносит:

— Оль, привет! Ты как здесь?

— Привет, Максим! — радостно отзываюсь я — хоть один знакомый человек. Максим — тоже врач-офтальмолог, но из другого глазного отделения. Когда-то давно мы с ним вместе учились еще в медицинском училище, но потом пути разошлись, хотя периодически мы виделись на общих врачебных конференциях, — А я тут в ординатуре.

— Здорово! А чего сидишь? Пойдем, подвигаемся.

— Пошли, — с легкостью соглашаюсь потанцевать, напрочь забыв о своем отказе другому претенденту. А зря!

...На следующий день утром в конце так называемой врачебной пятиминутки после протокольных слов заведующего кафедрой «Можете идти работать» я вместе со всеми врачами и ординаторами двинулась к выходу из ординаторской. Вдруг слышу:

— Ольга Павловна, задержитесь («А вас, Штирлиц, я попрошу остаться»), — голос профессора был как-то странно строг.

Не помня за собой никаких прегрешений (больные накануне все осмотрены, истории болезней заполнены), я с легким сердцем вернулась обратно.

— Присядьте, — голос руководителя слегка смягчился. — На вас поступила жалоба.

Резко возникло ощущение холодного душа: кожа покрылась «мурашками», ладони вспотели, во рту пересохло. Первая и единственная мысль: кто? Из больных ни один не высказывал мне недовольства. Да и когда? Я только начала здесь работать.

Наверное, вегетативная реакция была настолько очевидна, что профессор как бы даже слегка улыбнулся.

— Да, — продолжал он, — наш ординатор, который, между прочим, платит институту за обучение валютой, недоволен вашим вчерашним поведением, расценивает его как расизм, — и профессор потряс у меня перед глазами каким-то листком бумаги:

— Вот, ознакомьтесь.

Буквы прыгали перед глазами, я никак не могла понять смысла странных фраз, написанных непонятно по каким орфографическим правилам. Когда пошла пятая (или десятая) минута моего бессмысленного разглядывания нескольких строчек, завкафедрой не выдержал:

— Ну, что скажете?

— Что? — тупо повторила я его вопрос.

— Отвечать что ординатору будем? — уже с раздражением переспросил профессор.

Мыслей не было. То есть что такое «расизм» я понимаю, но при чем здесь мое поведение — не понимаю.

— Вам что, сложно было с этим товарищем потанцевать? Теперь всей кафедре за вас расхлебывать, — профессор обреченно откинулся на спинку кресла.

...Да, демократия называется! Я-то наивно думала, что Советский Союз с его заковыристыми правилами и нормами ушел в прошлое; что желание танцевать или не танцевать с кем-то — это только мое желание. Оказывается, это расизм.

— Долго сидеть-то будем? У меня ученый совет, между прочим, — не выдержал профессор затянувшегося молчания.

— Да... Конечно... Извините, не подумала... Исправлюсь... — кроме этих дурацких слов в голову ничего не приходило.

— Исправляйтесь, но аккуратно. Перекосы нам тоже не нужны, — произнес профессор с нажимом на слово «перекосы», но уточнять не стал. — А сейчас идите и напишите объяснительную обо всем случившемся.

Выйдя из ординаторской, я, как нарочно, нос к носу столкнулась с этим самым африканским ординатором. Он что-то яростно прошипел мне в лицо на своем языке, но я ничего не поняла. И вообще, все это дело казалось таким глупым, таким нереальным! Подумаешь, с кем я танцую, а с кем нет. Почему это так важно?

В смотровой, куда я направилась, стоял умеренный шумок, примерно как в пчелином улье: кто-то из врачей разговаривал с пациентом, кто-то смотрел больного в щелевой лампе, кто-то проводил измерение параметров зрения на приборе. Люди — больные, врачи — входили, выходили. Короче, нормальная рабочая обстановка. На этом фоне всеобщей осмысленной деятельности моя предполагаемая объяснительная казалась еще более нелепой.

Я подошла к столу Евгении Петровны, врача, которая была моим как бы наставником.

— Ну, что? Выгоняют или оставляют? — спросила она напрямую.

(«От людей на деревне не спрячешься...» — промелькнуло в голове).

— А вы уже знаете? — глупо было спрашивать, но я спросила.

— Конечно, я же за тебя отвечаю.

— И за танцы? — изумилась я.

— За все! — отрезала Евгения Петровна. — Так как, оставляют?

— Да, только объяснительную надо написать.

— Это ерунда, напишем.

Вот что значит чуткий опытный наставник! Уже через десять минут я несла к заведующему кафедрой старательно написанную под диктовку Евгении Петровны

объяснительную (ранее также старательно запомненную ею со слов профессора — о чем я, конечно, тогда не знала). На этом история с танцами закончилась. Так я думала.

...Прошло примерно полгода. Многие люди, и даже врачи, почему-то относятся к офтальмологии (а соответственно и к глазным врачам) несколько пренебрежительно. Мол, что там сложного! Капай больному капли, да и все. Некоторые даже предполагают, что и сами капли бывают только одни — *глазные*, так что думать глазным врачам вообще не надо. Как они ошибаются!

Обучаясь и работая в ординатуре, я видела великое множество сложных и клинически, и психологически случаев, причем каждый был по-своему уникален и несопоставим с остальными. Стандарт диагностики и лечения есть — и в то же время его нет.

Приводят на консультацию из другого отделения мальчика девяти лет. Перелом руки. Как будто бы к глазу — никакого отношения. Но что-то при осмотре не понравилось невропатологу, и он назначил консультацию у окулиста. Евгения Петровна решила, что с проверкой остроты зрения у ребенка проблем не будет, и поручила это дело мне.

Ребенок с мамой, держит ее за руку, не отпускает.

— Как тебя зовут? — спрашиваю.

Молчит.

— Я буду показывать тебе буквы, а ты будешь называть их. Хорошо? — пытаюсь все-таки установить контакт.

— Он не будет говорить буквы, — мрачно отвечает за мальчика мрачная мама.

— Как это «не будет»? — ошарашенно спрашиваю уже маму.

— Он врачей ненавидит, — тихо, но внятно поясняет мама.

Ничего себе! Стою тут, улыбаюсь, а меня, оказывается, ненавидят. «Так, с эмоциями потом будем разбираться, а зрение-то как проверить?». Краем глаза ищу Евгению Петровну. Она в небольшом закутке нашей смотровой измеряет пациентке глазное давление. Занята. Ее на помощь не позовешь, да и звать, чтобы помочь проверить остроту зрения, — стыдоба! Где же выход из этой ситуации? Что-то я указателя не вижу... Ладно, попробуем зайти с другой стороны. Ведь мама ребенка со мной разговаривает, вот пусть она ему буквы и показывает. Ей он должен ответить! Излагаю этот план маме мальчика. Объясняю, что проверка зрения нужна не мне, а ее ребенку. Очень стараюсь быть доброжелательной, хотя бы внешне. Мама вроде бы согласилась. Но тут новая задача: мальчик не отпускает руку матери ни на минуту. Новые переговоры с мамой. Решено вызвать на подмогу папу мальчика. То есть, чтобы проверить зрение одному ребенку, потребовалось трое взрослых! В каком учебнике про это написано?

Всем врачам-ординаторам положено отработать два ночных дежурства в месяц. Конечно, дежури́м вместе со штатным опытным врачом. В тот раз мне выпало дежурить с самым опытным специалистом отделения, которая была у нас и самой старшей по возрасту. Все бы хорошо: Валерия Семеновна и объяснять любит, и, самое главное, действительно объяснит непонятное, и покажет, как сделать ту или иную процедуру, и даже разрешит сделать самой. Но... Ночью эта прекрасная, но очень пожилая доктор любит спать. Посему с ней можно обсуждать все, что происходит в отделении с больными до 22.00, а вот то, что происходит позже... Увы, на ваше собственное усмотрение. Однако утром за все ответите, что называется, «по полной»!

Вечер прошел спокойно. Мы с Валерией Семеновной приняли нескольких несложных амбулаторных больных: нагноившийся ячмень, парочка инородных тел, один пациент «случайно упал и ударился глазом», да еще разыгравшийся конъюнктивит. Ничего особенного.

В десять вечера, сказав мне традиционное «ни пуха, ни пера», Валерия Семеновна ушла в маленькую ординаторскую, где ей, как самой уважаемой в отделении, дежурная медсестра уже постелила постель.

А я осталась сидеть в смотровой в компании потрепанного журнала дежурного врача. От нечего делать полистала записи:

«Легла спать — ничего не болело, а проснулась — глаз в крови. Наверное, натерла о подушку», — объяснение пациентки по поводу травмы глаза.

«Хотел жене сделать приятное — подарил вазу, а она этой вазой меня по голове», — объяснение по поводу проникающего ранения глаза.

«Глаз заболел после удара мячом на уроке здоровья», — объяснение школьника по поводу субконъюнктивального кровоизлияния.

В общем, сижу, развлекаюсь. А в отделении есть лестница, куда все (и больные, и врачи) ходят курить. Дверь из отделения на эту лестницу никогда не закрывается. Вход на лестницу с улицы формально должен быть закрыт, а на деле... Кто ж у нас соблюдает формальности! Если надо кому по-тихому уйти из отделения или, наоборот, прийти, чтобы никто не заметил, — пользуются именно этим «черным» входом.

Так вот, сижу тихонечко, посмеиваюсь про себя, допиваю остывший чай. Какое-то странное сосредоточенное сопение, отчетливо слышимое в тишине спящего отделения, прерывает мое столь приятное дежурство. Захлопнув журнал, выхожу в коридор. То, что я там увидела, заставляет меня вжаться в стену, замереть и почти не дышать. На посту медсестры в тусклом свете настольной лампы какой-то человек неопределенного возраста и довольно астенического телосложения, мелко трясясь, шарит в шкафчиках с глазными каплями и таблетками. Гримаса на его лице в полутьме напоминает гримасу рычащего волка. Каким-то образом прихожу в себя:

— Что вы здесь делаете?! — отрываю себя от стены и пытаюсь придать голосу начальственный тон.

Метаморфоза почти мгновенная. Волк больше не рычит, он нападает! Мужчина кидается ко мне, хватая за плечи, трясет неожиданно цепкими руками:

— Где?! Где?!

— Что «где»? Что вам надо? — лепечу прерывающимся голосом.

— Сама знаешь что! — клацает зубами «волк».

«Господи, да он же наркоман».

— Сейчас, сейчас я все принесу, только отпустите меня, — хороший у нас был в институте профессор по психиатрии, его уроки совершенно бессознательно всплыли в моей стянутой страхом голове.

Магические слова «сейчас принесу» сделали свое дело. Мужик отпустил меня, и тут уж я не растерялась: пулей метнулась в единственную комнату в отделении, которая запиралась изнутри на ключ — ординаторскую. Ключ, который во избежание потери вечно торчал в замке, я мигом провернула аж на три оборота и бросилась к телефону.

— Алло, алло, охрана? Быстрее в глазное, у нас тут ЧП! — скороговоркой бросила в трубку и обратно к двери, которая уже ходила ходуном под мощными ударами.

Мужик, поняв, что его обманули, взревел как-то уж совсем по-волчьи. Что там происходило в палатах, мне было непонятно, но совершенно ясно одно: дверь долго не выдержит, а объект для наркомана один — я.

«Диван, надо придвинуть к двери диван. А может, лучше стол?» — мысли скакали галопом, а сама я уже двигала старенький диван к двери. Со стороны коридора послышался грохот и звук бьющегося стекла.

«Шкаф с лекарствами разбил», — совершенно спокойно подумалось мне. Главное, что дверь цела. Диван передвинут, но этого, кажется, недостаточно. Небольшой шкафчик, где хранятся одеяла и подушки, тоже решено подвинуть к двери. Пытаюсь навалиться на боковую стенку шкафа и таким образом двинуть его, но натываюсь плечом на гвоздь (на него вешали календарик). Черт! Рукав халата порван, пошла кровь. Но мне почему-то не больно. Думаю, как бы половчее приспособиться, чтобы все-таки подвинуть этот несчастный шкаф.

За дверью стали слышны хлопки, отрывистые команды, потом все стихло. Только в ушах звенело и сердце бухало в голове. В дверь как будто кто-то поскребся:

— Эй, доктор, ты где?

«Охрана пришла или этот наркоман так притворяется?» — вот вопросик, поважнее шекспировского. Открывать или не открывать? На всякий случай я затаилась.

Стою, не шевелюсь. И чувствую, как-то мне не так стоит. Оказалось, что я в одной туфле. Где и когда потеряла вторую — не помню. Легкий скрип и волшебным образом дверь ординаторской начинает открываться в сторону коридора. Паника! Что делать?! Взгляд упирается в телефонный аппарат на столе (старый, большой, тяжелый!). Хватаю его и заносу над головой. Если наркоман войдет, брошу прямо ему в физиономию!

Но входит на удивление спокойный охранник, глаза которого при виде общей картины выпучиваются как у рака. Еще бы! Косо стоящий разваливающийся диван, за ним — шкаф с открытыми дверцами и вываливающимися подушками, а из-за шкафа выглядывает доктор в рваном халате с окровавленным рукавом, в одной туфле и с допотопным телефоном в высоко поднятых руках. Картина маслом!

— Тихо, тихо, все хорошо, — хорошо поставленный голос охранника сопровождался успокаивающими движениями рук.

С ощущением победы я рухнула на диван. И это его dokonало! Диван, конечно, а не охранника. Боковина треснула и отломилась от сиденья, которое рухнуло на пол, а с ним вместе, естественно, и я.

— Ну, дела, — произнес охранник, вышел и тихо прикрыл дверь.

Я неуклюже поднялась с разгромленного дивана и стала искать потерявшуюся туфлю. Казалось, это сейчас самое важное. Причем снять вторую туфлю, чтобы было удобнее ходить, в голову не приходило. Снова открылась дверь, и тот же охранник внес на вытянутой руке мой пропавший башмак.

— Не переживай, доктор, все устаканится.

Действительно, как-то все почти само собой (не считая помощи трех охранников) поставилось на места, мусор испарился, а сломанные детали мебели практически срослись. Когда я, зашив халат и заклеив пластырем плечо, вышла в коридор отделения, наркомана уже увели. Двери палат закрыты, шкафчики на посту медсестры, правда уже без стекол, стоят почти на своих местах. А Валерия Семеновна даже не проснулась! Только дежурная медсестра Анечка подбежала ко мне откуда-то сбоку:

— Как вы, Ольга Павловна? Такой ужас! Я как увидела, что вы с ним... (она не стала уточнять), сразу у себя в медсестринской дверь на швабру закрыла.

«Конечно, а позвонить охране — это из разряда врачебных манипуляций», — но обиды на медсестру не было, просто я очень устала.

— Ладно, Ань. Пойди по палатам пройдишь, как там больные.

— А я уже всех посмотрела. Спят, — бодренько отрапортовала Аня.

«Что-то с трудом верится», — но перепроверять не хотелось.

— Хорошо. Ты тоже иди, отдыхай, — разрешила я и ушла в ординаторскую.

В семь утра меня разбудила недовольным голосом Валерия Семеновна:

— Что это со шкафами на посту случилось?

— Шкафы? Ничего страшного, Валерия Семеновна, — бормотала я со сна. — Просто ночью к нам наркоман забрел.

— А что ему у нас нужно было, наркоману этому? У нас же ничего такого сроду не было...

На утренней пятиминутке о дежурстве докладывала Валерия Семеновна. По ее словам, ничего заслуживающего внимания не произошло. Потом она ушла домой, а я осталась работать дальше. Считается, что дежурства для ординаторов нужны для приобретения опыта и никаких отгулов за это не полагается. Я провела осмотр своих больных, сделала все необходимые записи в истории болезней. Время — половина первого, можно потихонечку начинать двигаться к дому.

Прерывая мои мечтания о чашке кофе и теплом душе, в ординаторскую стремительно вошла Евгения Петровна:

— Хорошо, что ты еще не ушла. Там очень приличную травму привезли. Пойдешь в операционную? — скороговоркой бросила она мне, не сомневаясь в ответе.

Дело в том, что ординаторам не часто разрешается оперировать самостоятельно. А формулировка «приличная травма» означает, что перспектив на сохранение зрения у пациента нет никаких, поэтому можно доверить ПХО (первичную хирургичес-

кую обработку) ординатору. С одной стороны, я устала, ужасно хотелось спать. Но, с другой стороны, меня просто не поймут, если я откажусь от такой удачи, как возможность оперировать самой.

— Я тебе и ассистента уже нашла, — неправильно поняв мое замешательство, подтолкнула меня к выходу Евгения Петровна.

— Кого? — вяло интересуюсь я.

— Нашего жалобщика. Он давно на тебя глаз положил, пусть хоть рядом посидит...

Травма глаза и вправду оказалась безнадежной, но зашить глазное яблоко нужно было как следует. Швы накладываются по одному, под микроскопом. При этом ассистент должен капать в глаз необходимые капли и вовремя промокать кровь, мешающую видеть место разрыва. Помощь кажется небольшой, но без нее врачу-хирургу не выполнить свою задачу.

Сидим с моим африканским ассистентом в тишине операционной: он промокает, я неторопливо шью. Разговаривать мне с ним не о чем, только редкие реплики:

— Добавь аминоксапронки.

— Здесь промокни, гемы много.

И вдруг, ни с того ни с сего, этот самый ассистент встает и молча двигается к выходу из операционной.

— Ты куда? Мы же не закончили! — с ужасом вопрошаю уходящую спину.

Не повернув головы, коллега отвечает:

— Мой день работа конец.

Точно! На часах четырнадцать ноль-ноль — иностранные ординаторы как раз и работают до двух. Но ведь операция!

Позвать никого не могу. Операционная медсестра вопросительно глядит на меня поверх маски. Пытаюсь скрыть свою беспомощность:

— Работаем дальше.

Вот и продолжение истории с танцами. Кто бы мог подумать, что оно будет таким! Мучаясь, попеременно хватаюсь то за тампон, то за пипетку, то за иглодержатель с пинцетом и с трудом заканчиваю свою самостоятельную операцию. Все: укол под конъюнктиву, повязка на глаз — пациента можно увозить в палату.

Футболка, которую я надеваю под халат, на спине насквозь мокрая. Шея от напряжения (всю операцию надо смотреть в микроскоп) как деревянная. Нетвердой походкой захожу в ординаторскую. Евгения Петровна с дымящейся чашкой чая в руке радостно меня спрашивает:

— Ну, как? Понравилось самой-то?

— Еще как, — отвечаю и плюхаюсь на первый попавшийся стул.

— Домой пойдешь или еще останешься подежурить? — шутит Евгения Петровна.

«Нет уж, хватит. Перебор». Вслух сказать сил не осталось. Главное — пожаловаться некому, да и, собственно, не на что. Формально все по правилам.

Вот такая дружба народов! А начиналось все красиво — с танцев...

Первый раз

Завтра у меня первая операция. В том смысле, что я сама буду оперировать. Вообще-то до этого я уже два года оперировала, но, во-первых, всегда рядом были более опытные врачи, которые могли помочь в любой момент, а во-вторых, предстоящую операцию в нашем отделении никто еще не делал, то есть помочь даже теоретически некому.

Да, я не сказала: я — врач-офтальмолог, соответственно оперирую на глазах. Завтра предстоит операция удаления катаракты (мутного хрусталика) с вживлением искусственного хрусталика. Оперируем мы под микроскопом, сидя на специальной высокой табуретке (бывает, что после операции спина просто отваливается, про шею даже не говорю).

Конечно, такая операция давно уже отработана и везде делается на потоке. Но

в нашей районной больнице то микроскопа соответствующего не было (стоит дорого), то инструментов микрохирургических (сама в Москве покупала по безналичному расчету). Конечно, я прошла обучение технологии этой операции в лучшей глазной клинике Москвы. Конечно, получила сертификат, но... Но на живом человеке эту операцию я ни разу не делала.

Сегодня днем осматривала больного, которому завтра предстоит эта операция. Обычный мужчина, небольшого роста, фамилию его помню даже через десять лет. Но до сих пор для меня загадка: как он, зная, что я иду на операцию в первый раз, согласился оперироваться? Как?! Непостижимо! С моей стороны авантюра, а уж со стороны пациента...

Придя домой после работы, не стою на кухне, не хожу с пылесосом по квартире и даже не мучаю детей воспитанием. Сажу на полу перед телевизором и в двадцать первый раз просматриваю учебный фильм про удаление катаракты (слава богу, есть видеоманитофон). Смотрю на экран, а пальцами в воздухе повторяю все движения. Кажется, уже «на автомате». Как все просто — в кино! Будет ли так на самом деле? В голове всплывают картины виденных (у других хирургов во время обучения) и прочитанных осложнений. От таких мыслей холодеют руки и бросает в дрожь. Господи, хоть бы пронесло!

К детям зашел их друг, хороший мальчик двенадцати лет. Проходя мимо телевизора, мельком бросил взгляд:

— Ух, ты! Теть Оль, где вы такой ужасик достали? Дадите посмотреть?

— Иди-иди, Саш. Это не для детей.

Обиделся, но больше просить не стал. Умный мальчик, видит, что тетенька не в себе.

Пришел муж с работы. Я только слышала звук открывающейся двери и его шагов. Головы от экрана оторвать не могу.

— Привет! Что с ужином? — весело поинтересовался муж, но, увидев мой замороженный взгляд, все понял. Мы с ним еще раньше обсуждали предстоящее событие (да, для меня это было событием).

— Ладно, ладно, я все сам, — и он оставил меня в покое. Хотя в каком покое, когда сердце колотится о ребра с грохотом, непонятно почему не слышным всем вокруг.

«Если сейчас настолько плохо, что же будет завтра, в операционной? Нет, так нельзя, надо успокоиться, иначе руки будут дрожать, а это катастрофа». Как же успокоиться? Лекарства принимать нельзя, может снизиться реакция. Позвоню-ка я в отделение, узнаю, как там мой пациент. От него тоже многое зависит: если давление будет высоким, риск возможных осложнений резко увеличится. А мне (да и ему) это совершенно не надо!

Набираю номер:

— Алло, Лариса (это дежурная медсестра)? Владькин не спит, небось?

— Да, что вы, Ольга Павловна! Спит, как миленький!

— А что, ему снотворное дали?

— Да нет, сам уснул.

— Ну, ладно, спасибо!

Ничего себе — спит! Стальные нервы, олимпийское спокойствие! Мне бы так.

Муж с детьми на кухне, слышны их голоса, звяканье тарелок и ложек. Мне есть абсолютно не хочется, только пить. Захожу на кухню, разговоры смолкают, мои домочадцы смотрят на меня сочувственно, как на глубоко больного человека. Приятно сознавать, что тебя понимают без лишних вопросов.

— Чаю выпьешь? — муж тянется к чайнику.

— Не хочется, мне бы водички.

Муж молча наливает стакан воды и подает мне. Залпом выпиваю воду и снова в комнату, на «ковер», снова упираюсь глазами в экран телевизора, и снова шаг за шагом просматриваю ход операции.

Пора идти спать. Все уже легли. Сна ни в одном глазу. Легла, пригrelась рядом с мужем. Он уже спит. Стараюсь дышать тихо-тихо. Закрываю глаза — как будто и не закрывала: кадры учебного фильма как по телевизору.

Утро. Все делаю автоматически, без участия сознания. Дети спрашивают что-то про деньги на завтрак в школе, на кино. Даю, не глядя. Дети мигом куда-то испаряются.

Я на работе. Без интереса осматриваю других своих больных. И вот звучат роковые слова палатной медсестры:

— Ольга Павловна, больной в операционной.

Это значит, что все приготовления закончены и ждут только меня.

Иду в операционную на ватных ногах, в голове шумит (почти не ела). Мою руки, надеваю стерильный халат. Перчатками не пользуюсь, стараясь по максимуму сохранить ощущение пальцами микроинструментов во время операции. Операционная медсестра кладет мне в руки марлевые шарики со спиртом (для стерилизации). И все: как будто повернули выключатель — голова стала ясная (от запаха спирта, что ли?), сердце успокоилось. Руки нисколько не дрожат.

— Мы начинаем, — негромко произношу сигнальную фразу.

Так, скальпель, пинцет — все, что нужно на этом этапе. Рядом в ассистентах опытная врач, но она тоже этой операции сама никогда не делала. Делаю первый разрез, все спокойно, все по плану. Следующий этап — без проблем. «Пять минут — полет нормальный». Начинаю выдавливать мутный хрусталик из полости глаза. Не идет! Что-то его не пускает. Что? Быстрее, думать! Врач-ассистент что-то подсказывает. Ничего не слышу, кроме вихрем несущихся в голове мыслей: нажать по сильнее? А если капсула прорвется? А если «стекловидка» (стекловидное тело) попрут?

— Как давление? — задаю вопрос операционной медсестре.

Лучше бы не спрашивала! Больной в сознании (оперируем под местной анестезией), все слышит, решил услужить: задвигался, вытаскивая руку из-под простыни. Малейшее его напряжение — и тонкая капсула хрусталика прорвалась, поползла масса «стекловидки» в операционную рану. Это как смотреть на что-нибудь через много увеличительных стекол, расположенных в разных плоскостях. Тут уже мне надо было мерить давление, да, наверное, шкалы тонометра не хватило бы.

«Боже мой, ничего не вижу!» — паническая мысль сковывала движения пальцев. «Думать, думать спокойно, работать», — гипнотизирую сама себя. Но ужас совершенного уже поселился в сердце: «Я своими руками лишила человека зрения! Теперь только умереть». И все-таки не прошли зря все предыдущие усилия: руки, независимо от моих трусливых мыслей, делали то, что нужно; глаза буквально «прилипли» к окулярам микроскопа (потом, после операции, у меня еще дня три вокруг глаз не смывались черные круги от резинок этих окуляров). Сердце оглушающее бухало, внешний мир сузился до поля зрения микроскопа. Секундная остановка: очередной этап операции худо-бедно закончен. Теперь основное — ввести в полость глаза искусственный хрусталик. У некоторых хирургов-мужчин, по их собственным словам, это действие вызывает ощущение, сродни сексуальному. Мне, конечно, сейчас не до половых изысков, но чужие слова «чувство оргазма» в голове промелькнули. Почти натурально (а не только мысленно) перекрестясь, открываю малюсенький контейнер с искусственным хрусталиком. Беру его микропинцетом и, стараясь не дышать, ввожу в полость глаза. Удивительным образом хрусталик в одно движение ложится на нужное место. Напряжение в моих руках и мозгах падает до нулевой отметки. Это действительно похоже на опустошение после наивысшей точки любви. Сил нет, делать ничего больше не хочется. С большим трудом заставляю себя наложить швы на операционную рану. Скудное занятие — шить.

До сегодняшнего дня удивляюсь, как тогда удалось закончить операцию, сползти с операционной табуретки и доплестись до ординаторской. Там я рухнула на диван: «Все, завтра же увольняюсь, больше никаких операций, никаких больных! Только бы у этого все обошлось...».

По мере увеличения количества выпитых чашек крепкого сладкого чая ко мне возвращалась способность реально, без эмоций оценить ситуацию. С осложнениями, но операция закончена; с трудом, но искусственный хрусталик имплантирован (введен вместо удаленного естественного). Теперь только ждать. Как будто успокоилась. Не совсем, но все-таки. Сходила в палату к прооперированному пациенту.

Давление нормальное, глаз не болит, швы на месте. Но самое главное, конечно, завтра. Завтра пациент должен прочитать буквы с таблицы, которые до операции не видел. Это — если мне повезет. Или ему повезет? Неизвестно, кому больше.

Снова бессонная ночь, снова наутро пустая голова, чужие ноги. Больница, палата, мой больной. Хочу успеть посмотреть его до прихода других врачей. Если провал, то хоть без свидетелей.

Оперированный не спит, здороваюсь, прошу пройти в кабинет для осмотра.

— Доктор, а есть уже можно?

С трудом сдерживаюсь: неужели сейчас это главный вопрос? Хотя с другой стороны — законы Фрейда.

— После осмотра я вам все скажу, — стараюсь быть вежливой.

Сажаю больного на стул за пять метров до таблицы, снимаю повязку с оперированного глаза. Чувствую, будто пересекаю некую границу, за которой начнется совсем другая жизнь. «Либо пан, либо пропал». Пациент сидит спокойно, будто все происходящее для него давным-давно знакомо и привычно. Потрясающе!

— Пожалуйста, начинайте читать буквы, — говорю, а внутри все замирает. Прочитает или нет?

Вот это чудо! Он видит! Я-то знаю, как все было, я-то помню, как паника не давала мне работать, но он читает! Скучным голосом интересуется, когда можно будет оперировать второй глаз (тоже катаракта). Не сразу соображаю, о чем он вообще спрашивает. Чуть не бросилась его целовать, вовремя опомнилась. Стараюсь держаться солидно, делаю «умное лицо». А хочется побежать на улицу, попрыгать и хорошо бы — полетать! Но... надо держать марку. Подходят остальные врачи отделения. На утренней «пятиминутке» дежурный врач монотонно, между «постельных больных нет» и «привозных не было», произносит «оперированный лежал хорошо» (в смысле не нарушал постельный режим).

И все. Никаких салютов, никаких поздравлений. Что ж, это правильно. Ничего особенного и не произошло. Была работа, обычная повседневная работа. Только мне все равно не понятно: как я смогла это сделать и как я буду это делать еще сотни раз?

Ночное

Днем ни с того ни с сего разболелась голова. Выпила сразу две таблетки обезболивающего, почему-то не помогло. А вечером дежурство, с восемнадцати ноль-ноль до восьми утра. Надо попытаться поспать, иногда помогает. Легла. Дома, слава богу, никого. Тишина, но уснуть не могу — думаю. Выглядит это примерно так: «Сегодня воскресенье, люди должны готовиться к завтрашнему рабочему дню, ни ушибленных, ни битых быть не должно (дежурю я врачом в глазном отделении). В операционной сегодня вроде бы Людка (медсестра), с ней можно нормально поболтать, расслабиться (в смысле чаю попить). Не забыть бы спиртику домой прихватить, в прошлый раз в столе оставила. Халат мятый — гладить неохота, так сойдет. Чего бы от комаров с собой взять? Почему-то в отделении толпы этих насекомых». Ну, и так далее. В общем, лежу, пытаюсь уснуть.

Вдруг звонок в дверь. Недоуменно смотрю на часы — четыре, вроде никто не должен прийти. Звонок повторяется. Делать нечего, плетусь к двери:

— Кто?

— Ольга Павловна, я за вами приехала, — узнаю голос Наденьки, молоденькой дневной медсестры из нашего отделения. Девочка только недавно окончила медучилище, совсем еще необработанная суровыми буднями медицины.

— Что случилось-то?

Лихорадочно открываю замок. За пять лет работы машину за мной ни разу не присылали. Надя сбивчиво пытается объяснить:

— Ольга Павловна, там такое... такой... просто ужас... Меня за вами послали, внизу «скорая» ждет, — девчушка хлюпает носом, проводит рукой по растрепавшимся волосам. Всегда аккуратный ее модненький халатик сейчас застегнут криво, а

поясок, раньше подчеркивавший стройную фигурку, торчит мятым рулоном из кармана.

— Подожди, да что происходит? — мне совсем не нравится этот личный транспорт.

— Час назад привезли в отделение мальчика, маленький, в школу еще не ходит, — всхлипывая, начала рассказывать медсестра, — глаз у него весь в крови, но он не плачет. А вот папашка его...

— Что папашка? И где мамашка?

— Папашка из «крутых», а насчет матери ничего не известно. А с папаней еще трое. Все такие из себя... В пиджаках, галстуках. Папашка сразу кричать начал: «Где врач? Где врач?». Я ему отвечаю, что врач по расписанию с шести вечера будет. А он разъярился, — тут Надя начала всхлипать громче и чаще. — К стенке меня прижал и велел, чтобы я врача из-под земли достала, — девушка разрыдалась, размазывая слезы по хорошенькому личику.

— Ладно, Надь, не плачь. Сейчас оденусь и поедем к этому страшному и ужасному.

— Только вы уж побыстрее, Ольга Павловна, а то он все отделение разнесет.

Морщась от головной боли и стараясь не делать резких движений, натягиваю джинсы, футболку и босоножки. Все, что хотела взять с собой на дежурство, естественно забываю.

На радость Наде, наконец, выходим из квартиры. Спуск по лестнице вызывает новый приступ головной боли, пытаюсь не стонать. И вот появляемся перед машиной «скорой помощи». Водитель качает головой: «Доктора-то самого лечить надо!». С противно завывающей сиреной мчимся через город в родную больницу.

Захожу в отделение. Как всегда на работе, собственные болячки отодвигаются, то есть голова продолжает болеть, но где-то далеко. Подозрительно тихо. И тут, как в киношном детективе, из-за поворота коридора на меня надвигаются четверо здоровенных мужчин. Первое впечатление: братья-близнецы — настолько одинаковы. Как и говорила Надя, в пиджаках, галстуках. Только у одного галстук съехал в сторону, ворот рубашки расстегнут и лицо — самое красное.

— Это что? Доктор?!

Я, конечно, небольшого роста и умеренной комплекции, но такого обращения не терплю.

— Я дежурный врач, зовут меня Ольга Павловна. Что у вас случилось?

— Слушай, ты, пигалица! Если мой сын не будет видеть, тебе как. Поняла? — рычит красная рожа.

Так, ясно, этот товарищ про вежливость не слыхал, от такого чего угодно ждать можно. Мне становится страшновато, тем более что стою я перед этой компанией в одиночестве. Страх страхом, а ребенка посмотреть надо.

— Где мальчик?

Амбалы расступаются. На маленьком топчане рядом со смотровым кабинетом сидит ребенок. Ему приблизительно пять лет, одной ладошкой он прикрывает левый глаз, ладонь и щека в потеках засохшей и свежей крови, кровь и на нарядной рубашечке, а вторая ладонь аккуратно лежит на коленях. Мальчик не плачет и даже не хнычет, а внимательно, в упор смотрит на меня. Это настолько не вяжется с поведением отца, что у меня невольно возникает мысль: «Может, это не его сын?» (Потом выяснилось, что они действительно отец и сын, просто мальчик воспитывается в семье матери, отец с ними не живет, взял ребенка на выходные, а тут такая история.)

— Как тебя зовут? — спрашиваю этого необычного ребенка.

Ответ меня потряс так, что некоторое время пребывала в столбняке:

— Всеволод Филиппович Бекмуратов, тысяча девятьсот девяносто пятого года рождения, улица сорок третьей Армии, дом восемь, — вот так, по-военному четко ответил маленький мальчик с дыркой в глазу.

Опомнившись, вхожу в привычную роль:

— Пойдем со мной, я должна тебя осмотреть.

А у его папаши спрашиваю (как положено по инструкции):

— Страховой полис у мальчика есть?

В ответ получаю такой красноречивый рык, что о каких-либо бумажках больше не заикаюсь.

— Но что произошло, вы мне можете рассказать?

— Ну, это да, конечно. Я, это, игрушку ему. День рождения, это, у него. Да, вот.

— А что за игрушка?

— Да, это, маленькая... Пистолет. Игрушечный.

Оказалось, что этот игрушечный пистолет стреляет резиновыми пулями. Мальчик нечаянно сам себе попал этой пулей с близкого расстояния в глаз. Я старательно, исполняя весь ритуал осмотра, обследовала маленького пациента. Но мне уже все ясно было с первых минут. Глаза больше нет. На месте глазного яблока сплошной кровяной сгусток, сосуды продолжают кровоточить, веки разодраны и тоже кровоточат. Видеть этим глазом мальчик уже не будет. Срочно делаем обезболивающий укол (невероятно, как до сих пор ребенок терпел боль), добавляем в шприц кровоостанавливающий препарат. На остатки глаза накладываю тугую повязку. Теперь надо решать, как сказать все отцу и не получить при этом увечья. Ладно, начнем:

— Вы знаете, ситуация сложная, повреждены практически все структуры глазного яблока...

— Чего-чего? Ты мне скажи, когда видеть будет? Завтра? Через неделю? А то мне пацана матери надо возвращать.

Ну, как ему объяснить?!

— Сейчас я должна зашить рану, — говорю как можно решительней, — а вы должны подписать бумагу о том, что не возражаете.

— Ну, это можно, — мужчина отставляет пятерню, в которую тут же один из сопровождающих вкладывает шариковую ручку.

«Зашью, а там видно будет», — думаю про себя.

Вся компания заметно расслабилась, расселись на стульях в смотровом кабинете, крутят головами на наши плакаты с профилактическими призывами (вообще-то посторонним здесь нельзя находиться, но попробуй им это скажи!). Представляю себе ход их мыслей: «Дырка в глазу — не видит, дырку зашить — будет видеть». Если бы все было так просто...

Вызываю по телефону анестезиолога. Маленькая радость: оказалось, что сегодня из анестезиологов дежурит Инесса Петровна — пожилая, опытная врач, с ней спокойно работается, не ждешь, что во время операции больной начнет сжимать веки или крутить головой. Она умеет очень четко подобрать дозу наркоза, а для ребенка это так важно!

Пока медсестра переодевает мальчика, иду в операционную, моюсь (в смысле обрабатываю стерильно руки), тоже переодеваюсь. Операционная медсестра Люда, с которой мы знакомы сто лет (еще с тех пор, как я работала санитаркой), уже, конечно, в курсе всей истории.

— Что делать-то будем, Оль?

— Работать. Что ж еще?

— Убьют ведь, — как о чем-то само собой разумеющемся говорит Люда.

«Это точно», — про себя соглашаюсь с ней, а вслух произношу:

— Да, ладно тебе! Что они — совсем без мозгов?

«Совсем», — наверняка думает про себя Люда, а мне отвечает, вздыхая:

— Может, остатки где и найдутся.

Продолжая разговаривать таким образом, мы каждая добросовестно делаем свое дело: медсестра раскладывает инструменты на специальном столике, я настраиваю микроскоп.

В операционную стремглав входит врач-анестезиолог. Эта маленькая женщина в любое время суток энергична, будь вызов в двенадцать ночи, в три или пять утра. Необъяснимый факт с точки зрения физиологии.

— Странная компания будет вас ждать после операции, Ольга Павловна, — говорит Инесса Петровна после того, как мы поздоровались. — Пытались меня заменить, да некем. Вероятно, предполагают, что при наркозе необходима мужская сила.

Мы с Людой вежливо посмеялись.

Но вот на каталке привезли мальчика, уложили на операционный стол. Он все так же молчалив и спокоен. Удивляясь таким качествам у пятилетнего ребенка, переглядываемся с анестезиологом и медсестрой.

— Я сейчас тебе введу иголочку в руку, чтобы лекарство подействовало и тебе бы не было больно. Ты только не дергайся, хорошо? — ласковым голосом обратилась Инесса Петровна к мальчику.

Он только кивнул головой. «Ну и ребенок!» — в который раз подумалось мне.

Но вот лекарство начало действовать, мальчик закрыл свой, теперь единственный, глазик. Еще некоторое время ушло на интубацию (введение специального катетера в трахею — дыхательное горло — и соединение этого катетера с аппаратом искусственного дыхания). Через несколько минут Инесса Петровна махнула мне рукой: «Можете начинать».

Честно говоря, начинать мне совсем не хотелось. Даже когда в отделении бывали плановые больные, которым в результате разных причин необходимо было удалить один глаз, я всегда старалась всякими хитростями, чтобы эту операцию делали другие врачи (некоторые, наоборот, любят энуклеацию!). Но сейчас никого больше нет, а на столе несчастный ребенок. Аккуратно снимаю наложенную мной же повязку на травмированном глазу. Засохшие было кровяные корочки сдираются и кровотечение возобновляется. Люда быстро промакивает кровь специальным тампоном, но это мало помогает: кровоснабжение век и глазного яблока довольно обильное, и при травмах кровотечение всегда выраженное. Сначала необходимо зашить раны век, поэтому на остатки глаза кладу большой марлевый тампон и просто прижимаю его пальцем. Из глаза больше не кровит. Затем мой палец меняю на палец медсестры, а я приступаю к ушиванию век. На веках раны, как мы говорим, «хорошие», то есть края ран сопоставляются без недостатка кожи. Хоть в этом повезло.

Люда постаралась: нашла у себя в «зачатке» тонкую иглу и тонкие нитки, а обычно в «цитовом» (то есть «срочном») хирургическом комплекте старые тупые иглы и странного размера нити. Шьется легко, кожа тонкая, но эластичная — не рвется под пинцетом. Шовчик получился чисто косметический! Хотя для нашего пациента это слабое утешение.

Все возможные причины для оттягивания неприятной для меня процедуры удаления глаза закончились. Надо приступать. Смотрю на Инессу Петровну: «Как наркоз, позволяет?». Она понимает меня без слов и также без слов просто кивает головой. Люда убирает свой уже онемевший большой палец с тампона, очень медленно, чтобы не вызвать нового кровотечения, снимаю тампон совсем. Да, глаза нет, просто кровавая впадина на его месте. Но глазные мышцы частично целы и держат на себе остатки капсулы глаза. Старательно, боясь упустить хотя бы одно волокно, отсекаю все мышцы. Теперь то, что осталось от глаза, выглядит в виде маленькой чаши, к донышку которой приклеен окровавленный канатик — зрительный нерв. Осталось только его пересечь и зашить конъюнктиву. А так мало проживший глазик отправится в помойку.

Завожу ножницы под зрительный нерв. Чик — и готово, но почему-то медлю. Нет, чудес не бывает, наркоз идет, надо работать. Чувствуя себя злодеем, я делаю это последнее движение. И в тот же миг (как возмездие!) неожиданный удар в закрытую дверь операционной отражается громом от кафельных стен. Дверь распаивается, в операционную влетает отец мальчика. Никто ничего не успевает сообразить. И только Люда чисто рефлекторно кричит:

— Куда в ботинках в операционную!? — крикнула и сама испугалась.

— Что?! Ботинки?! Мать вашу!.. — мужчина резким движением ног сбрасывает сначала один, потом другой ботинок, которые летят в разные углы операционной, по пути сбивая что-то стеклянное и бьющееся.

У меня шок. Натуральный шок.

— Где мой мальчик? Я его забираю! Я его отвезу в Москву! Там не такие сикильдявки, там настоящие врачи, там сделают глаз моему сыночку!

Как через вату слышу крики ненормального папаши. Вижу, как он бросается к операционному столу, сдергивает простыню с ребенка, задевает при этом столик с

инструментами. Инструменты со звоном ударяются о каменный пол. Я не в силах двинуться с места, помешать этому безумию.

И тут встает Инесса Петровна:

— Прекратите! Ребенок под наркозом! Так нельзя — вы его убьете!

Последняя фраза оказалась барьером, который смог остановить разбушевавшегося отца.

Что же на него нашло? Оказалось, пока мы оперировали, Наденька решила пококетничать с нашими «гостями», показать им, какой она знающий специалист. И сделала «доброе» дело: сказала папаше то, чего не решилась сказать врач. А именно: «Теперь вам надо будет найти красивый протез для мальчика, я даже могу сказать где». Не успела. Дальше отец ребенка слушать не стал. Эти врачихи ему с самого начала не понравились. Ну, ничего, уж в Москве-то все будет как надо!

Вот так начинался ураган, в эпицентре которого мы оказались.

После слов Инессы Петровны возникла пауза. Никто не знал, что делать дальше. Операционная медсестра в ужасе от вида разбросанных (и наверняка поломанных) дорогих микроинструментов (она ведь за них материально ответственна!), обо мне уже сказано, анестезиолог в замешательстве — продолжать или нет наркоз (без согласия отца — уголовное дело), ну, а сам отец в недоумении: он же хочет как лучше, а ему говорят: «можете убить».

Первой опомнилась опять Инесса Петровна:

— Говорите быстро: продолжать операцию или нет? — обратилась она к мужчине.

— Какая операция!? Я забираю сына в Москву, — почему-то гордо отвечал отец мальчика. Мол, вот мы какие «крутые»: хотим — здесь лечим, хотим — в Москву едем.

Пришлось выводить ребенка из наркоза (это делала Инесса Петровна), накладывая специальную повязку на глаз (это делала я — как в тумане), и все это в присутствии весьма довольного собой папаши. Причем он не просто наблюдал, он еще указания раздавал:

— Поаккуратней, это вам не кукла! — Инессе Петровне, когда она удаляла катетер из дыхательного горла мальчика (это анестезиологу-то с тридцатилетним стажем!)

— Бинта не жалей, не бомжа лечишь! — мне, когда я делала повязку.

Как мы все это терпели? А в дверях операционной, усмехаясь, стояли три фигуры, при взгляде на которые оставалось только молча делать свое дело. Не передать, что чувствовала Люда. Она на самом деле любила свою работу, и явление абсолютно нестерильных лиц в храме, в операционной, оскорбляло ее душу. Она стояла возле операционного стола, потрясенная и настолько беззащитная в своей неспособности исправить ситуацию, что слезы беззвучно катились из ее глаз и терялись в марлевой повязке, совершенно уже промокшей.

Автоматически, не глядя друг на друга, мы с Инессой Петровной закончили свои действия.

— Можете везти в Москву, — Инесса Петровна бросила эти слова изменившимся, глухим голосом.

Отец и его сопровождающие мигом переложили мальчика на каталку (взяли из отделения и так и не вернули) и испарились. Наступившая тишина и образовавшаяся пустота в операционной, как ни странно, подействовали на нас отрезвляюще. Люда принялась снова туда-сюда, убирая, поднимая и складывая. Я лихорадочно перебирала в уме варианты, как буду всю ситуацию отражать в истории болезни (история болезни пишется для прокурора! — заповедь любого врача), одновременно снимая с себя стерильный халат, шапочку и маску. Инесса Петровна спокойно, как будто ничего сверхобычного не произошло, складывала в чемоданчик свои инструменты.

Обычно после операции мы все, кто в ней участвует, пьем вместе чай. В операционном блоке есть для этого специальная небольшая комнатка, где стоит стол, стулья, имеется чайник, чашки и все прочее. Человек — это его привычки. Несмотря на пережитый страх, Люда не забыла спросить нас:

— Чайник сейчас ставить или попозже?

— Спасибо, но я к себе, — как-то отстраненно ответила Инесса Петровна. — До свидания. Надеюсь, сегодня больше вас не увижу.

И она ушла. Наденька, которая, как только отец с сыном и компания покинули операционную, помогала Людмиле прибирать, чувствуя себя виноватой, заторопилась домой:

— Ой, а смена-то моя уже кончилась, там и Алла (ночная медсестра) уже пришла. Я побегу. Можно, Ольга Павловна?

— Иди, конечно.

«Все что могла, ты уже сделала», — вспомнились слова из известного фильма.

— Жива? — спросила Люда, когда мы остались вдвоем.

— Частично, — пожаловалась я. — Люд, во рту все пересохло еще час назад, ставь чайник. Я в отделение, Аллу введу в курс дела и к тебе.

Алла была полной противоположностью ушедшей Наденьке. Работала она в отделении дольше меня. Считала место работы своим вторым домом, а себя соответственно хозяйкой. Авторитетов для нее не существовало. Врачи, в ее понимании, это существа, вносящие неразбериху в налаженный ею идеальный — ну, или почти идеальный — порядок в отделении. В ее дежурства больные не решаются лишний раз выйти из палаты в туалет, потому что при этом непременно приходится идти по коридору мимо комнаты, где «отдыхает», в смысле спит, Алла. Их шаги могут потревожить ее заслуженный и столь необходимый медсестре отдых. Врачи, если дежурят с Аллой, стараются не делать больным много назначений, требующих действий медицинской сестры. Только самое необходимое!

Выглядит наша старейшина — не по возрасту, по положению — по-настоящему солидно: рост около ста семидесяти сантиметров, вес около ста килограммов, туловище квадратное, груди с мою голову каждая, волосы всегда под высоким колпаком, выражение круглого мясистого лица высокомерное, косметикой она не пользуется. Часто вновь поступившие пациенты или их родственники принимают нашу Аллу за заведующую, а бывает — и за главврача! Она этим нисколько не смущается и никогда напрямую не опровергает этого заблуждения.

— Ну, что тут у вас стряслось? — не здороваясь, строго встречает меня у выхода из операционного блока Алла.

Как всегда в накрахмаленном халате и белоснежном колпаке, она отдаленно напоминает айсберг, задумчиво плывущий в ледяных водах. Начинаю отчет:

— Ты знаешь, Ал, мы не закончили операцию, тут команда ненормальных увезла ребенка в Москву.

— А кто их в операционную пустил?

(Ведь знает все, а спрашивает!)

— Так они сами, без спросу, — мямлю какую-то ерунду.

— Как это «сами»? А Надька где была?

— Ал, ты их видела? Что Надя могла сделать?

— Я бы нашла что, — ворчит Алла.

«Не сомневаюсь», — думаю про себя, но вслух ничего такого не говорю.

— Алла, я сейчас пойду ненадолго к Людмиле в операционную, чай попью, а то голова что-то не очень, — говорю, будто спрашиваю разрешение. Самой противно, но этот тон при разговоре с Аллой возникает сам собой, и нет возможности от него отделаться.

— Ладно, идите. Я пока в обороне побуду — так Алла мыслит работу с больными.

В ординаторской с наслаждением переодеваюсь в запасной халат; операционный костюм на спине и на сидячем месте насквозь мокрым от пота. Жаль, что в отделении нет душа, хорошо бы сейчас постоять под водой...

Пошарила в общем шкафу, нашла кем-то оставленную неполную пачку печенья и кулек леденцов. Не густо, но хоть что-то! Свою еду дома забыла, а с пустыми руками к Людке идти — совсем наглость получается. С кружкой в одной руке и с закуской к чаю — в другой захожу в кухонный закуток. За столом рядом с Людой уже кто-то сидит в белом халате.

— О, Оль, привет, заходи! — приглашает меня знакомый врач.

Специальность у него, не к столу будет сказано, — патологоанатом. За его спиной Людка делает мне знаки: «Не виноватая я, он сам пришел».

— Привет, Константин Петрович. Что это ты к нам вдруг?

— Да надоело: дом—работа, работа—дом. Вот решил заглянуть к любимым девушкам (у него таких любимых — в каждом отделении, несмотря на солидный возраст). Я, между прочим, не с пустыми руками.

На столе стояла раскрытая коробка конфет. Честно говоря, сейчас бы картошечки с тушенкой. Как все-таки человек зависим от своего желудка: всего-то ничего времени прошло с того часа, когда казалось, что жизнь кончается, а уже меню требуется.

— Лучше бы колбасы принес, — озвучивает мои мысли прямолинейная Людмила.

— А у вас разве нет? — с недоверием вопрошает наш гость.

— Да какое там! Чуть из самих колбасу не сделали, — и Люда в красках рассказывает ему нашу эпопею.

— Ну, девки, просто беспредел какой-то, — искренне удивляется Константин Петрович, выпивая третью чашку чая со своими конфетами.

Слушая Людмилу, я уже по-другому вижу всю ситуацию. Как я могла допустить, чтобы сняли ребенка со стола? С болтающимся на одной ниточке глазом (пусть даже с его остатками)? А вдруг по дороге ребенку станет совсем плохо? Ну, ладно, отец мальчика ничего этого не понимает, но я-то?! А вдруг станет так плохо, что хуже некуда? Меня точно посадят. Что ж я такая дура, вечно куда-нибудь вляпаюсь! Сразу отправила бы мальчика в Москву и никаких проблем. А теперь только сухари сушить.

— Оль, ты чего чай-то не пьешь? Смотри, у меня сухарики с сахаром, — добрая душа Люда отвлеклась от Константина Петровича.

«Как раз в тему».

— Спасибо за сухари, Люд. Мой рацион.

— Да ешь, сколько хочешь, — скупердяйством Людка никогда не страдала.

Мы втроем дружно налегли на чай. В возникшей тишине послышались четкие тяжелые шаги. Сомнений не было — к нам идет Алла.

Константин Петрович торопливо одернул на себе халат, выпрямился на стуле. Людмила сгребла пустые фантики со стола и быстренько выбросила их в мусорную корзину. Я же мысленно уже сидела в Бутырке, поэтому Алла мне была не страшна.

— Чай пьете? — грозный голос все же заставил и меня подобраться. — А в приемном, между прочим, вас уже полчаса ждут.

— Что ж ты, Алла, раньше не сказала? Я ведь предупреждала, где буду, — справедливо возмутилась я в ответ.

— Занята была, вашим же больным капли капала, — парировала Алла.

— Хорошо, скажи, кто ждет?

— Да бомжа привезли, подрался с кем-то, глаз и разбили, — объяснила Алла уже миролюбиво, поскольку верная Людка успела и конфет ей подсунуть, и чаю налить.

— Не люблю бомжей, — задумчиво проговорил Константин Петрович.

— А вам-то какая разница? — усмехнулась Алла.

— Кожа у них задубевшая, режется тяжело.

Людка поперхнулась чаем:

— Ну не за столом же, Константин Петрович!

— А что такого? Я смотрел передачу одну про бомжей в Европе, так им там и крем, и шампунь, и много чего бесплатно выдают. Так что они чистенькие на стол поступают.

— Да, наверное, хорошо быть бомжом в Европе, — мечтательно и тоже серьезно сказала Алла и повернулась в мою сторону. — А вы что сидите, Ольга Павловна? Вас ждут!

«Тюрьма меня ждет», — мрачно подумала я, однако встала и молча пошла в приемную. Объяснять что-то про субординацию Алле не было ни сил, ни смысла.

В приемной на кушетке, покрытой несвежей серой простыней, одиноко сидел

заросший щетиной мужичок, небольшого росточка и неопределенного возраста. Он держался двумя руками за голову, покачивался из стороны в сторону и монотонно мычал. На месте одного глаза у него был набухший синяк черно-фиолетового цвета величиной с хорошую сливу. Волосы грязные, нестриженные, с одного бока в засохшей крови. Одежонка засаленная, вонючая.

— Что ж вы его не переодели? — обращаюсь к нянечке приемного отделения — единственной, кого здесь вижу. Врачи «скорой» доставили больного и уехали.

— Так неизвестно: покладут его или нет.

Конечно, все больные для врача должны быть равны, но не могу подавить у себя чувство брезгливости. Надеваю резиновые перчатки, которые, как водится, на два размера больше. Подхожу к продолжающему мычать мужчине на расстояние вытянутой руки — не ближе! — и пытаюсь приподнять раздувшееся верхнее веко, чтобы оценить состояние самого глаза.

— Эй, поосторожней! — вскрикивает пациент и своей грязной рукой отталкивает мою руку. С ужасом думаю, сколько теперь заразы на рукаве моего халата, и невольно проникаюсь злостью к этому несчастному. Свирепо зову подмогу:

— Нянечка, помогите. Подержите пациенту руки, пока я его буду смотреть.

— Не-не, я сам, — пугается насилия бомж.

Уточняю:

— Руками махать, ругаться, плевать не будете?

— Ни в коем рази!

— Ладно, возьмитесь руками за коленки...

Я-то хотела предложить ему обычную в таких случаях уловку: когда человек держит сам себя за коленки, ему, вроде как, ему легче терпеть боль. Но не успела я закончить предложение, как бомж схватил за колени меня (!).

— Что вы делаете! — почти задыхаясь от возмущения, закричала я.

— Так это... Вы ж сами...

— Дурак стоеросовый! Твои коленки! — я уже не выбирала выражений.

Придется мыться в операционной у Людки в раковине. Нянечка просто заходила от хохота:

— Ну, насмешили! Работать-то будете?

Молча, не обращая абсолютно никакого внимания на вскрики и постанывания бомжа, грубо, металлическими инструментами приподнимаю наконец верхнее веко и вижу совершенно целый глаз, спрашиваю сердито.

— Меня видно?

— Да, доктор, вижу, — пациент пытается уластить меня.

Кровоточащая ссадина на веке неглубока, можно, конечно, наложить два-три шва. Но... усталость, злость, желание поскорее отмыться — все это оказалось выше так называемого врачебного долга. «Помажу зеленкой, пластырем заклею, и заживет как на собаке», — с раздражением на саму себя за эту свою слабость подумала я. Быстренько проделав несложную процедуру, вновь зову нянечку:

— Проводите больного к выходу, госпитализировать его не будем.

— Ну, а я что говорила? А то «почему не переодели»... Я ж сразу вижу: кого покладут, а кого ... Эх, жизнь наша! — вздохнув, нянечка тихонько взяла бомжа за руку. — Пойдем, милоч.

Пытаясь отделаться от чувства чего-то гадкого, оправдываюсь про себя: «Все равно мест в палатах нет, а в коридоре что хорошего лежать?». Хотя в любом случае в коридоре лучше, чем на улице или в грязном подвале. Но об этом стараюсь не думать.

Возвращаюсь в отделение: тишина такая, какая бывает только во время дежурства Аллы. Как она добивается, чтобы никто не храпел, не ворочался, не кашлял, — ее тайна. Мышкой шмыгаю в дверь операционной. Люда вся в делах — драит операционную. Уже мало что напоминает о разгроме, который царил здесь всего пару часов назад.

— Ну, что, обошлось? Шить не надо? — дежурный тревожный вопрос.

— Не надо, — отвечаю с нажимом.

Людка сразу улавливает какой-то подвох:

— Точно не надо?

— Надо — не надо, уже отпустила, — раздражаюсь зря на неповинного человека.

— Ну, отпустила — так отпустила. Я домываю и ложусь, — обиделась Людка. Обозначает: «Нечего здесь ждать, иди к себе».

Ухожу. Помыться не удалось. Не дежурство, а одна большая помойная яма! У себя в ординаторской устраиваюсь на продавленном десятилетними посиделками диване. Хорошо еще, что сейчас лето: хоть из окна не дует. Замираю и почти засыпаю. Но не тут-то было! Не прошло и пятнадцати минут приятного затишья, как мой так и не начавшийся сон был прерван сильными короткими стуками в дверь. Алла! Как собачка отзываюсь на сигнал:

— Иду.

Открываю дверь — никого. Странно. Но в палате в конце коридора улавливаю какую-то непонятную возню. Не торопясь, направляюсь туда и вижу нечто необъяснимое: на полу лежит довольно полный пациент, а над ним, стоя на коленях, копошится медсестра. Почувствовав мое присутствие, Алла отрывисто обрисовывает ситуацию:

— Диабет, кома.

Понимаю, что больной потерял сознание в результате диабетической комы, а Алла как опытный сотрудник — этого у нее не отнимешь, — не дожидаясь моих назначений, берет у него кровь на сахар. Эти мысли проносятся в мозг за секунды, и я практически сразу спрашиваю:

— Сколько?

Для Аллы вопрос понятен: «Сколько сахара в крови?». У нас современный индикатор, дающий результат почти мгновенно.

— Три.

Это очень мало, надо вводить глюкозу внутривенно. В это время у мужчины начинаются судороги, как бывает при низком содержании сахара в крови. Его тело начинает колотиться об пол, лицо краснеет, челюсти сжимаются. Обычно при таком состоянии мы боимся, как бы больной не задохнулся от того, что запавший язык перекрывает горло.

— Быстрее, — падаю на колени рядом с Аллой, с трудом пытаюсь повернуть голову мужчины набок. — Алла, дай что-нибудь, чтобы челюсти ему раздвинуть и вытащить язык!

Алла проворно вскакивает и молнией хватает с чьей-то тумбочки алюминиевую ложку и передает мне.

— Я в процедуру за глюкозой, — она умчалась, а я тщетно стала пытаться всунуть ложку между челюстями больного.

Пациенты палаты молча наблюдали за нами, ничем не пытаясь помочь. Хотя чем поможешь? Примчалась со шприцем Алла, почти с разбега вколола инъекцию. Судороги прекратились, но лицо мужчины оставалось красным и челюсти сильно сжатыми.

— Дайте-ка, — Алла бесцеремонно выхватила из моих рук ложку, одной ладонью обхватила голову пациента сверху, а другой с силой ткнула ложкой между зубами. Послышался скрежущий звук, и ложка прошла в полость рта. После этого мы уже вместе вытащили и фиксировали язык. Лицо больного постепенно сделалось светлорозовым, сознание возвратилось. С помощью других пациентов мы переложили его на кровать, освободили язык. С трудом отдышавшись, я попросила медсестру:

— Ал, измерь еще разок сахар.

— Да я так вижу — норма, — отмахнулась она.

— Но ты все-таки измерь, мне в историю написать надо.

Нехотя Алла встала со стула, медленно ушла за прибором. Нетеплое отношение ко мне обеспечено. Возвращенный к жизни больной завозился на своей кровати, что-то спросил. Я попросила вежливо:

— Повторите, пожалуйста. Я не расслышала.

К человеку, которому помог, некоторое время испытываешь что-то вроде нежности. Потом это чувство проходит.

— Что вы наделали? — буквально крикнул больной с упреком.

— А что такое? — бодро спросила входящая в палату Алла.

— Мой зуб!

— И что? Нормальный зуб, — не смущаясь, Алла вытащила из кармана осколок зуба.

— Алла! — я в растерянности не знала, что и сказать.

— А что такого? Человеку жизнь спасли, а он — зуб. Благодарить должен.

— Благодарить? Да я вас под суд!

Но с Аллой не поспоришь. Она невозмутимо приблизилась к кровати больного, держа в руке поднятую вверх иглу. Взгляд пациента буквально приковался к этому маленькому металлическому инструменту (просто Фрейд какой-то!), слова замерли у него на языке, он молча протянул руку для укола. Несколько секунд, и Алла выдала результат:

— Пять с половиной¹.

Не давая опомниться больному, она повернулась ко мне и поучительно произнесла:

— А мог быть *ноль*!

Устрашающие слова прекратили дискуссию. Мужчина замолк и, вероятно, про себя благодарил судьбу.

— Если что — крикните погромче, — благосклонно разрешила Алла напоследок и гордо, как крейсер, выплыла из палаты.

Я еще некоторое время посидела рядом с больным, понаблюдала за его улучшающимся состоянием и тоже отправилась к себе в ординаторскую.

За окном стало светлеть. «Спать или не спать — вот вопрос», — лечь, чтобы через сорок минут вставать и начинать делать утренний обход? Не логично. Чем же заняться? Ах, да! Я же еще не сделала запись в журнал дежурств. Что же написать? И главное — как? Как все было на самом деле — нельзя: у прокурора не пройдет. Поэтому получилось вот так:

«В период дежурства:

1. Произведена первичная хирургическая обработка век. Пациент такой-то, история болезни такая-то. Пациент по желанию родственников продолжает лечение в ЛПУ (лечебно-профилактическом учреждении) г. Москвы.

2. Оказана амбулаторная помощь пациенту без определенного места жительства, пациент отправлен по месту проживания.

3. Проведены срочные лечебные мероприятия пациенту стационара с сахарным диабетом. Пациент чувствует себя удовлетворительно».

Несколько сухих, просто-таки высушенных строчек и... И все. А что еще? Ведь это было всего лишь обычное тривиальное ночное дежурство в обычной, чтоб не сказать — затрапезной, районной больничке, совсем рядом с Москвой.

¹ Имеется в виду содержание сахара в крови.

Ульви Мехти Мамедов

За рубежом

Мы едем, едем, едем
В далекие края,
Хорошие соседи,
Счастливые друзья!
Нам весело живется,
Мы песенку поем,
А в песенке поется
О том, как мы живем.

*(С. Михалков. Из школьной программы начальных классов
советской системы образования)*

Сегодня уже далеко не каждый азербайджанец сможет припомнить, когда был последний поезд, последний самолет, последний рейс автобуса из Азербайджана в соседнюю республику Армения.

А было это в достославные времена в некой стране светлых грез, так любившей напевать о дружбе народов. Теперь на месте общесоюзной империи и союзных республик появились границы, обросшие бюрократическими хитросплетениями и усложненные пограничными кодексами.

Ныне на постсоветском пространстве, именуемом Содружеством Независимых Государств, возникли самопровозглашенные территориальные новообразования, такие как Приднестровье, Южная Осетия и Абхазия. Независимость последних двух была признана самым большим и самым маленьким государствами мира. Камнем преткновения между народами Азербайджана и Армении стал Нагорный Карабах с семью прилегающими к нему районами так называемого Равнинного Карабаха, посчитанными азербайджанской стороной как 20% от всей территории Азербайджана. Со стороны Армении ни один математик не соглашается признать эти двадцать процентов оккупированными, трактуя их отторжение как борьбу за независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики. Независимость, которую не решается признать никто в мире, даже сама Армения, как бы выступающая гарантом ее безопасности.

Собственно, начало карабахского конфликта, ставшего самым мощным катализатором развала империи красных мощей, почти совпало с призывом выдающегося французского философа, социолога и культуролога второй половины XX века Жана Бодриера и вовсе отменить оставшиеся ...дцать лет и сразу же объявить новое, двадцать первое столетие, так как все, чему предназначено было свершиться в веке двадцатом, уже свершилось... Наверняка именно со слов Бодриера и берет начало эпоха постмодернизма в текстовом формате. Все события, связанные с реальными боевыми действиями вокруг да около Карабаха, просуществовавшие с 1988 по 1994 год и далее по сей день, — абсурд. В том числе и потому, что самый кровавый конфликт на пространстве СНГ был остановлен практически на честном слове, без миротворцев, без разъединительных сил ООН, и этот мнимый мир сохраняется по сей день. Уж не знаю, к счастью ли это пограничное состояние. Хотя за все истекшее время «честное слово» нарушалось лишь дважды на несколько дней по всей линии соприкосновения: по осени 2003-го и по весне 2008 года. Вроде конфликт готов был вспыхнуть с

прежней силой, но после вмешательства загадочных третьих сил мирового закулисья ситуация возвращалась в прежний статус мнимого затишья. Зато война перекинулась из реальной плоскости на виртуальное пространство телеэкранов и страницы сетевых СМИ и форумов. Именно этот конфликт сегодня может служить пособием тотально-игровой модели репрезентации войн: начало новой эры.

В эпоху постмодернизма линия фронта проходит по орбитальной дуге, там, где бороздят пространство (большого театра военных действий) космические корабли и выются коммуникации. За этот переходный период на стыке веков почти все реальные научные труды по «третьей мировой войне» принадлежат перьям не политологов или военных экспертов, а социологов, культурологов, искусствоведов, таких как Бодриар, Вирилио, Даней. Среди работ моих ближайших современников я бы отметил труды киноведа Михаила Трофименкова «Войны конца века: три парадокса» и музыковеда Эльмира Мирзоева «Войны долмы: венец абсурда». Так называемые гастрономические «войны долмы», по мысли автора, существуют как в форме «культурного» противостояния, так и в форме цельной «симфонии» комплексов внутри необследованного (местами нездорового) общества. Эти войны, в отличие от самого политического конфликта, далеки от жесткого централизма. Эти «электронные войны» открыли безграничный доступ для массовых изощренных фальсификаций. У меня напроць отсутствует желание изобличать тиранию проправительственных СМИ, я просто пытаюсь констатировать их имманентную особенность: сбор жертв под названием электорат.

Мое путешествие в соседнюю Армению означает (во всяком случае, для меня лично) снятие барьеров внутренней цензуры, дабы иметь право на собственную информацию и взгляд с противоположной стороны конфликта. Право на информацию не противоречит праву знать об изъянах информации.

Кратчайшим расстоянием между двумя точками на плоскости является прямая.

(Из школьного курса)

«Кривой дорогой ближе».

(А. и Б.Стругацкие. «Пикник на обочине»)

Состояние наших протофеодальных обществ Южного Кавказа четко отражается на межгосударственных транспортных системах. Если бы не минные поля и так называемые сталкеровские «зоны соприкосновения огня» (их периодически разминируют — то для мониторинга ОБСЕ, то для российской культурной дипмиссии Швыдкого, как в 2007 и 2009 годах), ехать бы мне автомобилем по прямой до Еревана километров эдак 800, то бишь около десяти часов при средней скорости 80 км/ч. Но теперь этот путь в объезд через Грузию поездом занял у меня почти сутки. Вагонные и локомотивные депо всего Южного Кавказа — наглядное пособие по истории советского прошлого. Даже не совсем советского — на всех вагонах выбито: «Сделано в ГДР». Такой вот парадокс: передвигался я на продукции двух не существующих ныне государств.

Путь на поезде Баку—Тбилиси занял около 16 часов со всеми остановками и конфискацией у соседей по купе грузинской таможенной службой подозрительного мешка с зеленью. Заметим, самолет Дели—Нью-Йорк перелетает весь Тихий океан за 10 часов. Казалось, что на азербайджанский участок дороги машинист-путепроходчик для настройки колеи магистрали заглядывал еще в перестройку. На тбилисском вокзале меня встречает один из организаторов фестиваля «Дни турецкого кино в Армении», правозащитница-миротворец Луиза Погосян, а также ее грузинский коллега Ираклий Чехладзе. Далее из Тбилиси автомобилем — до грузино-армянского приграничного пункта Садахло (что в приграничном районе, густо населенном моими соотечественниками).

Вдоль дороги несколько крупных азербайджанских сел дружно перемешаны с армянскими, что засвидетельствовано указателями на трех языках (в быту вполне хватает одного — великого и могучего русского). В этой зоне за время и после войны

не было зарегистрировано ни одного конфликта на межнациональной почве даже тогда, когда, до реформ Саакашвили, здесь располагался челночно-торговый рынок (местная «черкизона»), что подтвердили грузинские полицейские. В одном из местных кафе-ресторанов у хозяина имеется стихийный обменный пункт с валютами трех государств Южного Кавказа; само собой разумеется, «бакинская» (доллар) и «еврейская» (евро) тоже в ходу. При нынешней холодной войне Грузии с Россией деревянные не особо актуальны, но все же для армяно-российских дальнобойщиков наличка имеется.

Вот и грузинский погранконтроль с очень молодыми сотрудниками, на вид — курсантами. Подхожу к окошку, над которым установлена веб-камера, и позирую анфас и дважды в профиль, после чего протягиваю загранпаспорт Азербайджанской Республики. Непокоримо улыбчивое лицо грузинского погранца (а-ля продавец из Макдоналдса с бесплатной улыбкой) вдруг каменеет, и он, подняв голову, заявляет мне: «Вы отдаете себе отчет, куда следуете? Вы уверены, что идете в правильном направлении?». Я в ответ: «Да, не на Гаити же еду!». Тут уж он, окончательно выйдя из себя, позвал старшего по смене и если бы не Луиза, которая своевременно и хладнокровно убедила грузинских стражей закона в жизненно важной необходимости моего участия в столь историческом фесте, то наверняка мой исторический переход через Рубикон сорвался бы. Бюрократия — она и в Африке бюрократия.

Хотя... В Африке я еще не был.

Армянские погранцы встретили меня «коллективной смехопанорамой», словно я был Жванецкий (на худой конец, Арканов), а они — одесситы. Не преминул спросить у своего сопровождающего по территории Армянской Республики, что же они во мне нашли такого смешного. Услышал в ответ, что они интересуются, почему в паспорте не указан мой рост. Это их единственный вопрос ко мне. Уточняю: два метра с обувью, на что получаю ответ: «Добро пожаловать!».

И вот я ступил на тот рубеж, который давно уже, со времен начала конфликта, — *terra non grata* для граждан Азербайджана.

Теперь я даю волю Внутреннему Репортеру (по Пелевину).

Весенняя оттепель на плато Армянского нагорья. Ясный солнечный вечер при райцентре Ноябрьеря, находящемся вблизи границы с Азербайджаном и обоюдными минными полями. Типовые райкомовские коробочки соседствуют с аграрным элементом. Ощущения «советскости» зримы — под стать фильмам Миндадзе-Абдрашитова. И все это — при полупустых улочках вдоль трассы. Проезжаем, вернее, кружим по серпантину, и Гарник, сопровождающий за рулем, по совместительству гид, начинает первую экскурсию — по древним кладбищам Инджеванского района. Кладбища оказались мусульманскими, причем такими, какие я видел разве что в Нардаране (пригород Баку) в глубоком детстве. Они сохранились, причем в лучших традициях шариата: большинство камней заросло травой. Хочу напомнить, что по исламской традиции именно так, на пятьдесят сантиметров, должен уходить в землю надгробный камень. Зато сегодняшняя традиция захоронений в Азербайджане сильно напоминает армянские кладбища, расположенные здесь же, по соседству, — обелиски из черного камня с силуэтами покойников. Эти похоронные ритуалы азербайджанцы унаследовали от армянских зодчих с бакинской Завокзальной.

Гарник отрешенно, с грустной интонацией, интересуется: а как вообще обстоит дело с исторической памятью в Азербайджане? Когда я сообщаю, что у нас сносили даже и мусульманские кладбища, у него отпадает желание далее расспрашивать о положении с межконфессиональными захоронениями в Азербайджане. Вот так я встречаю закат в горах Армении.

По ходу следования Гарник цитирует перлы из арсенала советского кинолюбителя, ведь принимающая сторона знала, кто к ним едет. (В тарантиновских «Ублюдках» британский разведчик в миру был киноведом, перед расстрелом он цитировал офицеру эсэс Лени Рифеншталь). Одну из ожидаемых цитат Гарника, прозвучавшую в культовом кинофильме Георгия Данелии «Мимино» в исполнении незабвенного Фрунзика Мкртчяна, я решаю проверить на практике, когда мы оказываемся у родника неподалеку от «солнечного Дилижана». Здесь, на высокогорье, температура уже

почти нулевая. И вот та самая вода, «вторая в мире по чистоте — после Сан-Франциско», по определению самого трагичного комика советского кино. Тут нас застает темнота и растворяется в тумане высокогорного ущелья, по которому мы двигаемся в бесконечность. Я невольно задумываюсь о квалификации водителя и невзначай интересуюсь его шоферским стажем. Гарник успокаивает меня безоговорочным аргументом, сообщая по секрету большую государственную тайну: оказывается, он был советским... летчиком-испытателем. В запасе. Что ж, какой-никакой, но опыт.

Туман сгущается все больше и больше, напоминая эпизод из фильма великого таинственного Антониони, когда жизнь выстраивается в бесконечный миг «за облаками». Вслед за ним наступает темнота, но без звездного неба — въезжаем в какой-то слабо освещенный туннель. Мой водитель, экскурсовод и просто эрудит, с невесть откуда взявшейся гордостью рассказывает об этом туннеле, который прорубили армянские строители; вслед за дилижанской водой он сумел попасть в какие-то красные книги каких-то рекордов. Так незаметно пролетели 10 километров туннеля. Под ярким звездным небом выезжаем к застроенным древними григорианскими церквями склонам вокруг озера Севан, освещенного полной луной и поражающего своими бесконечными просторами.

Тут Гарник вдруг дает профессиональную команду: «Катапульт» (от перепадов давления меня слегка разморило, я впал в dreams). На всякий случай смотрю, не появились ли в тумане у нашей «Волги» крылья. Ведь детство мое застало последний вздох Фантомаса в советском кинопрокате, и я наряду со всей советской киноаудиторией принимал автомобиль «citroën» с крыльями за чистую монету, так же, как и пиратские финтифлюшки британского Бонда от доктора Флеминга. Дверь приоткрывается, и вслед гиду-эрудиту я вступаю на землю древней цивилизации.

То ли в насмешку, то ли в подтверждение моих рассуждений передо мной — кафе-шашлычная под названием «Урарту». Оно выдержано в советском духе, и свиной шашлык напоминает знакомый мне и некоторым моим читателям знаменитый шашлычный пятачок на улице Физули (Басина), которая канула в Лету истории Баку. Вдоль трассы на Ереван расположено витиеватое железнодорожное полотно, которое петляет то по склонам гор, то наземными мостами, то подземными туннелями. Старожилы еще помнят скрепленную членом Политбюро Гейдаром Алиевым и кандидатом в члены Карэном Демирчяном дружбу народов, плодом которой в начале 80-х явилась железнодорожная магистраль, связывающая узловую станцию Газах на западе Азербайджана с Ереваном. Один из старожилов, хозяин кафе, некогда работавший руководителем новосозданного перестроенного кооперативного хозяйства, несколько романтически вспоминает свои фермерские эксперименты. Все закончилось на пике перестройки, когда остановилась железная дорога и чуть ли не с последним составом он проводил своих партнеров, земледельцев-односельчан, в Азербайджан. Так случилось, что успешному предприятию первый на территории СССР межнациональный конфликт, карабахский, скоростно приказал долго жить. После этой своеобразной преамбулы хозяин кафе берет в руки аккордеон (привет создателям «Урги»!) и специально для меня, как гостя из Баку, отыгрывает композицию из фильма Ибрагимбекова-Оджагова «День рождения» (фольклорный мотив, трепетно дорогой для всего Южного Кавказа) — весьма сложная аккордеонная партия, даже шоумен Петр Дранга не справился бы. То, как свободно он, представившись Аразом, ведет диалог на трех языках, оставляет его национальность загадкой. Хозяин-музыкант уверяет также, что эта дорога еще заработает, так как приобрели ее два российских олигарха. И, возможно, настанет тот день, когда снова мирно побегут составы в обоих направлениях.

Понаблюдав из окон забегаловки за газозаправочной станцией, я за каких-то полчаса выяснил, что на газотопливе в Армении с риском для жизни работает 90% автотранспорта: от легкового до крупнотоннажного. Оставшаяся часть, как нетрудно заметить, принадлежит к бизнес-классу — по трассе за это время мимо пролетели Maybach, Bentley, Lamborghini и Ferrari, эти автомобили трудно представить работающими на газе. Для них существует сеть VIP-бензозаправок фирмы МИКА, по слухам, принадлежащая бакинско-карабахскому клану и, по версии как азербайджанских,

так и армянских СМИ, через посредников-соседей приобретающая высококачественное топливо азербайджанского производства.

Дорога вновь возносит нас на хребет, откуда видно змеящееся внизу ярко подсвеченное шоссе, вписывающееся в сияющий мегаполис на склоне гор и уходящее в Араратскую долину. Ереван, как и все столицы бывших союзных республик, начинается с жилых массивов спальных микрорайонов.

Георгий Ванян, друг всех миротворцев Южного Кавказа, впервые в режиме реального времени (без посредников-мониторов и веб-камер) смотрит мне в глаза и произносит: «Не верю, что ты в Ереване!». Я ему в ответ: «Знаешь, требуется выпить по такому случаю...». Легкий непринужденный ужин в кругу друзей, во время которого мы поминаем нашего общего друга, политолога Ибрагима Баяндурлу, по-еврейски не чокаясь, но соприкасаясь пальцами с прижатыми рюмками. «Ну как, уже врубаешься, где ты?» — спрашивает Георгий. «Знаешь, надо еще проснуться...» — признаюсь я.

После непродолжительной прогулки по ночному городу отправляюсь спать.

Проснувшись, после утренних процедур, щелкаю каналы армянского ТВ на общедоступной частоте, где мелькают и телеволны Федеральной России в формате «Россия 24», телеканал «Культура» и «Вести», да еще нереальный телеканал «Мир» — величайшая иллюзия периода моего первого студенчества. Вижу ток-шоу на тему «допотопной» истории, связанной с Ноевым ковчегом и первым пирсом человечества — Араратом. Смотрю в издыхающий без подзарядки мобильник, находящийся «вне зоны действия сети» (по-любому: с роумингом или без), и успеваю углядеть, что до первого апреля осталась еще неделя. В международном стандарте GSM связь между Азербайджаном и Арменией не действует ни в том, ни в другом конце.

Продолжаю листать каналы. Вижу свадебные ритуалы с элементами фольклора и акцентом на свадебные столы и интерьер. Это реклама армянского свадебного «Салона торжеств» — аналога «Шадлыг сарая» в эфире азтелепространства. Да-да, «сарай» — синоним дворца. В тюркском переводе, конечно. В отличие от азербайджанской версии, здесь на первом этаже — казино с лотереей и розыгрышами. На другом канале — утренняя мозговая разминка для тех армянских школьников-эрудитов, которые вовремя встают по будильнику. Открытием стало то, что в Армении налажено производство отечественных сериалов разнообразных жанров, со съемками в любой части земного шара, где есть диаспора. В некоторых из них в кадре запросто появляются Шарль Азнавур, Армен Джигарханян, Шер... Листаю каналы дальше и в рубрике «Наше советское кино» смотрю эпизоды (с субтитрами) близкого мне фильма Расима Оджагова «Допрос», удостоенного Госпремии СССР. Кадры сопровождаются музыкой покойного композитора Эмина Сабит-оглу в той тональности, по которой узнается почерк позднего неореализма в жанре политического детектива Дамиано Дамиани с саспенс-мелосом Эннио Морриконе. В контексте армянского телепространства новейшей истории лицо моей мамы Шафиги Мамедовой в роли жены следователя (его играл Александр Калягин) смотрелось весьма парадоксально. Эх, мама, мама, ты меня повсюду видишь! Невольно вспомнил гастроль Азербайджанского драматического театра (актрисой которого была моя мама) в Ереване в конце 70-х годов прошлого века и свои впечатления о первом путешествии за пределы Баку.

Звонок Георгия: «Ты как, проснулся?». Я не знал, что ответить ему в свое первое утро наяву в Ереване...

Жил я, можно сказать, в центральном кольце Еревана. Это такая особенность города, спроектированного кольцевыми проспектами. В этом его урбанистическое сходство с Первопрестольной в стиле ампира, в котором творили имперские архитекторы Таманян и Алабян. Тифлис и Баку обрели свои атрибуты урбанистики еще в царский период. А этот некогда уездный городок южной губернии царской России начал с места в карьер застраиваться как город только со времен НЭПа и далее — в сталинский период, ранний и поздний, когда молодые архитекторы нескольких поколений получили возможность самовыражаться в пределах страны победившего социализма. Так произошла трансформация топонима из веков прошлых (Эривань) в век

нынешний — Ереван. Схожие по стилистике проспекты есть и в Баку в исполнении советского ампира-архитектора Михаила Усейного. Но разница в том, что в Ереване при строительстве мостов в новейшей истории умудрились загнать оживленные перекрестки в подземные тоннели, что в нынешний век пробок и заторов можно назвать почти гениальным градостроительным предвидением. Новому мэру Москвы следовало бы съездить в Ереван. За положительным опытом.

Как, впрочем, и в Баку. У Баку с Москвой сейчас очень много общего. Во многих смыслах, но об этом не здесь. У архитектуры Еревана — григорианский церковный почерк. Особенно у порталных конструкций, в которых сказывается присутствие византийской базилики. Весь центр заканчивается (или начинается) с круговой площади зодчего Таманяна, в облике которой доминирует красный национальный камень туф. Площадь совмещает в себе резиденцию правительства, отель, ресторан. Здесь некогда возвышался памятник Ленину, вождю мирового пролетариата, который лишил армян части их одноименного нагорья и превратил гору Арарат в символ, который видят, но к которому не могут подступиться. Этот «зов предков» мастерски передан в фильме «Граница», созданном в жанре мокументари Арутюном Хачатрянном. Том самом фильме, который получил признание у ФИПРЕССИ на Роттердамском кинофесте. Один депутат из фракции дашнакцаканов предлагал вместо статуи Ильича воздвигнуть на вакантном пьедестале памятник Богу, так как армянская земля является первой, узаконившей христианство как официальную религию. На сей счет Георгий Ванян иронически добавил, что скульпторам не мешало бы позаботиться и о детях господних.

В городе до сих пор ходят чешские троллейбусы моего детства «школа» — последние оставшиеся на Южном Кавказе. В салоне троллика можно встретить контингент льготников: пенсионеры, студенты, школьники. Но больше в глаза бросаются так называемые маршрутки «Газели» и «Богданы», которых как только не обыывают в России (точнее, в Москве): бомбилы, подкидыши... Есть экспериментальные микроавтобусы национального производства ЕРАЗ (ереванский автозавод). Армянские водители под стать азербайджанским изошряются: могут при езде одновременно грызть семечки, производить взаиморасчеты с пассажирами и вести беседу, вместо третьей руки удобно пристроив к рулю колено. Российским (сиречь московским) пассажирам эта картина должна быть знакома.

С улиц Еревана исчезли последние трамваи на Южном Кавказе. Многочисленные демонстрации в их защиту не смогли сохранить жизнь старому доброму армянскому трамваю. Теперь он занял место в музее наряду с атрибутами древней армянской цивилизации.

Об урбанистике Еревана можно говорить прежде всего (согласно моим критериям) потому, что здесь функционируют аж три кинотеатра, и все оборудованы по последнему слову техники еще с 2006 года. Проводится ежегодный армянский кинофестиваль «Золотой абрикос», проходящий под патронажем мировых армянских кинознаменитостей и двух министерств — культуры и дипломатии. В самом центральном и сверхсовременном кинотеатре «Москва» мне удалось посмотреть в оригинальном аудиовизуальном формате экранизацию мифов античного мира в фантастическом блокбастере «Аватар». Есть спецсеансы арт-хаусного мирового кино, где показывают и культовые фильмы турецких режиссеров, таких как Н-Б Джейлан и Фатих Акын.

На пресс-конференцию, посвященную открытию Дней турецкого кино, пришли самые решительные представители армянских медиасообществ, ибо была негласная попытка со стороны проправительственных СМИ бойкотировать это событие культурной жизни. Главными виновниками торжества стали молодые турецкие кинематографисты. Среди медиаколлег находились те, кто, желая быть возмутителем спокойствия, задавали мне вопросы вроде такого: «Как вы считаете, правильно ли это — приезжать сюда на культурную программу и говорить о мире, а по возвращении в Азербайджан выступать с призывами к войне?». Я около минуты пытался «въехать» в суть вопроса и припомнить некое культурное событие новейшего периода истории XXI века, эпохи официозных «войн долмы», состоявшееся в Ереване, на котором

присутствовали бы азербайджанцы. Но все оказалось прозаичнее. Речь шла о тех событиях, когда в 2007 и 2009 годах за один световой день произошел официальный прием азербайджано-армянской культурной делегации двумя президентами соседствующих государств и главой непризнанной республики (культурная дипмиссия Швидкого, которая проходила через минные поля, но не привела к революции). В ответ я высказал свои размышления: скорее, это была некая банкетная тусовка, на которую я не имел чести быть приглашенным и соответственно не несу ответственности за то, кто и что там наобещал друг другу. Вот если официоз-истеблишмент по обе стороны надумает собраться еще раз, то это должно быть прилюдно, на сценах театров оперы и балета в Баку и Ереване, и пусть тогда в присутствии зрителей дают публичный обет(д). Такой формат я бы приветствовал и такое событие мог бы прокомментировать в духе Луиса Бунюэля и его шедевра «Скромное обаяние буржуазии». Там, если помните, буржуазный истеблишмент, погрязший наяву в пороках и злодеяниях, стал бояться собственной тени и во сне оказался перед лицом публичной казни, во время которой театральная публика освистала их за отсутствие диалога.

Жаль, что этот вопрос-ответ сама же барышня-журналистка, как и все ее ереванские коллеги, опустили-замыли-забыли, лишив общественность возможности его увидеть-услышать-прочесть. Диалог культур подвергся цензуре.

За день до начала показа фильмов шла подготовка к открытию фестиваля. Георгий Ванян публично представил меня организаторам, которые, оторвавшись от подготовительной суеты, приветствовали меня аплодисментами.

Ответственным по технической части был человек по имени Валера. В отличие от всех окружающих, он периодически употреблял русскую речь, которая по мелодике и интонации казалась мне очень знакомой. Валера непринужденно и естественно, как будто и не было между нами груза ответственности чуть меньше чем в четверть века, подошел и спросил меня про советскую бакинскую школу № 23. Я улынулся, а он в продолжение беседы добавил: ты тогда господствовал под кольцом. Еще играешь в баскетбол? Кстати, какой у тебя рост? Я в ответ: два метра с обувью. Так он меня «обобщил» и образно принял в одноклассники при ереванской публике.

За экспромтом устроенным ужином мы заговорили о событиях давно минувших дней под фоновый аккомпанемент какого-то бакинца, который напевал репертуар Рашида Бейбутова и собственный слезный шансон о Баку. Я уже давно не живу разговорами о бакинцах-одноклассниках, и его это удивило так же, как и мое отсутствие в общественной сети «Одноклассники.ру». Тут подумалось: как же все бакинцы, независимо от национальной принадлежности и своего нынешнего географического местонахождения, похожи между собой тем, что так и не смогли выбраться из-под спуда периферийности совдепии. В большинстве своем они даже в рассеянии живут гоп-стоп-шансоном Боки (Борис Давидян), этно-фольклорной тойханой Зейнаб Ханларовой, народной артистки Азербайджанской и Армянской ССР, цитатами из фильмов по Рустаму Ибрагимбекову и бакинскими КВН-капустниками Гусмана и К°.

Довелось пообщаться и с водителем-таксистом Артуром, который оказался футбольным болельщиком и дважды соседом (Баку—Ереван) легендарного футболиста бакинского «Нефтяника» (а впоследствии — ереванского «Арарата»), чемпиона СССР-73 Эдуарда Маркарова. Убедившись в моей футбольной эрудиции, Артур решил продемонстрировать располагающуюся на набережной реки Раздан историческую футбольную чашу, на которой в 70-х происходили жаркие баталии чемпионата СССР по футболу; здесь же «Араратом» была повержена сама мюнхенская «Бавария» Герда Мюллера и Франца Беккенбауэра. Здесь же проходили самые традиционно посещаемые матчи тех лет — игры с участием «Арарата» и «Нефтчи». И имели место (в 70—80-х) сумасшедшие аншлаги на концертах азербайджано-армянской примадонны Зейнаб Ханларовой, народной артистки сразу обеих союзных республик. Стоит заметить, что аналогичной заслугой в те годы могла похвастать только София Ротару (Украина и Молдавия). Зейнаб Ханларова установила на этом стадионе абсолютный рекорд, собрав сто тысяч зрителей при официальной вместимости стадиона в восемьдесят тысяч. Да и сейчас она по-прежнему на слуху. Из промелькнувшего розового кабриолета с гламурной дамой за рулем доносился ее дивный голос. На армянском языке, в DJ ремиксе: «Нунэээээ, нунэээээ..!». Как ни старался Артур,

интервью с Маркаровым не получилось по причине его нездоровья. Увы, сорвался мой дебют в качестве футбольного обозревателя.

Зато таксист сохранил много воспоминаний о Баку, и они были достаточно зримы, вернее — слышимы. В салоне звучал бакинский шансон в исполнении Боки из фильма «Мерзавец» («Тучи черные небо укутали! Черный ворон стоит у ворот!»), и, как оказалось, таксист был знаком с литературным творчеством Максуда и Рустама Ибрагимбековых. Книги этих авторов в его бакинский дом попали бесплатно — в обмен на результативный сбор макулатуры в годы студенчества. Очень сожалеет, что бакинскую квартиру не пощадили варвары-погромщики, которые сожгли книги, не пожалели не то что братьев Ибрагимбековых с их памяtnыми автографами, но и всю мировую классику и научную литературу. Так описывали ситуацию его соседи-азербайджанцы, которые вовремя вывезли всю его семью. Дети Артура давно интегрировались в текущую жизнь Канады, а вот он решил вернуться назад и жить воспоминаниями, будучи «директором в собственной гостинице на колесах» — как «профессор в красной рубашке и с покрывалами» Рубик Хачикян из уже упомянутого «Мимино» Георгия Данелии (помните: «В этой гостинице я директор!»?). Удивительно, но в его, Артура, памяти остались цитаты из фильма Расима Оджагова «Храм воздуха», на котором он плакал, зато на фильме «Мерзавец» Вагифа Мустафаева — смеялся. Это были его последние месяцы в том, старом Баку. Шел смутный перестроечный 1989 год.

Проезжаем мечеть с доносящимся с минарета азаном — призывом на вечерний намаз. Здесь в основном собираются граждане Ирана, Турции и арабских стран, а неподалеку — квартал с так называемой Кривой улицей, где некогда проживали азербайджанцы, которые к осени 1988 года в массовом порядке были депортированы в Баку. С грустью Артур констатирует: «Теперь вот мы здесь обитаем, а они там, в Баку, на родной Завокзальной...».

На вторые сутки моего пребывания состоялось то событие, ради которого я, собственно, и оказался здесь — вне зоны действия соприкосновения огня и вне зоны действия всей мобильной сети Азербайджана (единственная телефонная связь между гражданами Азербайджана и Армении — это грузинский GSM-оператор в роуминге): это открытие фестиваля турецких короткометражных фильмов «23,5» в Ереване. Название фестиваля — «23,5» — содержит в себе определенную символику. Так называлась одна из статей главного редактора турецкой газеты «Агос» Гранта Динка, павшего от рук террориста в январе 2007 года в Стамбуле. Цитата из статьи Динка вынесена и в афишу фестиваля: «...Не знаю, кто может осмыслить следующее: будучи одновременно армянином и гражданином Турции, отпраздновать 23 апреля во всей его радости и пережить следующий день во всей его скорби вместе со всеми армянами мира. Сколько других людей сталкиваются с такой дилеммой? Этого никогда ни осмыслить, ни объяснить нам... 23 апреля для меня особенный день. В этот день я женился на любимой женщине. В ночь, соединившую 23 и 24 апреля, мы дали жизнь нашему первому ребенку. Было не двадцать третье, и не двадцать четвертое. Может быть, этот миг был 23,5 апреля».

На открытии был такой аншлаг, что двое припозднившихся депутатов парламента остались без сидячих мест. Организатор «Дней турецкого кино» — Кавказский центр миротворческих инициатив в тандеме Георгий Ванян и Луиза Погосян, по инициативе Британской гуманитарной дипмиссии, при содействии посольств в Анкаре, Баку и Ереване. Собственно, турецкий кинофест — это один громкий протест самого Георгия Ваняна не то что правящему режиму Армении и диаспоре, а, бери выше, — Северному покровителю. Его выступление было неким перформансом с жонглированием футбольным мячом, как бы символизировавшим пресловутую «футбольную дипломатию» между Арменией и Турцией, которая временно попала в офсайд мирового закулисья.

Далее выступил представитель страны, являющейся родоначальницей футбола и образцовой дипломатии, посол Великобритании в Армении Чарлз Лонсдейл. Он особо поблагодарил представителей Азербайджана и Турции, которые нашли воз-

можность впервые за долгое время вступить в диалог культур в триумvirате Азербайджан—Армения—Турция.

Вслед за представителями Турции слово предоставили мне, и я воистину почувствовал, что слова могут строить хрупкий, иллюзорный, но все же мир, на который рассчитывают собравшиеся здесь, в зале. Перед белым полотном экрана все равны, и каждому дается право определить главную ценность и то, каким способом достигаются мир и взаимопонимание между людьми на экране, и решить, каков же он, человек, если он совершает прямо противоположные поступки, чтобы потом показаться...

Неожиданно для меня конференс-пара молодых людей выдала вокал, который подхватили и сидящие в зале: «Хэппи бездей ту ю!». В качестве сюрприза то ли Луиза, то ли Георгий зарядили втайне от меня мой мобильный телефон армянской сим-картой, чтобы в нужный момент мощный звонок, извещающий о моем дне рождения, застал меня врасплох. По такому случаю посол Британии утвердил, а Георгий вручил мне некий диплом-сертификат киномиротворца. Я к своему дню рождения всегда относился скептически: как родился в одиночестве, так и справлял его тоже в одиночестве, пока кто-то не вспомнил о нем за меня и не устроил сие торжество.

Собственно короткометражные фильмы не оказались скучной формальностью, несмотря на полупрофессиональный уровень создателей. Напротив, зрители охотно их обсуждали и даже голосовали. Главным образом это были студенты разных ереванских вузов и старшеклассники ереванских школ. Одна старшеклассница поинтересовалась моими анатомическими особенностями, так как впервые в жизни видела живого азербайджанца. На ее вопрос, «все ли азербайджанцы такие высокие?» — я поведал о нарушении функции своего гипофиза, обусловленном некими историческими особенностями. Их открыл Тур Хейердал, норвежский ученый с мировым именем, который как-то в период наступления миллениума заявил, что жители Азербайджана являются прямыми потомками древних викингов-этрусков... «Так что, — продолжил я удивлять армянскую школьницу, — я — оставшийся в живых экспонат его теории. Хотя, — добавил я, — скорее всего эта теория была выдвинута, чтобы поддержать норвежскую нефтяную компанию «Статойл» в борьбе за тендер по одному из нефтяных месторождений на Каспии в акватории Азербайджана». Уж не знаю, поверила ли бы старшеклассница в мои «Легенды и мифы древней Этруссии», но все испортил гомерический хохот ее старшей сестры, студентки географического факультета ЕрГУ.

Георгий определил меня в эксперты-наблюдатели за процессом диалога. Кроме того, одновременно с турецкими кинематографистами я был экспертом по одной из самых динамично развивающихся кинематографий мира — а именно, турецкой. Предложил он мне также уже здесь и сейчас активизироваться как киномиротворцу, дабы в будущем подготовить аудиторию для аналогичной недели азербайджанского кино разных лет. Хотя минкульт Армении официально заявил протест на сей счет — именно из-за идеологических соображений. Так же, как и минкульт Азербайджана. Зато кинематографисты с обеих сторон в большинстве своем ЗА демонстрацию и общественный показ. Сказать, что публика готова к показу азербайджанского кино — это не сказать ничего. Пользуясь благами века Интернета, подавляющая часть поколения, которое переросло «поколение пепси», давно уже подседа на блогосферу, где они находят контакт, минуя идеологическую завесу над полушариями, засоряющую сильвиевую борозду неокрепших умов. Между представителями блогосферы двух противоборствующих сторон все спокойно! Точнее, даже есть элемент кино-миротворчества. Виртуальный бартер происходит через обмен файлами с аудиовизуальными произведениями. Аудитория двадцатилетних знает Вагифа Мустафаева с его «Мерзавцем» (по версии Михаила Трофименкова, лучший фильм эпохи перестройки), и особенно по картине «Все к лучшему». На мой вопрос об интересе моих соотечественников к армянскому кино юзер одного форума ответил кратко: «Было только раз, запрашивали фильмы с Фрунзиком Мкртчяном. Но в основе своей ваши мировоззрением больше тяготеют к нашим КВН и клипам с разнообразными шоу-программами». Некая Заринэ из армянской блогосферы поведала мне, что «в Армении, как и в Азербайджане, сеть под жестким контролем спецслужб и никто из армян-

ских блогеров не застрахован от участи ваших ребят (Эмина Милли и Аднана Хаджи-заде), полтора года томившихся в азербайджанских тюрьмах».

После просмотров спонтанно собиралась аудитория из узкого круга желающих подискутировать на тему турецкого кино. Кинематограф — седьмое искусство и десятая муза — вплетен в единую паутину, берущую начало от времен никельодеона¹. Спустя 115 лет он нашел продолжение в мировой сети Интернет, где не обошлось без эпохи постмодернизма кино XXI века (Тарантино-Родригес). Но все опять-таки закикливались на Кустурице с его не чуждым жителям Южного Кавказа балканским хмельным запоем.

Потом настало время мечте о трансформации единого и абсурдного Южного Кавказа. Были предложения о создании совместного киноальманаха. Мое чувство гордости смешалось со слезами гордости, которую испытывал персонаж Арчила Гомиашвили из фильма «Мимино», когда он проезжал мимо памятника Багратиону в Москве (эпизод в суде). Да, и у меня на глазах стояли слезы, те самые слезы гордости, когда речь зашла о Вагифе Мустафаеве, которого цитировали собеседники со всех сторон. Их удивили не столько имена моих учителей-киноведов, сколько практическая сторона процесса моего становления — а именно то, что я был в подмастерьях у Вагифа Мустафаева на его постперестроечной картине «Вне». Возгласы «Круто!» с поднятым вверх большим пальцем плавно переходили в овации.

Победительницей фестиваля стала Дениз Джейхан — миниатюрная белесая женщина, прозванная Воробушком. Она успела поработать в режиссерской группе флагмана новой волны турецкого кино Семиха Каплан-оглу, получившего признание европейских зрителей. Дениз публично заявила, что разделяет боль армян за трагедию массовой резни 1915 года.

Всякий кинематографист, хоть раз побывавший в Ереване, обязательно попадает в Музей Параджанова. Не стал исключением и ваш покорный слуга. Музеем оказался двухэтажный особняк, подаренный армянами дяде Серго при жизни, а точнее, за 3 месяца до его кончины. Не успел обжить, но завещал несколько предметов из бытовой утвари домика в Тбилисо перевезти в подаренный правительством Армянской ССР ереванский дом. В остальном интерьер симпровизирован теми, кто почитал и почитает его кинополотна. С особым интересом я наблюдал, как посещают музей школьные экскурсии. Кстати, одного из встретившихся в музее старшеклассников я видел ранее, на открытии фестиваля и среди голосовавших. Музей одновременно со мной осматривали две группы, а, по словам экскурсовода Лауры, за день их приезжает гораздо больше, причем не только из Еревана. Они с почтительным восхищением знакомятся с одним из киобрендов всех армян. На мой взгляд, он сопоставим с Амо Бек-Назаровым, режиссером, чьи мастерски созданные фильмы тоже входят в золотой фонд кинематографии Азербайджана, Армении и Грузии. И общий их корень — ассоциативные строки и мысли Саят-Нова.

В музее витает дух параджановского киноэклектизма. Доминируют костюмы, созданные его руками как художника-постановщика, в сочетании с мебелью и утварью из детства, проведенного в Тбилисо. Особенно зримо это явлено в фотокадрах разных лет. Есть кадры с видами экстерьеров и интерьеров Шеки (Нуха) и Баку, где проходили съемки фильмов «Ашик Гариб» и «Легенда о Сурамской крепости», портреты Серго всех возрастов и образов, созданные разными людьми — от мастеров кисти до любителей с улиц Еревана и Тбилиси. Меня представили киноведом из Баку и, воспользовавшись ситуацией, я указал на отсутствие в здешней фильмографии черно-белого фильма «Цветок на камне», снятого в Донбассе в начале 60-х, после чего экскурсовод и администрация доверили мне самостоятельно вести экскурс-монолог и ограничиться ролью слушателей. Бросился в глаза реквизит с первого и последнего съемочных дней неосуществленного «бумажного фильма» «Я умер в детстве». Женская туфля, в которой отстукивали диксилендовский вальс Дунаевско-

¹ Никельодеон — прототип современного кинотеатра, в котором движущиеся картинки показывались в сопровождении живой музыки. (Здесь и далее прим. ред.)

го или Утесова. По замыслу Серго, туфля находится в птичьей клетке, и это только одна из 1001 нереализованных тайн, которые дядя Серго унес с собой в иное измерение. Туфля трехцветная — красно-бело-черная. И в такой же гамме представлены эскизы раскадровки к этому «бумажному кино».

Отдельное спасибо экскурсоводу по имени Лаура, которая настолько предана своему любимому делу, что, с моей точки зрения, заслуживает высокой награды от государства.

Как ни старались официальные власти Армении свести на нет информацию о моем приезде в Ереван, местная пресса не обделила меня вниманием. Были предложения от двух телеканалов выступить в прямом эфире, но после совета с Георгием Ваняном мой выбор пал на радиостанцию Ардзаганк FM, где я в прямом эфире выступил с Арменом Манукяном, ереванским Jazz-обозревателем, в программе «DJ Арто». Беседа проходила в духе джем-сейшен, и отрадно, что почти вся программа была посвящена памяти выдающихся советских джазовых музыкантов Вагифа Мустафа-заде и Рафика Бабаева, в составах ансамблей которых играли барабанщики Петросов и Дадашьян. Как оказалось, Армен, представитель старшего советского поколения музыкантов и некогда бакинец, всех их знал лично, что и подтвердил фотодокументами. Также под наш диалог прозвучали произведения Салмана Гамбарова и Азиза Мустафа-заде.

Не обошлось и без экскурсии в далекие 30—40-е, во время которого мой «оппонент» Армен пытался с долей иронии, в духе «войн долмы», представить первый советский джаз-оркестр, возникший в Ереване, как «первый армянский джаз», а, дескать, «в Баку все было значительно позже». Я незамедлительно напомнил ему, что ведущим солистом этого самого оркестра был Рафаэль Бейбутов, впоследствии ставший на сцене Рашидом, а на экране торговцем Аскером, тем самым «Аршином мал аланом», а значит, роль азербайджанца в этом оркестре была более чем весомой. На том мы с Арменом и сошлись.

После прямого эфира меня ждал тихий jazz-cool вечер в самом главном jazz-клубе Еревана, расположенном в парке с водоемом, где на плоту выстроен стеклянный поплавок, внутри которого клуб, собственно, и обитает. Так он и называется — джаз-клуб «Поплавок». Как ценитель джаза, я сразу пропитался атмосферой космополитизма, которая царит во всех подобных клубах мира, где культивируется такая музыка. А что? «Джаз без границ» — каково? Уверен, это название по содержанию немногим уступило бы аналогичному названию организации с медицинским уклоном («Врачи без границ»), давно работающей в «горячих точках» мира.

Продолжая ломать стереотипы, мой Внутренний Репортер непроизвольно привел меня во время вечерней прогулки в супермаркет. В бакинских СМИ периодически, как заезженная пластинка, появляется информация о том, что соседняя республика находится в продовольственной блокаде. В просторном супермаркете на одном из холодильных прилавков в глаза бросается знакомая продукция с пометкой «Сделано в Азербайджане». Я интересуюсь, как же такой эксклюзивный деликатес производства «Азерфиш» попадает на армянские прилавки? В ответ мне рассказывают о поставках частных лиц и интересуются моим местом обитания. Представляюсь: я из Баку. Продавщица, к моему удивлению, немедленно переходит на армянский язык, сочтя меня соплеменником. Приходится ее, как мне показалось, огорчить, поведав, что я вовсе не беженец из Баку, а гражданин суверенного государства Азербайджан. Признаюсь, говорил я это с некоторым намеренным эпатажем в присутствии обширной гастрономической клиентуры, как бы желая испытать на себе толерантность армян, — не побьют ли? Ничуть не бывало! На лице этой, а равно и других продавщиц, а также на лицах окружающих покупателей не возникло и намека на агрессию. Напротив, появилось искреннее любопытство: зачем приехал, как там, в Азербайджане, что сколько стоит, у кого какие зарплаты?.. В меру своих возможностей удовлетворяю их любопытство, оговорившись, что я не представляю официоз и социальными вопросами не занимаюсь. Сошлись на том, что по средней себестоимости потребительской корзины ситуация в принципе идентична.

Продавщица интересуется моим знанием азербайджанского, которого, как оказалось, хватает, чтобы помочь зачитать моему соплеменнику, жителю прикаспийского города Анзали Исламской Республики Иран, состав ингредиентов русской ветчины, произведенной в Армении. Далее у гражданина Ирана возникает вопрос, который уже может привести к конфликту, отнюдь не гастрономическому. На упаковке каспийской рыбы, произведенной в Азербайджане, слоган — «Дениз бизимдир» (море наше). Приходится из каких-то недр памяти извлечь крылатое путинское выражение, прозвучавшее на конференции по Каспию: «Море общее, дно делим...». Иранский турист долго рассматривает продукт, потом, глядя на меня и продавца, все же решается продегустировать.

По моим наблюдениям, если у Параджанова в фильме «Цвет граната» Армения — земля обетованная, то для граждан Ирана Армения — некий рай на земле, где в рационе доминирует винно-водочная продукция, которой в Иране свободно не купишь. Особый наплыв в ереванских супермаркетах наблюдается в дни этноновогоднего праздника Навруз. Помимо спиртных наслаждений фарсов привлекает и армянский «десерт» в лице жриц любви из определенных ночных заведений. После трех праздничных недель благодаря наплыву иранских туристов армянская экономика остается в основательном плюсе. В Баку всего этого добра (добавлю от себя: включая и граждан Ирана) тоже в избытке, но «соотношение цены и качества райским не назовешь даже при большой натяжке», заметил к слову иранский турист — чревоугодник, любитель спиртного и сластолюбец.

Наутро мой исторический вояж к соседям завершился, и перед отъездом меня ждал экскурс в историю Армении эпохи античности с восхождением к храму Митры. Храмовый комплекс Гарни расположен в пригороде Еревана на высокогорье, и это единственный сохранившийся памятник, напоминающий о периоде царства Урарту. С порталльной стороны расположены ступени, ведущие к античным колоннам. Между центральными колоннами — проход к алтарю, находящемуся внутри храма. В XVII веке в результате землетрясения храм подвергся сильному разрушению, которое продолжалось вплоть до второй половины XX века — местные жители на протяжении всего этого времени растаскивали камни для постройки жилья и прочих нужд. Археологи со всего Союза по крупицам восстанавливали храм из окружающей горной породы и из тех камней, что смогли опознать в ближайших селах. При близком рассмотрении колонн и потолка храма можно легко отличить современную тесаную кладку от кладки, сделанной по древней оригинальной технологии. Внутри храм больше напоминает жреческий алтарь огнепоклонников с росписями разных времен и эпох: древнеримская латынь, буквы, напоминающие армянский и греческий алфавиты раннехристианского периода, арабская вязь...

Георгий Ванян, сфотографировав меня на память, замечает, глядя на одного из экскурсоводов: «Вот послушаешь, так все армяне уже с рождения историки, и мы постоянно говорим всем, кому не лень слушать, про свою древность, про свои памятники, про этническую неповторимость... Я в этом нахожу некий диагноз болезни самобытности, которая нас превращает в окаменевшие памятники... Ульви-джан, что нам делать? Мы давно уже окаменели, сами того не заметив. Нам нужна модернизация — для того, чтоб в ногу со временем наладить отношения со всеми соседями».

Я ему в ответ: «А вот мы, азербайджанцы, — младонация с реальной историей в каких-то 150 лет: от просвещения Хасана Зардаби и Мирза-Фатали Ахундова, мы только в начале своего исторического пути. И я опасаюсь, как бы мы не проспали свой восход Солнца так же, как наши горе-ученые историки, которые в поисках древних корней толкают нас в некую бездну настолько глубоко, что скоро совсем станем наибрежнейшими».

Самое время в диалоге со своим Внутренним Репортером, сидя перед монитором и клавиатурой, написать черно-белыми строками о наших соседствующих друг с другом обществах Южного Кавказа, которые живут не реальной жизнью, а в постоянном воспроизведении виртуальных (лже-, псевдо) идеалов, иллюзий, образов, мечтаний, которые уже материализовались и существуют рядом с нами, но которые нам, в

нашей роковой безучастности, хочется возрождать снова и снова. «Войны долмы» — в них, может, и состоит весь наш родной абсурд, который наверняка закончится нескоро, а то и вовсе никогда... В балканском абсурде «Подземелья» Эмира Кустурицы финальный титр гласит: «У этой истории нет конца». Боюсь, нет конца и края и у нашего абсурда, оттого что «Южный Кавказ» — понятие «историческое», а не географическое. С недавних пор пьесы Сэмюэля Беккета представляются мне всего лишь неким реалисти-шоу, ведь его «Театр второй», например, — это типичный ДурДом-2. Нет-нет, да и подумается, что сам абсурд рожден не пером великого ирландца JJ (Джеймса Джойса), он — само наше коллективное со-существование бессознательного. Что же до литературы абсурда, то это элементарно: можно почитать публикации в наших газетах, любые издания наших Академий наук, познакомиться с периферийными TV-канализациями, порыться на форумах, где каждый сам себе профессор околосвяческих наук, и увидеть такой абсурд, который будет всем абсурдам абсурд — в чистом виде и в блистательном исполнении. Он творится здесь и сейчас, на всем Южном Кавказе, он в душах и сердцах людей. Почему же мы так страстно, до полного мазохизма любим абсурд? Видать, потому, что в действительности мы все страшно боимся того, что очевидно и понятно, — настолько страшна реальность...

На обратном пути, раздвинув завесу облаков лучами солнца, перед моим взором на небосклоне явился седовласый старец, олицетворяющий библейское перерожденное человечество после попытки постройки вавилонской башни. Но как только я пожелал остановиться и сфотографироваться на фоне Библейской Горы, одновременно со скрипом тормозов белоснежные сосцы Арарата вновь заволокли тучи. Мой гид Гарник, которому, как помнится, поднебесье знакомо не понаслышке¹, в сердцах бросил: «О, Арарат! Он не для праздных взоров, а для Богом избранных!..».

Перед самым отъездом объявилась Ануш Мирзаян, студентка кинорежиссерского факультета, вручившая мне на память диск со своей курсовой работой «Вальс души» — о причудливой женщине родом из Сибири, которую судьба весьма драматично забросила в Армению. Она дает уроки танцев и подрабатывает официанткой. Рассказывает свою биографию как откровение истины, прямо на камеру, цитирует Цветаеву и параллельно повествует о времени, когда ей приходилось работать «дерьмовочкой» у дороги... Эта симпатичная десятиминутка отснята в ереванском филиале «Интерньюс». Признаюсь, я был приятно удивлен и таким вниманием со стороны представительницы прекрасной половины Еревана, и конечным результатом на мониторе.

С Георгием Ваняном мы как встретились, так и распрощались на одной из улиц Еревана. Ему предстояло отоспаться после напряженной работы, а также оправиться от нападок шовинистов и националистов в местной прессе, возмущенных тем, что он принимает турок и азера на древней армянской земле. Я тоже уснул от легкой и непринужденной езды Гарника и проснулся лишь в не по-весеннему заснеженном Дилижане, на склоне горы, поросшей елями цвета индиго. С грустью взглянул на пустующие призраки домов отдыха некогда всесоюзных здравниц композиторов, театральных деятелей, кинематографистов, в памяти мелькнули ретрокадры 70—80-х годов прошлого века, годов моего счастливого детства. Фотокадры хранят воспоминания о дружбе в этих стенах двух маститых деятелей театра: народных артистов СССР тех лет, моего отца Мехти Мамедова и Рачии Каплагяна.

Второй раз я проснулся неподалеку от пограничного пункта на одном из горных серпантинных, здесь Гарник поведал мне еще одну, но уже межгосударственную тайну о том, что только здесь, в этой точке, есть сигнал приема азербайджанского операто-

¹ Согласно легенде, св. Григор удалился в пещеру на горе Сепух, где и завершил свой жизненный путь в 325/6 г. Пастухи, завалившие камнями обнаруженное ими тело, не ведали, кто отныне покоится в этой пещере. Через четыре года отшельнику Гарнику Господь в видении указал место погребения святого, и тело святого было обретено нетленным. Гарник перенес мощи патриарха в деревню Тордан. Через двести пятьдесят лет византийский император Зенон перенес часть мощей св. Григора в Италию и особым актом ввел святого Григора в ряд вселенских святых.

ра GSM. Дозвонился в Баку родным и близким, сообщил, что все у меня путем и скоро буду в Тбилисо.

Армянские погранцы, понимая ситуацию, пошли мне навстречу и не шлепнули в мой паспорт никаких печатей, которые свидетельствовали бы о моем посещении Армении. Со стороны погранцов Грузии на сей раз вопросов не было, так как теперь начальник смены оказался радушным человеком и заговорил со мной на азербайджанском. Как оказалось, он вообще полиглот, знающий языки всех народов, населяющих многонациональную Грузию. Зато Гарник совершил непоправимую ошибку, не прихватив свой загранпаспорт, поэтому мы с Луизой вынуждены были добираться до Тбилисо по-европейски, автостопом (впервые на постсоветском пространстве за это с меня не взяли ни копейки).

Луиза — человек, укладывающийся в четкое определение «вечный студент», чьи годы идут, а молодость не проходит. Вот и сейчас она осваивает новую профессию — международное право. Мы оказались в Тбилисо, когда уже накатили сумерки и ориентирование на местности в поисках нужной улицы, где меня ждала компания друзей, несколько усложнилось. У первой встреченной дамы спрашиваем, на какой улице находимся. В ответ следует очень любезное обращение на чистейшем русском — на таком, какого в самой России уже днем с огнем не сыщешь. Эта дама преклонных лет чем-то напомнила мне великую советскую актрису Веру-Верико Анджапаридзе и образ, созданный ею в фильме «Покаяние». Она тактично поинтересовалась, откуда мы и что ищем. Я рассказал все так, как есть: Луиза — армянка из Еревана, я — азербайджанец из Баку, здесь мы проездом из Еревана. Надо было видеть ее лицо в тот незабываемый миг, когда она интеллигентно возмутилась: «Знаете, милейшие, у меня седин прибавились после недавнего выпуска новостей «Рустави-2», где было объявлено, что русские танки вошли в Тбилиси, а потом оказалось, что это наш президент решил нам объявить учебную тревогу. Если ваше совместное путешествие — еще одна байка, то это для меня уже многовато».

Чтобы успокоить милейшую женщину, мы дружно показали ей свои паспорта, и тут уж она, окончательно растрогавшись, была готова лично препроводить нас куда угодно. А когда я сказал, что мы ищем церковь, расцеловала нас, пожелала счастья со слезами на глазах и даже назвала имя священнослужителя, к которому для соответствующего обряда стоит обратиться. Тогда-то мы и поняли, каким бывает катарсический смех сквозь слезы. На этом мы с Луизой распрощались, а через сутки-другие я уже был в Баку.

Вынужден добавить, так сказать, «истины ради»: церковь мы искали потому, что она служила ориентиром на местности в поисках нужного мне адреса, где меня уже заждались приятели. Вот, как в черно-белой оптимистической комедии Вагифа Мустафаева «Все к лучшему», таков ответ автора на наши веселенькие «войны долмы».

P.S. Спустя дня два, проснувшись поутру в Баку, я получил SMS-сообщение совершенно абсурдного характера — о том, что в ереванской сетевой прессе появилась информация о присвоении мне статуса «Почетный консул Азербайджана в Армении», а также мне была сброшена линк-ссылка, где эта информация размещена. Как оказалось, это сделали те из числа моих слушателей, с которыми я отмечал собственное «рождество» в Ереване — студенты из медиасообществ, решившие таким вот образом разыграть меня еще раз и приобщить к «армянскому» национальному празднику 1 апреля. Но и здесь цензура оказала свои права: линк был удален из информационного поля буквально через минуту-другую. Абсурд, он и в Африке абсурд.

Хотя... В Африке я еще не был.

Александр Джумаев

Бухара: попытка постижения непостижимого города

Старобухарские ночи, старобухарские дни...

Н.Леонов

Кто же не любит Бухару? Это все равно что спросить: кто же не любит Индию. Но есть, оказывается, те, кто не любят Индию. Как и те, кто не любят Бухару. В Индии для них грязно, пыльно, душно, досаждают нищие, бродят бездомные коровы, прыгают обезьяны... А в Бухаре им скучно и безлюдно, однообразно, нет привычных развлечений и комфорта. Не чувствуют и не видят они, как витает в узких бухарских улочках тысячелетний дух города, как горят синим огнем в звенящей тишине ночей огромные, похожие на старорежимные эмирские награды, бухарские звезды, как звучат далекие таинственные ритмы дойры и завораживают лукавые глаза разноликих бухарских красавиц. Бухара — это забытая «среднеазиатская Индия», «индийская сказка», «индийский стиль» в поэзии и «индийский стиль» в жизни. Подлинная Бухара сокрыта, свернута внутрь, недоступна всякому и каждому, ее не возьмешь наскоком, будь ты хоть профессор всемирно известного университета. Испытав на своем пути немало потрясений, город выработал собственные формы культурной защиты. Бухара открывается исподволь, медленно, постепенно. Нужно большое время, чтобы погрузиться в ее особый и загадочный мир, постичь образ жизни ее жителей. Многое здесь не только сокрыто, но еще и табуировано. Не принято, некорректно, невежливо называть некоторые вещи своими именами и спрашивать о них вслух и где попало. Для этого нужны свое время и свои условия.

Традиционно Бухара идет в связке с Самаркандом, и что только не сказано об этой паре городов. Считается, что они принадлежат к одному локальному типу культуры. Но «биоритмы» у них все же разные, в каждом царит своя аура. В Самарканде иной темп жизни и настроения, он более живой и подвижный, более демократичный и открытый в своей торгово-предпринимательской стихии. В Бухаре же преобладают созерцательные состояния, их сознательное культивирование, любование и наслаждение ими. Не будет преувеличением сказать, что здесь принято опаздывать, вообще опаздывать, по ходу жизни. (Конечно, это никак не относится к современному ресторанно-гостинично-торговому бизнесу бухарцев, к их многообразной художественно-ремесленной деятельности — в этом они успевают и преуспевают, и еще как — велики вековые традиции, соединенные с рыночной глобализацией!). Здесь созерцание сочетается с аристократизмом и артистизмом, и совсем не обязательно, чтобы они были подкреплены высоким уровнем материального достатка. Встречаются многочисленные примеры врожденной склонности к художественно-эстетизированному образу жизни. По наблюдениям путешественника-ориенталиста XIX в. Арминия Вамбери, Бухара — это Париж и Лондон для мусульман Средней Азии. Он же подметил у жителей города такую маленькую, частную, но очень характерную черту: житель Бухары любит «чахчух (шум платья), и мне часто доставляло большое удовольствие смотреть, как покупатель в новом чапане (одежде) делал несколько шагов взад и вперед, чтобы послушать, как шумит его платье».

Развернутое наблюдение очевидца бухарской жизни первых десятилетий XX века М.С.Андреева не только дополняет нарисованную картину, но и уточняет степень присутствия в ней сокровенного бухарского мифа: «Современному человеку это может показаться непонятным, но обыкновенному бухарцу, родившемуся и выросшему в Бухаре, последняя представлялась обычно верхом совершенства во всех отношениях. Заполненные народом с утра до вечера базары и улицы, кипучая жизнь большого торгового города с разнообразными и развитыми ремеслами и вся структура этого огромного человеческого муравейника, втиснутого в разногранные рамки и ячейки, размеренно функционировавшие, огромное количество мечетей, знаменитых мазаров и прочих памятников, многочисленные школы и медресе с тысячами мулл, съезжавшихся изучать мусульманские науки из самых отдаленных мест, — все это поддерживало представление о сосредоточении здесь всего изысканного и совершенного. А затхлая вода бухарских водоемов, наделявшая пьющих ее «риштой» — длинным гвинейским червем, развивающимся в теле человека, и многими другими болезнями, вместе с пылью, вонью, невероятной духотой и пр. — все это, за неимением сравнений, считалось естественным и неизбежным. Рядовые бухарцы в старое время до того были убеждены, что Бухара превосходит все на свете утонченностью, блеском и своей культурой (Бухара — сила ислама и веры, говорило широко известное в Средней Азии бродячее четверостишие), что я знаю случай, когда в самом конце XIX в. один ташкентец, приехавший учиться в бухарское медресе, не смог вынести бухарского чванства и самовосхваления и уехал из Бухары, отказавшись от учения в этом центре среднеазиатско-мусульманской науки».

Лучше всего мир состояний и утонченных чувствований «бухарского человека» выражен в народной (она обозначается словом «бухорча») и классической музыке Бухары — в каноническом шашмакоме — огромном цикле произведений, который сродни по своему культурологическому значению (по положению в культуре) европейско-русской симфонии. Создать и то, и другое — это построить свое видение, свою концепцию мира. Музыка шашмакома, вобравшая в себя звуковой мир полиэтнической и многокультурной Бухары, охватывает весь спектр эмоционально-психологических состояний и философских раздумий. Слушая эту музыку, начинаешь понимать, что за сокрытостью и табуированностью состояний скрывается мощный энергетический источник подлинных человеческих страстей и утонченного мировосприятия «бухарского человека», трагический пафос собственной истории города. Если приложить к Бухаре философско-суфийскую дихотомию «зохир — ботин» (явленное и сокрытое), то, конечно, она ближе второму. Но нельзя сказать, что она совсем уж сокрыта. Многие выражались очень даже откровенно. Чего стоит одна только бухарская народная чувственно-эротическая поэзия в искусстве свадебных певиц-танцовщиц — созанда. Можно сказать, утонченно-эротическая поэзия. Нет и намек на пошлость, захлестнувшую ныне почти все постсоветское пространство. А бухарский танец! Тут просто нет слов. Все искусства выражаются только метафорами, намеками, иносказаниями, большей частью поэтическими. А иносказания в подаче бухарцев — это истинное художественное творчество, преломленное через эстетизированное восприятие окружающего мира.

Бухара наполнена мифами, легендами, предрассудками и сплетнями, рассказами и историями, байками и поговорками. Рассказывают много и охотно — о героях тысячелетней давности и событиях недавнего прошлого — о легендарном языческом покровителе города Сиявуше, об Афрасиабе, Аюбе и Искандаре Зулкарнайне, о бухарских правителях-эмирах и революционере Файзулле Ходжаеве, о музыкантах и танцовщицах, о суфиях и святых, о просветителях-джадидах и большевике Михаиле Фрунзе, о странном русском человеке Юреневе, прожившем свою жизнь в одиночестве в келье старого медресе «Модари Хон»... Теперь нередко мифы и легенды переключиваются в исторические книги, приобретая статус научного свидетельства. Говорят о том, что Бухара бесповоротно изменилась в советское время, утратив свою былую утонченность, величие и благородство. (Известный эпитет «Бухорои шариф» — «Благородная Бухара» указывал на ее особый статус в мире исламской учености.) Что все это окончательно улетучилось вместе с внедрением самобытных «рыночных отношений». Нет, конечно. Город просто спрятался от посторонних глаз,

изменилась лишь его внешняя оболочка, «наружный слой». Если иметь в виду проявления городской суеты, то можно сказать, что город, особенно его старая часть, приспособился к ритму деятельности туроператоров, к приливу и отливу туристических сезонов. И соответственно то закипает и оживает, а то погружается в зимнюю спячку. Но «бухарский человек» нисколько не изменился, он все тот же. Он так же несет в себе свое бухарское мироощущение-мировоззрение, взращенное на вековых культурных напластованиях. Анна Ахматова, говоря о Средней Азии, возможно, имела в виду именно Бухару: «Я не была здесь лет семьсот, Но ничего не изменилось... Все так же льется божья милость С непререкаемых высот».

Все так же бьется пульс старой Бухары. Сразу за Ляби-хаузом, знаменитым водоемом XVI века, начинается вереница молчаливых памятников — ныне популярная «туристская тропа» — через «первый», «второй», «третий» купола (так почему-то в народе с советских времен стали называть знаменитые «Токи Саррафон», «Токи Тельпакфурушон», «Токи Заргарон» — пассажи менял, продавцов головных уборов и ювелиров), через древнюю мечеть Магоки Аттори, медресе Мири Араб, минарет и медресе Калон — и прямо до Арка, резиденции бухарских эмиров. Земля этого города — «нетленное пепелище» культур. Глядя на возникающие тут и там строительные разрезы и раскопы, понимаешь: многослоен пирог тысячелетних напластований, глубоко лежит материк! Осколки древней керамики тянутся на поверхность, излучая потухший свет глазури. Ими усеяны узкие улочки, подступы к медресе, мечетям — стоит только копнуть. Почти физически чувствуешь под ногами нескончаемую вереницу прожитых жизней. Да еще и каких жизней. Потянуло бы на большую серию «Жизнь замечательных людей Бухары».

И возникает неизбежный вопрос: можно ли добавить еще что-то к тому, что уже известно, не создавая очередной, теперь уже современный миф о благостном городе на бывшем Советском Востоке, в Советском Узбекистане? Конечно, есть еще столько неисследованного и неоткрытого, что хватит на несколько поколений ученых — археологов, историков-востоковедов, искусствоведов. Но не наша задача говорить о неизвестных фактах и именах. Наша задача — в другом. Мы пытаемся понять Бухару как историко-культурный феномен, а жителей города — как носителей самоценной и самобытной народной философии. На мусульманском Востоке издавна существовала устойчивая традиция определять типы городов, нравы и привычки их жителей. Еще Абу Наср аль-Фараби (873—950) философски рассуждал о жителях добродетельных городов и их антиподах — невежественных городах — в своем «Трактате о взглядах жителей добродетельного города». И чего только не написано о жителях тех или иных городов — и лестного, похвального, и смешного, ироничного. Одни из них отличались жадностью, другие щедростью, хитростью и простоватостью, ученостью и невежеством. Например, находим даже такое в одном средневековом источнике о Нишапуре: «Хорош город Нишапур, но был бы еще лучше, если бы все его жители ушли под землю».

Было бы преувеличением говорить о «бухарской жизни» как некой «модели» построения мультикультурного, полиэтнического и многоконфессионального города. Хотя, к примеру, где вы еще найдете не просто сосуществование, а переплетение обычаев и традиций суннитов (таджиков, узбеков) и шиитов (иранцев), их обязательные взаимопосещения и совместное участие в ритуалах и обрядах друг друга, смешанные браки и т.д.? Так что можно говорить об особом «бухарском опыте» и попытаться осмыслить его.

Самый важный его «компонент» — это особое мироощущение-мировоззрение, эстетизированное отношение к быту и бытию. Эти свойства Бухары и бухарцев получили новое продолжение и трансформацию в современном художественном творчестве, когда они были открыты восприятию и воображению русско-европейских художников-энтузиастов — поэтов, живописцев, музыкантов... Бухара для них — эстетизированный Восток. Бухара — это состояние, в которое они погрузились и которое взлелеяли. И оно вступило в XX веке в противоречие и противостояние с новой, прагматической реальностью, новой властной парадигмой (неизбывная и неизбежная трагедия власти и старой культуры) и конфронтационным мышлением. Но они успели выразить и перенесли свои новые ощущения в звуки, краски, строки, слова,

сохранив уходящее мироощущение-мировоззрение. Конечно, есть и другие города, например тот же Самарканд, которые пробуждали аналогичные чувствования и настроения у художников. Но именно в Бухаре художническое восприятие города счастливо совпало с эстетизированным образом жизни и чувствований бухарцев. Возник некий прецедент — опыт художнического постижения города как некая альтернатива разрушительной психологии, конфронтационному настроению и мышлению. Возможно, эта альтернатива — едва ли не самая действенная по отношению к политизированным формам восприятия культурного наследия прошлого, попыткам поделить и расчленить, выбрать «свое» и отторгнуть «чужое», столкнуть части единого целого.

В начале 1990-х было ощущение, будто время и люди, специально сговорившись, ускорили работу, чтобы за оставшиеся до конца столетия годы побыстрее разрушить всё то общее, что создавалось тысячелетиями и еще уцелело. Не только памятники архитектуры, но и человеческие связи, единения этносов и народов, вековые сцепления культур и традиций. Начался массовый исход одного из древнейших обитателей города — бухарских евреев, отъезд русских, корейцев и других народов... Тогда казалось: город пропал. Но он уцелел, и теперь понятно, что помогло ему в этом.

Хотя и разрушительное (центробежное) мышление не спит. Оно ведь тоже складывалось веками и выработало свои разнообразие формы. Кажется, что скрытое указание А.Ахматовой на XIII век в ее стихотворении («Я не была здесь лет семьсот») имеет еще один, более значимый смысл: и монголы не смогли изменить традиций среднеазиатской жизни, а значит, и города Бухары. Хотя и опустошали, и разрушали-сжигали его дотла, и истребляли его жителей несколько раз, не смогли превратить его, как многие другие города и поселения, в «историко-археологический объект» без лишних построек и излишеств-роскошеств в образе жизни, а, напротив, сами вынуждены были влиться и раствориться в многоэтничном составе города и в его культурной традиции. Такая судьба постигла немало и других, кто приходил раньше и позже, вплоть до кочевых узбеков шейбанидов, постепенно культурно облагородившихся в самой Бухаре.

Но много значит историческая дистанция, коротка и избирательна человеческая память. Кто теперь помнит (кроме профессиональных историков) и рассказывает о катастрофических разрушениях, произведенных монголами в Бухаре? Но любят рассказывать, как жестокий большевик Фрунзе бомбил город с аэропланов, и какие он нанес ему «огромные разрушения», и как было вывезено «золото Бухары» в Москву к Ленину для финансирования грядущей всемирной революции. Но не вспоминают о тут же рядом лежащих и связанных с этими «историями» фактах: о том, как вероломно была заманена в подвал эмирского арка группа большевиков-парламентариев и подвергнута медленной ужасающей казни (вот чего не простили бы никогда ни татаро-монголы и ни Амир Темур!), как были истреблены в 1918 г. в ходе столкновения с отрядами большевика Ф.Колесова поселки вдоль железной дороги с разнородным населением (русские, татары, армяне и др.), как по приказу «просвещенного» эмира и клерикальной верхушки было устроено повальное избиение в Бухаре и целом ряде городов ханства джадидов — просветителей-интеллигентов — и всех сочувствующих им, и даже просто мало-мальски европейски мыслящих людей, просто тех, кто читал газеты (по подсчетам Садриддина Айни, порядка трех тысяч человек). Да и как еще казнили! Рука не поднимется привести свидетельства очевидцев. Джадидов, конечно, жалеют, но как бы вне связи с «деятельностью» эмира. Ведь и эмира жалко, бедненький, вынужден был бежать на чужбину, потеряв по дороге большую часть своего гарема и, говорят даже, одну арбу (или верблюда), груженную золотом и драгоценностями. И лидера бухарских революционеров Файзуллу Ходжаева (репрессирован в 1938 г.) тоже жалко, хотя он и был одним из ярких организаторов многих событий и сподвижником Фрунзе. Если о чем никогда не рассказывают и не вспоминают, так это о том, как сразу после бомбежки Бухары и переворота 1920 г. были созданы комиссии, в том числе специальная «Комиссия по изучению состояния и охране архивных документов, рукописей, памятников», и какие были предприняты меры для спасения культурных ценностей и в самой Бухаре, и в Самарканде, и в других городах Узбекистана и Средней Азии. Что в этой работе с самого начала

участвовали известные люди, крупные ученые, подвижники культуры и науки — В.Л.Вяткин, В.В.Бартольд, А.А.Семенов, Абдурауф Фитрат, Пулат Салиев и многие другие. Что-то неизбежно погибло в ходе столкновений, но сколько рукописей и других ценностей было спасено и направлено на государственное хранение в самой Бухаре и в Ташкенте.

Запуталась наша ученая мифология, никак не выстроит связную и понятную историю без лакун и изъянов. Но, может, в этом и состоит ее прелесть? Если бы только не провоцируемое ею новое конфронтационное понимание истории.

Вновь и вновь убеждаешься, что одно зло рождает другое, и, сцепляясь, они образуют непрерывную цепь, и нет ей конца. Не будем говорить больше о современных народных мифах. Возьмем «новых просветителей» (хотя, конечно, некоторые из них изрядно поседели и полысели, имитируя бурную деятельность на службе в идеологических структурах прежней власти). Ловко выхватывают они из этой цепи отдельные звенья. (То же видится, но в иных, огромных масштабах и в иных, несопоставимых с нашими, возможностях и в России, где идет возрождение и формирование нового классового противостояния, классового антагонизма). А нужно ли? Когда историк выдергивает одни и замалчивает другие факты, он невольно (или сознательно?) провоцирует новый виток конфронтационного противостояния. На что он надеется? На то, что, обозначив одни и скрыв другие факты, он избавит от них читателя? Наивный расчет. Вспомнился мне скромный и малоизвестный историкам придворный хорезмский писатель и поэт Бободжан Таррох Азизов—Ходим, написавший на узбекском языке книжицу о поэтах и музыкантах времени хорезмского хана Сайид Мухаммад Рахимхана (Феруза). Его как будто наивный и простой взгляд на историю показался глубоко поучительным и мудрым. Таррох предлагает разделить плохие и хорошие дела Феруза и о тех и других рассказать по отдельности. Куда уж многим нынешним, европейски образованным историкам опускаться до такой простоты! Лучше заклеить дотла одних и возвеличить других!

Вот и остается для противодействия «конфронтационному мироощущению» опыт самой бухарской жизни и опыт художнического восприятия былых и нынешних ее адептов. Ведь не изменилось главное — не изменился тип бухарского жителя с его бухарским образом жизни и пониманием ее ценностей, с неспешным мироощущением-миросозерцанием. Остается многосложная жизнь с ее торжествующим и жизнеутверждающим «лицемерием» — единством «несовместимых» светских гедонистических и религиозных начал. Этот опыт способен помочь... нет, не восстановить, но хотя бы проникнуться утраченным мироощущением прошлого и прочувствовать его. Помочь живущим в новом мире осатанелого прагматизма и расчета подняться над конфронтационным мышлением, над обывательской политизированной трескотней. Бухара едина и неделима. В утверждении этого постулата мы и видим назначение наших кратких записок.

Единая и неделимая многосложность бухарского бытия

Основа бухарского бытия — это таджико-ирано-тюрко-узбекско-еврейско-руско-советский синтез-симбиоз. Сюда можно и нужно подбавить еще целый ряд других «коренных компонентов» — среднеазиатско-цыганский (джуги-люли), арабский. И даже «сокрытое племя» чала — бухарских иудеев, принявших ислам. Каждый из этих народов привнес и привносит что-то свое в общее культурное пространство Бухары. И в этом «бухарском котле» на протяжении веков, вплоть до наших дней, существует и «варится» общая бухарская культура.

Взять, например, искусство бухарских мавриги — яркое музыкально-поэтическое и сценическое искусство со своим характерным стилем пения. Оно привнесено в Бухару иранцами-шиитами, выходцами из города Мерва. Лучшими его исполнителями были и остаются бухарские иранцы. Но постепенно, в XX веке мавриги стали осваивать и другие исполнители — таджики и узбеки, которые обогащают этот само-

бытный цикл элементами традиционного бухарского фольклора. Теперь уже мавриги, сохраняя свой иранский колорит, воспринимается в широком смысле как яркий культурный символ Бухары.

Или же искусство пения в бухарском шашмакоме. Значительный вклад в его развитие внесли в XX веке музыканты — бухарские евреи, создав свой собственный стиль пения. Но не было бы этого стиля, если бы на протяжении нескольких столетий не был создан усилиями таджикских, узбекских и других исполнителей сам бухарский шашмаком. И не было бы бухарского шашмакома, если бы он не опирался на предшествовавшее развитие системы двенадцати макомов, и если бы Бухара не унаследовала традиции гератской школы макамата после крушения империи Тимуридов.

Культура каждого великого города не лишена своей трагедийной окраски. Ее присутствие и «сценическое» действие на протяжении веков — движущая сила культурной истории, причина и расцвета, оживления, и упадка культуры. Трагедийность бухарской культуры вызвана несовпадением политических границ государств и пространства культуры. Это несовпадение — во многом универсальная, общемировая черта, если вообще не закономерность, на которую обречены многие цивилизации и страны. Пространство культуры Бухары — движущийся космос, он всеобъемлющ и многогранен, связан многими нитями с разными истоками. Культура Бухары как древнейшая часть Востока формировалась веками и тысячелетиями, она консервативна и устремлена к возрождению консерватизма как своей защитной функции. Но консерватизм этот многосложный, не имеющий ничего общего с примитивом. Политический ландшафт часто меняется. Иногда по несколько раз в течение одного столетия, как это случилось в XX веке. И каждый раз начинается пересмотр культурной картины, ее корректировка, упрощение и адаптация к изменившимся политическим и национальным условиям и требованиям. Хорошо еще, если только так (все же есть надежда, что в центральном государственном аппарате могут находиться мудрые и высококультурные люди). Но нередко происходит ситуативная корректировка под вкусы и понятия одного неизвестного истории чиновника областного или даже городского масштаба. Фактически наемного работника, которого уже завтра переместят в другую область, а то и, может быть, посадят за коррупцию, который слухом не слышал о космосе бухарской культуры. Тогда трагедийность возрастает вдвойне. Чиновник требует упростить многосложную культуру и свести ее к одному измерению, понятному ему из государственных инструкций. Проще говоря, он, например, запрещает и указывает, что и как надо петь, и на каком именно языке.

Вопрос о языке культуры Бухары никак нельзя обойти. Даже при большом желании. Даже если ты и не специалист, но пишешь о Бухаре и ее культуре в широком плане. Эта тема — одна из острых и очень сложных. Такая ситуация сложилась в XX веке — веке радикальных перемен. Вопрос о языке стал камнем преткновения, яблоком раздора между двумя самыми близкими в культурном отношении народами Средней Азии — узбеками и таджиками. Точнее, совсем не между народами, а между представителями их политических и властных элит, вовлеченными в этот процесс государственными службами культуры и частью национальных интеллигенций, в том числе историков и филологов-литературоведов. И это неудивительно на общем постсоветском фоне вздыбившихся «национальных приоритетов», «национальных интересов», «национальных идей» и т.д., и т.п.

Языковое многообразие Бухары, так же, как и ее культурное многообразие, столкнулось с проблемой новых форм существования, вызванных изменениями политического ландшафта Средней Азии. Именно политические изменения новейшего времени включили «механизм» постепенного отторжения, казалось бы, сросшихся на века культур и народов. Вопрос о языке получил неимоверную политизацию в ущерб всем его иным функциям. В нем стали усматривать опасный инструмент сепаратизма, «национальной агитации» и прочая, прочая.

Средневековые авторы видели в неизбежных переменах, в негативном насильственном изменении эволюционного хода истории проявление не подвластного воле человека воздействия круговращения небес и планет. И уповали на помощь Аллаха. Бухарский поэт и теоретик музыки Наджмиддин Кавкаби Бухари (убит в 1532—33 г.), перенесший в начале XVI века потрясение от распада гератского культурного круга и

в конечном счете ставший невинной жертвой непомерных амбиций двух враждовавших правителей, выразил свои ощущения неустойчивости земного бытия в одном из четверостиший-рубаи во введении своего «Трактата о музыке» (в нашем переводе с персидско-таджикского):

Как уберечься Кавкаби от небесной сферы притеснения?
(Лишь) милость вечная (Его) укажет тебе путь (к спасению).
В облики просителя от бедствия-печали
Страницы написал, наполненные плачем и стенанием.

В средневековый период проблемы отношений персидско-таджикского и тюрки (чагатайского, узбекского) фактически не существовало (обозначения «таджикский» и «узбекский» появились уже в новое время, в XX веке). И тем более, она не имела решающего политического, равно как и национального значения. Это трудно представить ныне, но это именно так. Вопрос о языке почти исключительно находился «в сфере компетенции» культуры. Он существовал, но только лишь как проблема развития культуры, как естественное выражение ее потребностей, независимый выбор творческой личности, либо — в отдельных случаях — как естественное культурное соперничество. В прошлом язык культуры Бухары, по крайней мере в отдельных ее сферах, выполнял эстетическую функцию. И отношение к нему было прежде всего — как к ценности эстетической. Язык рассматривался с точки зрения его красоты, красочности, многозначности, богатства метафор. Мы не говорим даже, какой именно язык. Потому что язык не представлял собой национального фактора. Эмирам не приходило в голову приказывать своим придворным музыкантам: пойте только на персидском (таджикском) или только на тюрки-узбекском. Но у них могли быть предпочтения. Один предпочитал стихи персидско-таджикских поэтов, другой — тюркские стихи Навои. Бухарцы рассказывают, что мать последнего эмира любила песни на тюркско-узбекском языке. А если взять чуть позже, есть свидетельства, что бухарец Файзулла Ходжаев, революционер, лидер джадидов и глава правительства Бухарской Народной Советской Республики, а впоследствии УзССР, очень любил слушать классическую музыку, макомы на тюркские слова Мухаммада Сулеймана Фузули (XVI в.). Этот поэт был необычайно популярен в дореволюционном Туркестане, много было изготовлено рукописных списков и опубликовано литографированных изданий его дивана стихов, но считается-то ведь он азербайджанским.

Бухара многоязычна с давних, необозримых пор. В средневековье здесь в просвещенной среде бытовало три основных языка, на которых изъяснялись, сочиняли художественные и научные произведения, оформляли различные религиозные и светские документы: персидско-таджикский, арабский, тюрки (узбекский). Известно, что преобладал, несомненно, персидско-таджикский. С приходом русских к этой триаде стал добавляться еще и русский язык, тогда как сфера применения арабского постепенно сужалась. В культуре позднесредневекового времени, вплоть до революции, в Бухаре (равно как и в Самарканде, а также в разной степени по всей территории Туркестана) значительно возрастает персидско-таджикское — тюрки-узбекское двуязычие. В Бухаре сплошь и рядом мы видим традицию сочинения на этих двух языках — десятки поэтов пишут стихи и составляют двуязычные диваны стихов. Однако в конце XIX — начале XX века по ряду геополитических и иных причин начинает значительно оживляться тюркский язык, выдвигаясь на авансцену истории. С ним связывается идея модернизации жизни, перехода к новым формам государственности и тому подобное. В этот период начинается значительная переводческая деятельность — с персидского на тюрки переводится огромное количество художественной и научной литературы, богословские труды и многое другое. Свой вклад в поляризацию отношений персидско-таджикского и тюрки-узбекского языков и их противопоставление, в критику возможностей персидского языка внесли и некоторые бухарские джадиды (в то же время были и те, кто ратовал за их равноправное развитие, обогащенное присутствием русского и европейских языков). Яркими противниками персидского языка в Бухаре были Абдурауф Фитрат и Файзулла Ходжаев, оба коренные бухарцы, свободно владевшие персидско-таджикским и писавшие на нем.

Таковы парадоксы бухарской истории. Но это уже другая тема для разговора.

Таким образом, в XX веке складывается новая языковая ситуация, завершившаяся вместе с национальным размежеванием и образованием Узбекской и Таджикской советских социалистических республик: у каждой *только свой* национальный язык плюс русский. Важная примета времени: произошла смена функций языка. Утратив свою преимущественно эстетическую функцию в отдельных сферах культуры, он политизировался и превратился в основной показатель национальной принадлежности. (Разумеется, художественно-эстетическая функция языка не только не исчезла, но и стала интенсивно развиваться в советское время, но уже применительно к конкретным национальным интересам.)

Однако в Бухаре сохранились некоторые свои особенности. Здесь таджикский язык, судя по отдельным наблюдениям, не всегда и не во всем выступает показателем национальной принадлежности. В Бухаре на таджикском языке бухарского диалекта говорят все жители города — и сами таджики, и узбеки, и бухарские евреи, и иранцы, и старожилы-русские. Хельма Ивановна Коркинен, востоковед из Ленинграда, финка по происхождению, патриотка Бухары, навсегда связавшая свою судьбу с Бухарой и музейным хранением рукописей, свободно изъясняется на бухарском таджикском, чем заслужила особое уважение среди бухарцев. Здесь так принято. Поэтому можно легко попасть впросак, пытаясь по одному лишь языковому общению (на узбекском ли, таджикском ли, русском) определить национальную принадлежность жителя Бухары. Что и происходит иной раз с высокклассными специалистами из-за рубежа, знающими языки, но воспитанными в неизбывных стереотипах «старой доброй» советологии. Мне довелось быть свидетелем одной такой сценки. Сопровождая одного интеллектуала-иностранца, мы встречались с бухарцами за дружеским ужином. Услышав таджикско-бухарскую речь, интеллектуал спросил соседа по столу: «Вы таджик?» — «Нет», — ответил тот. — «Но вы же говорите на таджикском?» — «Ну и что? Я бухарец».

К слову сказать, бухарцы во время разговора легко переходят с одного языка на другой: с таджикского на узбекский, с узбекского на русский и обратно. Такое явление я наблюдал и в среде казахской интеллигенции в Алма-Ате, где переход с казахского на русский и обратно — обычное явление, отнюдь не вызывающее национального снобизма по поводу «чистоты языка». Как-то осенью 1991 года мне довелось быть свидетелем совершенно уж необычной, но, скорее, все же курьезной ситуации. Дело было в Самарканде, на улице Ташкентской, что ведет от Регистана к мечети Биби-Ханым и Сиабскому базару. Здесь в торговых рядах вдоль дороги шла бойкая торговля галантереей. Одна из осаждавших лоток женщин вот уже который раз о чем-то назойливо спрашивала продавца, возможно, просила его назвать цену приглянувшейся ей ткани. Наконец молодой продавец не выдержал и ответил ей короткой фразой, смешав в ней три разных языка — таджикский, узбекский и русский: «Эээ, шумо айтдим уже» (буквально: «Эээ, я же вам уже сказал»). В наши дни не редкость встретить в Бухаре и Самарканде возле архитектурных памятников молодых ребят-подростков, которые могут за определенную плату свободно рассказать вам о достопримечательностях города на любом из четырех языков — таджикском, узбекском, русском и английском. Вот уж действительно сбылась (конечно, частично) мечта одного из лидеров туркестанских джаидов, Махмудходжи Бехбуди (1875—1919), ратовавшего за четыре языка будущей нации! А как было бы хорошо постепенно расширить этот опыт до общегосударственных масштабов!

Из всего сказанного видно, что жизнь преподносит немало и положительных фактов. С концертных площадок Бухары давно уже свободно звучит классическая и народная музыка — и на таджикском, и на узбекском языках. А на памяти бухарцев немало знающих и мудрых руководителей-градоначальников — хакимов и их замов, заботящихся о единой и неделимой культуре города. Особую заботу об этом городе проявляет президент страны. Да мало ли чего еще. Но все же возникает один небольшой частный вывод-наблюдение, который важно огласить. Получается: когда чиновник, по своей инициативе или из-за страха потерять кресло, «борется» с «таджикской пропагандой» в культуре, он на самом деле борется с народной традицией Бухары, которую призван, наоборот, поддерживать и сохранять. Ведь культура Бухары обре-

чена жить в единстве ее многообразных истоков и компонентов. Такова ее историческая судьба. Культурное богатство Бухары — это великое благо и ценность, это ее неповторимое и самобытное лицо. Если оно будет утрачено — исчезнет и Бухара.

«Лицемерный» гедонизм и строгость ислама

Замечательный исследователь Бухары О.А.Сухарева, автор многих книг и статей об этом городе, приводит стихотворную надпись на одном из карнизов мечети в бухарском квартале Косагарон (квартал гончаров): «В том месте, где есть чистота сердец избранных, сидите (живите) с наслаждением, так как мир преходящ. Жить без наслаждения — это могильный камень». Конечно, текст, как и другие поэтические тексты мусульманского Востока, многозначен. Это и обращение к «избранным» — последователям суфизма — мистического течения в исламе. Но это и прямой призыв к земным наслаждениям, причем начертанный в святая святых исламской веры — в мечети. В этой двойственности и заключается особенность мироощущения жителей Бухары — божественное, мистическое и светско-гедонистическое слиты здесь в единое целое, неразделимы.

Склонность бухарцев к наслаждениям радостями жизни, к яркости красок и выражения чувств (в музыке, поэзии, фольклоре, одежде, вышивке и других художественных ремеслах), конечно, особенность не только одной лишь Бухары. Но в Бухаре это качество жизни имеет специфические черты. Гедонизм уравнивается и упорядочивается рамками и нормами духовной культуры. Ведь каждый бухарец-мусульманин гордится своим мусульманством. Но при этом он не навязывает его другим, а легко и естественно взаимодействует с людьми других вероучений и конфессий, будь то иранцы-шииты, христиане или иудеи — бухарские евреи. Этот гедонизм совсем не похож на гедонизм, проповедуемый всеми возможными способами в последние два десятилетия после распада СССР, — гедонизм без берегов и ограничений, куда устремились так называемые «элиты», а за ними и другие группы населения, каждая в меру своих возможностей; гедонизм, который стал смыслом жизни. Бухарский гедонизм совсем иной, он предсказуем и глубоко органичен традиционной культурой. Для европейски мыслящего человека, неожиданно открывающего для себя некоторые «черты» жизни современных мусульман (как, например, скрытое, не афишируемое, винопитие), они кажутся чуть ли не ниспровержением религии или ужасным лицемерием.

На самом деле все совсем иначе. Не станем говорить пока о древней и аристократически изысканной традиции винопития в Бухаре, которая требует отдельного изучения. Но отметим, что «лицемерие» бухарцев несет в себе огромный жизнеутверждающий смысл. Оно опирается на глубокую и давнюю культуру «нарушений» в ортодоксальном исламе. Пить можно, но надо знать, когда, где и с кем, и в каком количестве, и не нарушая покой окружающих. Что же касается танцев и слушания музыки, то без этих видов развлечения Бухара просто немыслима. Можно сказать так, имея в виду историческое прошлое: как только в Бухаре замолкал муэдзин, призывавший к намазу, начинал петь хафиз-певец.

Но гедонизм никогда не был самоцелью бухарской эстетики. Это лишь одна часть, один компонент более сложной жизненной парадигмы. Ее основным ядром является общение, точнее даже, душевное общение людей. Оно-то ценится выше всего. Вспоминаю рассказы моего старшего друга, замечательного композитора Муталы (Мутаваккиля) Бурханова (1916—2002), который пользовался глубоким уважением Д.Д.Шостаковича за свою принципиальность и неподкупность. В народе он больше известен как автор гимна Узбекистана, музыка которого удивительно красива и торжественна. Мне выпало счастье много лет вести с Муталем Бурхановым неторопливые беседы в его скромной, можно сказать, спартанской квартире в Ташкенте, а потом и в Бухаре. Выходец из Бухары, он был носителем мудрости и традиций этого города, настоящим бухарцем. Равное и равноценное место в его творчестве занимали персидско-таджикская и тюрко-узбекская классическая поэзия, а путеводной звездой творческой жизни композитора всегда были поэзия и образ великого

Алишера Навои. Его жизнь может служить яркой иллюстрацией этого культурного типа — бухарского человека. Муталь Бурханов был физически хрупким, но удивительно стойким и непокорным по своему духу человеком. Казалось, что в своей бескомпромиссности и стремлении сохранить независимость он даже внутренне находился в постоянной готовности противостоять всякой пошлости и невежеству. В конце своей жизни Муталь-ака решился на окончательный переезд из Ташкента в Бухару, в свой родной город, посетовав с горечью на то, что в Ташкенте он, хоть и достиг многого в творческой жизни, столкнулся с наветами недоброжелателей и завистников и натерпелся немало несправедливости. И вдруг неожиданно, изменив настроение на весело-озорное и задорно рассмеявшись, он закончил объяснение причин переезда: «А потом, Александр Бабаниязович, ну где еще в мире есть такой замечательный каймак (в приблизительном определении — разновидность сметаны. — А.Дж.), какой есть в Бухаре!».

Да уж, действительно, Бухара славится и своей изысканной кулинарией. И лучше не рассказывать об этом и о бухарцах-гурманах, выезжающих в близлежащие города только из-за одного известного там вида кушанья, а то подумают, что здесь какая-то скрытая туристическая реклама. Любил еще повторять Муталь-ака типично бухарскую мудрость о том, что есть три вида дружбы — нони (буквально: хлебная), забони (языковая) и джони (душевная). Конечно, он не был никаким гурманом, а жил крайне скромно и просто, как настоящий дервиш, весь погруженный в творчество. Но иногда в кругу друзей и во время застолий любил декламировать в оригинале, на персидском языке, четверостишия-рубайи Омара Хайяма, и среди них вот это, кажется, его самое любимое, да и, пожалуй, самое показательное для характеристики психологии бухарского человека (приводится в переводе Владимира Державина):

Жаждой вина огневого душа моя вечно полна.
Слуху потребны напевы флейт и рубаб-струна.
Пусть после смерти кувшином я стану на круге гончарном —
Лишь бы кувшин этот полон был чистым рубином вина.

Музыка жизни — мелодия души

В старой Бухаре музыка выполняла очень важную жизненную функцию. Она и структурировала городское общество, «сегментируя» его по социально-культурным сословиям и группам, и социализировала его, объединяя в единое целое. Город, как гигантский муравейник, был охвачен стихией своей жизни. «Шахрошуб» (дословно с персидского — «баламутающий город») — так образно ярко именуется в старой поэзии разноликий и неугомонный ремесленный люд городов, среди которого были и люди артистической богемы — музыканты, певцы, танцоры, кукольники... Звуковое сопровождение гармонизировало эту стихию, поддерживало ритм жизненного цикла. Более всего определение «баламутающий город» подходит к старой Бухаре.

Особый звуковой мир с утра и до утра заполнял пространство Бухары и был легко узнаваем жителями. Каждый звук строго соответствовал своему времени и месту, имел свой неповторимый колорит, свою смысловую нагрузку: голос муэдзина, призывающего к молитве, звуки верблюжьих колокольчиков от каравана, входящего в город, сигналы барабанного боя и игра специального ансамбля над воротами крепости правителя (нагорахона), звук трубы, извещающий о готовности бани принять посетителей, ритмы дойры, зовущие на свадьбу, пение певцов-хафизов на свадебных празднествах — тоях и базмах, на дружеских вечеринках, напевы нищих и крики торговцев, песни разносчиков воды (машкобов) и различных ремесленников, ритуальные песнопения и танцы (зикры) дервишей и каландаров, яростные крики проповедников и рассказчиков религиозных историй — маддохов, киссахонов на базарах и в людных местах, перестуки молотков кузнецов, чеканщиков и мастеров-ювелиров, барабанные удары ночных сторожей (шабгирд), предостерегающие недобросовестных граждан, и многое, многое другое.

Функциональное и художественное значения музыки нередко были неразрывно связаны. Однако в целом музыка, как и другие виды искусства и художественные ремесла (изготовление одежды, украшений, посуды), различалась, согласно старому представлению, на «хосса и омма», то есть для знати, элиты — и для простонародья; или иначе — на особенную и общедоступную (распространенную). Соответственно слушание ее происходило в замкнутом, уединенном или в открытом, доступном для масс пространствах. Конечно, такое разделение было весьма условным, и у простых горожан всегда существовала возможность послушать серьезную музыку, в особенности в определенные периоды года.

Излюбленной уединенной формой культурного времяпрепровождения и слушания музыки у горожан, прежде всего у мужчин, были различного рода собрания и «посиделки» (маджлис, зиёфат и другие). Мужчины и женщины проводили свои собрания раздельно, согласно своим профессиональным занятиям, внутри ремесленных цехов, или по общинному проживанию — жителями кварталов. Наиболее утонченные и эстетизированные формы музыки культивировались на собраниях интеллектуалов и культурной элиты — ценителей поэзии, музыки мудрого слова (в придворных кругах, среди поэтов, литераторов, ученых). С такими собраниями связано развитие архитектурно-планировочного искусства частных жилых построек: обустройство «гостиных» (мехмонхона) — особых комнат с красиво оформленным интерьером. Массовые очаги слушания музыки связаны с общенародными праздниками, например, наврузом, с религиозными событиями, с различного рода развлечениями и народными гуляниями (тамоша), со свадебными мероприятиями (базм, той). В дни праздников музыка объединяла горожан, и у простых жителей появлялась возможность не только посмотреть массовые театрализованные представления с музыкой (среднеазиатские разновидности кукольных театров, выступления циркачей, клоунада, многое другое), но и услышать исполнение больших мастеров — певцов и музыкантов. В особенности это практиковалось в дни рамазана, когда в центральных районах городов устраивались так называемые «ночные базары» — «бозори шаб», где музыка звучала от заката и до рассвета. В Бухаре в это время года, а также весной, тысячи людей устремлялись на поклонение в Бахауддин, место захоронения святого покровителя Бухары, где также звучала музыка.

На характер серьезной (классической) музыки в городах влияли окружающие климатические условия и связанная с ними архитектурно-планировочная среда. В Бухаре с ее сухим жарким и резко континентальным климатом, при малочисленности деревьев, было не принято и даже неприлично («Бухара — купол ислама») наслаждаться слушанием музыки открыто в чайханах (да и было их немного). Музыка пряталась внутри старых прохладных построек, преимущественно с наличием куполов, обеспечивающих соответствующую акустику. Многообразные архитектурные купольные сооружения — медресе с их худжрами (кельями), караван-сарай, хонако — суфийские обители, и даже бани, были местами традиционного музицирования. Здесь собирались «музыкальные гурманы», ценители и любители послушать особое пение. Отсюда развился особый стиль музыки, манера и техника пения с глубоким брюшным звуком — «овози хонакои» (буквально: «купольный голос»). Музыканты этого стиля мастерски учитывали резонирующие возможности купольного помещения, которое создавало замечательный акустический эффект глубины и объемности звучания.

Художественно-эстетическое значение старой купольной архитектуры осознается музыкантами и в наши дни. Однажды мне довелось услышать совет великого узбекского музыканта-инструменталиста Тургуна Алиматова (1922—2008), жившего в Ташкенте: «Когда будете в Самарканде и Бухаре и будете смотреть памятники, включите записанные вами на магнитофон мои произведения, и это поможет вам лучше понять их смысл».

Бухара всегда славилась своими голосами, своей вокальной школой, которая теперь начинает вновь возрождаться. Классическое искусство пения тесно связано с бухарским шашмакомом, уже упомянутым нами. Культура исполнения и культура слушания составляли единое целое. Неизгладимое впечатление произвело на русского советского музыкального этнографа и композитора В.А.Успенского (1879—

1949) выступление в 1923 г. известного бухарского певца Ата Джалала и его восприятие аудиторией: «Шашмаком пользуется в Бухаре огромным вниманием и любовью народа, в чем я смог убедиться лично в 1923 году, когда на празднике саил многотысячная толпа слушала пение знаменитого певца Ата-Джалал Насырова при гробовой тишине — замечательный пример, как можно любить и как надо слушать музыку!».

Сказать, что музыка любима народом Бухары, будет мало и слишком тривиально. Она не просто любима, она составляет значительную часть его жизни. Еще живы представители старшего поколения, которые помнят, как через музыку, через пение особых стихов диалогического характера (мухаммас) люди даже «выясняли» друг с другом отношения, случайно встретившись на улице. Мухаммасы и сейчас поются на всех свадьбах. Народную музыкальную стихию отличают особая жизнерадостность, юмор, утонченная и изысканная эротика, любовная лирика. Об этом же «говорят» и народные бухарские ритмы. Ритмы дойры (бубна) настолько эмоционально насыщены и разнообразны, что кажется: это сама импульсивная натура человека откровенно выражает себя. Ни в одном виде искусства так полно и всесторонне не отражен характер бухарского человека, как в музыке. Бухарская музыка продолжает вдохновлять и подпитывать поколения новых музыкантов и композиторов, художников и поэтов. Ведь бухарский музыкальный стиль — один из самых ярких и запоминающихся в Средней Азии.

В судьбах русских людей: эстетизированная Бухара

«Свет, свет, сколько света!» — такова была первая реакция художника Виктора Уфимцева (1899—1964), когда он оказался в Бухаре в 1920-е годы. Ему вторили и другие, кто тогда же, сразу после революции в России, приехал в Среднюю Азию помогать местным трудящимся строить новую жизнь и культуру. Это было, несомненно, феноменальное открытие нового мира. Десятки имен художников и поэтов. Для художников это был рай. Там они находили свет, много света. Для музыкантов — подлинная древняя музыка и поэзия. Есть понятие эллинизированный Восток. Оно конкретно-историческое и вряд ли когда еще повторится. В нашем же случае эстетизированный Восток, эстетизированная Бухара — это состояние, которое ищут и находят или не находят, но к которому вновь и вновь стремятся «жаждущие света». Феномен непостижимого притяжения Бухары остается нераскрытым. Ташкентский искусствовед Л.В.Шостко, говоря о Бухаре в творчестве Павла Петровича Бенькова, замечает: «В 1930 году Беньков окончательно переезжает в Узбекистан и основывается в Бухаре. С ним случилось то, что случалось и ранее со многими приезжими художниками — О.К.Татевосяном, А.В.Николаевым, В.И.Уфимцевым, Н.В.Кашиной и многими другими. Однажды навестив эти края, они оставались здесь навсегда. Немаловажную роль в выборе Беньковым места постоянного жительства сыграло и то, что, минуя Ташкент и Самарканд, он сразу приехал в Бухару. Она долее других и более других городов бывшего Туркестана в недрах своих глинобитных кварталов хранила самобытность. Странно, но и сейчас Бухара, в центре обозначенная современными административными зданиями, высотными отелями, расчерченная просторными эспланадами, все еще удивляет — стоит только отодвинуться в сторону с главных магистралей — приметам своеобразного уклада жизни и быта». Александр Волков (1886—1957), узбекистанский художник, полотна которого ныне одни из самых желанных для торговцев искусством на мировых аукционах живописи, был просто покорен увиденным. Стихи рождались сами собой в перерывах между занятиями живописью.

Скрипы арбы на извилистых улицах,
Стадо баранов под арбами крутится —
Пыль и шелка Бухары!

Крики мальчишек в чуплашках с корзинами,
Свисты погонщиков, вопли ослиные,
Пыль и шелка Бухары!

Втиснулись клином верблюды горбатые,
Сбоку идут каравановожатые.
Пыль и шелка Бухары!

Звоны пиал в чайханэ разливаются,
В пыль дым чилима спиралью вливается,
Пыль и шелка Бухары!

Девушки с визгом кричат за дувалами,
В щели впиваются лица их алые,
Пыль и шелка Бухары!

А старые люди листают страницы,
И стих из Корана в губах шелестится,
Пыль и шелка Бухары!

(«Пыль и шелка Бухары», 1923 г.).

В 1930-е годы в Бухару ссылали политически неблагонадежных граждан. Не так много, как в другие регионы. В числе высланных оказался и Лазарь Израилевич Ремпель (1907—1992), ставший со временем крупнейшим искусствоведом Узбекистана. Ремпель был очарован архитектурным совершенством памятников Бухары и многими другими сторонами ее художественной и культурной жизни. Именно здесь расцвел его талант исследователя, и Бухара на всю жизнь вошла в круг научных интересов ученого. Написанное им о Бухаре входит в золотой фонд истории культуры города.

Добрым другом Бухары и истинным бухарцем был упомянутый нами Сергей Николаевич Юренев (умер в 1973 г. в Бухаре), биография которого только теперь стала предметом исследования ученых. Но параллельно с публикациями о Юреневе среди бухарцев сохраняются и передаются из уст в уста легендарные истории об этом удивительном человеке. Рассказывают, что к Юреневу приходили бухарцы, сообщали, что там-то и там-то собираются ломать памятники. И он в одиночку шел на защиту этих строений, бросаясь под бульдозер, как под танк на войне. По городу высокий и колоритный Юренев всегда ходил с трубкой во рту, и бухарцы-продавцы на базарах бесплатно угощали его фруктами и овощами.

Бухара служила неисчерпаемым источником вдохновения для русской творческой интеллигенции и ученых. Ее образы порой принимали самое неожиданное выражение. И сколько их разбросано по архивам, дневникам, в недоступных теперь редких изданиях! Тема ждет специального освещения. Как-то мне довелось услышать одно из замечательных стихотворений о Бухаре, созданное Николаем Ивановичем Леоновым. Стихотворение это любил декламировать ташкентский искусствовед Р.Х.Такташ. Он же рассказал мне, что оно было написано Леоновым в 1937 г. в чайхане на станции Маргилан и в нем выражено смутное предчувствие перемен в личной судьбе ученого («Как переменчивы судьбы! Кем назовут поутру?). Не имея изданного текста этого стихотворения, Р.Х.Такташ надиктовал мне то, что помнил и читал. Так получилась устная, бытующая среди «ученого люда» (возможно, неполная), версия:

Старобухарские ночи,
Старобухарские дни,
Быть бы твоим мне зодчим,
Царь Исмаил Самани.
Древнюю был лелея,
Грезит душа моя,
Здесь, у ворот мавзолея,
Я становлюсь не я.

Старобухарскою ночью
Я прохожу по садам,
Синие слезы точит
Над Мулианом звезда.

Жестких словес шарията
Буду покорен ярму,
Чую шелка халата,
На голове чалму.

Здесь, на берегах Мулиана,
В роскоши темных деревьев
Вновь я узнаю султана
Страшный несправедливый гнев...
Как переменчивы судьбы!
Кем назовут поутру?
Был бы спокоен я, будь я
Старым упрямым Амру.

Помню, лихие джигиты,
Радую Бухару,
Весть принесли, что разбиты
Грозные орды Амру.
Следом плененного старца
Приволокли из степей.
Каждое ухо бухарца
Радовал звон цепей.

Пищу варили в сосуде,
В том, что поили коней.
И удивлялись люди
Смеху Амру в тишине.
«Как, ты смеешься?!» — «Забавно
Знать, что лишь только вчера
Старый слуга мой исправный,
Оберегатель добра,

Требовал 300 верблюдов,
Чтоб погрузить на арбы
Деньги мои и посуду,
Ну а сегодня я буду
Конскому рад сосуду.
Смейтесь в лицо судьбы!»

Это их стараниями — стараниями очарованных русских первооткрывателей, сподвижников и энтузиастов — Бухара была опозитизирована и воспета и осознала себя как уникальный город с тысячелетней историей, где поколение за поколением, династия за династией, сменяясь и заступая вновь, создавали неповторимые духовные и художественные ценности. А люди Бухары, ее мастера, ее устады и шагирды — профессионалы высочайшего класса и идущие по их стопам простые труженики вековых ремесел — были взяты под защиту и охрану настоящей науки, составив главное богатство и гордость города и народа.

...Выехали почти все бухарские евреи. Но остались иранцы. Остались многие русские, корейцы, татары, не кочуют цыгане... Правда, и те, кто уехал, мысленно все равно здесь — вспоминают, скучают, переживают, разносят по миру «кусочки» своей неповторимой Благородной Бухары. Рассказывает мой друг, известный бухарский фотограф Шавкат Болтаев: «Звонили друзья из Нью-Йорка, зная, что скоро прилечу в США, и просили: привези немного бухарского каймака, так соскучились. Да как же я тебе его привезу, ведь испортится! Ну, положи его хоть в термос и привези...».

Он прочен, мой азийский дом,
И беспокоиться не надо...
Еще приду. Цвети ограда,
Будь полон, чистый водоем.

(Анна Ахматова).

Евгений Абдуллаев

В поисках героя утраченного времени

Глеб Шульпяков и проза «тридцатилетних»

Роман жив, и жив даже слишком. Разговоры про «смерть романа», скромно отметив свой столетний юбилей, иссякли. Романодефицит девяностых сменился романоманией нулевых. Производство крупной прозы, взнузданное книжным бизнесом и литпремиями, встало на поток.

Романов много. Хороших, разных, «букеровских»... Писатели едва успевают писать, критики — откликаться, читатели — замечать, изредка — читать. «Роман» превратился в стандарт, под который мимикрируют и циклы рассказов, и крупные повести, и живожурнальные почеркушки, и вообще любое многоглаголение, превышающее пятьдесят вордовских страниц, кегель двенадцатый, один интервал.

Если Достоевский мог текст почти на полтора ста страниц — я имею в виду его «Вечного мужа» — назвать *рассказом*, то сегодня рассказ — жанр для неудачников, «Запорожец» рядом с вереницами несколько однотипных «Кадиллаков». Постоянно ощущаешь то насилие над собой, с которым прозаик с ярко выраженным «рассказовым» мышлением — например, Иличевский или Сенчин — растягивает свою прозу до романного формата. В поэзии, заметим, ситуация прямо противоположная. Поэмы — крупный жанр — почти исчезли, а если и пишутся, то не превышают двух-трех страниц (поэзия не востребована книжным рынком, большая поэзия — не востребована вдвойне).

Было бы неверно в этом неожиданном воскрешении романа видеть одно влияние книжного рынка. Это — и знак возвращения к социальному высказыванию в литературе. Стихотворение, рассказ, повесть еще могут сохранять приватность, камерность; роман, «мета-жанр» (А.Пятигорский), не может быть камерным и приватным — как и многоэтажная архитектурная конструкция не может быть приватным жильем. Именно роман позволяет включить социальную рефлексию в художественное пространство, без скатывания к плоской публицистичности.

Другое дело, что успешность романа часто прямо противоположна его социальной и метафизической энергии. Роман, не изданный мега-издательством и не вошедший в шорт-лист одной из мега-премий (что часто взаимосвязано), почти не имеет шансов стать предметом разговора. В этой глухой зоне, в которой оказываются тексты интересные, значимые, но по тем или иным причинам не «раскрученные», и должны работать литературные критики. Но много ли сегодня развернутых — а не просто рецензионных — откликов на прозу, «не засветившуюся» в премиальных списках? У критиков хватает дел и без этого — они в последнее время больше пишут статьи друг о друге. Критик Ширяев — о критиках Белякове, Данилкине и Бойко, критик Бойко — интервьюирует критиков Анкудинова, Бавильского, Немзера; критик Топоров пишет критическую статью о статье критика Белякова о критиках Данилкине и Немзере... Замкнутый производственный цикл. Если так пойдет дальше, интерес к литературе за пределами курилки отдела литкритики станет просто излишним.

При том что каждый критик, думаю, может навскидку назвать с десяток авторов,

чья проза не засветилась в престижных шорт-листах и в растяжках «АСТ» или «Эксмо», но достойна серьезного разговора. Для меня, например, это Сергей Солоух, Фигль-Мигль, Вилен Манвелян, Хамид Исмаилов, Глеб Шульпяков...

Пожалуй, Шульпяков в этом неполном списке наиболее известная фигура.

Поэт, эссеист, редактор «Новой юности». Две книжки стихов. Три сборника путевых зарисовок.

Наконец, романная трилогия, о которой и пойдет далее разговор.

«Книга Синана», «Цунами», «Фес»¹.

Вообще, **роман-серия**, крайне востребованный коммерческим книгоизданием, почти не встречается в «высокой прозе». Разве что трилогия Быкова («Оправдание», «Орфография», «Остромов, или Ученик Чародея»), связанная единством времени (первые послереволюционные десятилетия) и места (Советская Россия). Впрочем, как признался сам Быков: «Идеи написать нечто цельное сначала не было — просто в процессе работы над "Остромовым" оказалось, что эта вещь вроде купола, который соединяет и замыкает революционную "Орфографию" и послевоенное "Оправдание"»².

Думаю, что и Шульпяков, завершая первый, а возможно, и второй роман вряд ли держал в уме замысел трилогии.

Но тем интереснее, что в итоге возникла именно трилогия.

Со своей единой архитектурой, логикой, географией.

Для тех, кто не читал, приведу три краткие аннотации с задних обложек (сам прозу пересказывать не умею, ни свою, ни чужую).

Итак.

«Книга Синана»: «Молодой журналист, получив заказ на книгу об архитекторе Синане, отправляется в Стамбул для того, чтобы собрать материал и почувствовать атмосферу, в которой работал главный зодчий Османской империи. Однако простое журналистское расследование оборачивается романтическим путешествием, в котором прошлое встречается с настоящим, а герой открывает ту часть себя, о которой совсем забыл в московской суматохе».

«Цунами»: «Молодая пара, актриса и драматург, отправляется в Таиланд, чтобы преодолеть кризис в отношениях и творчестве. Накануне цунами, которое обрушилось в декабре 2004-го, ее вызывают в Москву — в знаменитом театре приступают к репетициям. Герой остается один в эпицентре катастрофы. Во всеобщей неразберихе он присваивает документы погибшего туриста. И возвращается инкогнито в Москву, где его ждет другая жизнь...».

«Фес»: «Успешный московский издатель определяет жену в роддом и остается наедине с собой. В один из душных вечеров из-за нелепой случайности его жизнь внезапно рушится. Оказавшись в подвале неизвестного восточного города, он пытается понять, что с ним случилось — и как обрести новую жизнь. Для этого ему предстоит бежать из плена...».

Иными словами, все три романа — романы-путешествия, причем именно «в страну Востока» (Передняя Азия — в «Синане», Юго-Восточная — в «Цунами», Северная Африка и снова Юго-Восточная Азия — в «Фесе»), в мир ислама и буддизма.

Все три романа написаны от первого лица, с «крупным планом» главного героя, с отчетливо исповедальной интонацией.

¹ Книга Синана: Роман. — М.: Ad Marginem, 2005. Журнальная публикация: Новый Мир, 2005, № 6 (magazines.russ.ru/novyi_mi/2005/6/shu4.html); Цунами: Роман. — М.: Вагриус, 2008. Журнальная публикация: Новый мир, 2007, № 10—11 (magazines.russ.ru/novyi_mi/2007/10/shu2.html); Фес: Роман. — М.: Время, 2010. Журнальная публикация: Новый мир, 2010, № 3 (magazines.russ.ru/novyi_mi/2010/3/sh2.html)

² Толстой И. Купол над трилогией (Интервью с Д.Быковым) // Российская газета, 11 ноября 2010 г., № 5334 (255) (www.rg.ru/2010/11/11/bykov.html). Трилогию из трех повестей завершил в 2010-м и Сергей Солоух («Щук и Хек», «Рыба Сукина», «Угря»); здесь объединяющим началом стала ироничная стилизация под узнаваемые образцы русской прозы двадцатого века.

Наконец, все три романа пронизаны «поколенческой» тематикой, попыткой понять то, что, собственно, происходит с поколением, к которому принадлежит герой (и автор) — с «тридцатилетними». «Перед читателем исповедь абсолютного индивидуалиста, типичного представителя «поколения тридцатилетних». Человека, который не может найти себя ни в прошлом, ни в настоящем»¹. С этого последнего пункта — «поколенчества» — и начнем.

В поисках поколения. В отличие от «поэзии тридцатилетних», о которой говорилось и писалось немало, и не в последнюю очередь — самим Шульпяковым², о прозе этого поколения почти ничего не сказано.

В 2003 году издательство «Грейта» затеяло было книжную серию «XX_L. Проза тридцатилетних». Но, выдав книжки трех авторов (из которых современным «тридцатилетним» был лишь Павел Быков, а двумя остальными оказались Бунин и де Местр), серия почилла в бозе, а следом и само издательство.

Похоже, только Евгений Ермолин, говоря о «писателях, определенно вошедших в литературу именно в нулевые», отметил «собственно «тридцатилетних»»: «Диапазон этой прозы довольно широк. Здесь и экзистенциальный поиск, и исповедально-лирические медитации, признания и воспоминания, и трезвый социальный реализм, и (изредка) притча и гротеск... Но целеполагания и многие средства повествования названных авторов в принципе схожи. <...> Остается сожалеть, что в этом поколении мало критиков, способных отрефлексировать опыт ровесников (Беляков, Рудалев, Сенчин, Бойко...). А потому оно довольно слабо фиксирует себя на карте литературы»³.

Конечно, очерчивать границы поколения, особенно литературного, — дело трудное: велика степень возможной погрешности. Но если взять прозаиков, родившихся в условном пятилетнем промежутке между 1969 и 1973 годами, список будет выглядеть небедно:

1969 — Андрей Аствацатуров, Дмитрий Бавильский, Павел Вадимов, Денис Гуцко, Дмитрий Данилов, Алексей Иванов, Мариам Петросян, Павел Санаев...

1970 — Александр Иличевский, Майя Кучерская, Олег Павлов, Алексей Торк...

1971 — Андрей Иванов, Александр Карасев, Демьян Кудрявцев, Роман Сенчин, Глеб Шульпяков...

1973 — Денис Бугулов, Михаил Елизаров, Михаил Земсков, Герман Садулаев...

Перечень, разумеется, не полный — и по именам, и по годам. К «тридцатилетним» можно, с оговорками, отнести и родившихся годом-двумя позже. Например, Сергея Жадана⁴, Валерия Вотрина (1974), Захара Прилепина и Линор Горалик (1975); хотя шесть-семь лет, отделяющих Прилепина от Аствацатурова или Ал. Иванова, — разница все же ощутимая, чтобы зачислять их в одно поколение...

А вот среди родившихся после середины семидесятых плотность прозаических имен резко падает. Нет, талантливые прозаики не перестали рождаться. Но говорить о приходе в прозу именно заметного поколения — пока оснований нет. То же можно сказать и о движении в другом направлении временной шкалы: и Дмитрий Быков (1967), и Андрей Геласимов (1966) — прозаики столь же заметные, сколь и для своей генерации «единичные».

¹ Бавырин Д.: «Москва — это цунами нон-стоп...» (Интервью с Г. Шульпяковым) // Взгляд, 14 апреля 2008 г. (vz.ru/culture/2008/4/14/159395.html).

² Шульпяков, например, был составителем и одним из авторов антологии этой самой поэзии (10/30: Поэзия тридцатилетних. — М.: МК-Периодика, 2002).

³ Ермолин Е. Не делится на нуль // Континент, 2009, № 140 (magazines.russ.ru/continent/2009/140/ee22.html).

⁴ Хотя Жадан — писатель украинский, однако его проза вполне вписывается в фарватер прозы «русских» «тридцатилетних» (некоторые из которых — Петросян, Торк, Земсков и Ан. Иванов — тоже живут за пределами России); в жадановском романе «Anarchy in the UKR» немало очень точных «поколенческих» наблюдений и рефлексий, характерных для прозы «тридцатилетних».

Что же до авторов, перечисленных выше, то, думаю, это случай именно *поколения* прозаиков.

Несмотря на отсутствие общих манифестов и «серапионовых братств», «тридцатилетних» объединяет немало общего. Заметный прозаический дебют почти у всех этих авторов произошел в «нулевые», когда им было уже за тридцать. Почти для всех дебют этот состоялся в «толстых журналах» — в отличие от прозаиков последующей генерации, чьи стартовые площадки были уже более разнообразны (интернет, сборник премии «Дебют», отдельная книга, поддержанная Фондом Филатова... — не говоря о том, что и «толстые журналы» были благосклонны к «прозе молодых»). И по сравнению с «двадцатилетними», чей приход в литературу более-менее отслеживался через Липкинский семинар и премию «Дебют», многие из «тридцатилетних» возникали на литературном горизонте «черными лошадками» (Петросян, Торк, Ан. Иванов, Вадимов...) либо резко и неожиданно «заруливали» в прозу из смежных областей — поэзии, критики, журналистики.

Если говорить о Шульпякове (1971), то его путь в прозу вполне характерен для «тридцатилетних». Вошел в литературу как поэт и эссеист. Печатался — и продолжает печататься — в «толстых журналах» (все три романа выходили первоначально в «Новом мире»). Первый роман — «Книга Синана» — опубликовал уже тридцатилетним.

Однако все это внешние, «анкетные» моменты. Поколенчество в литературе — это немного больше, чем просто год рождения. Кроме отмеченной Ермолиным общности «целеполагания и средств повествования», это общность поисков — экзистенциальных, социальных, стилистических. Особенно важны — стилистические. Экзистенциальные вопросы каждое новое поколение лишь по-новому для себя формулирует, в стиле же работа «с чистого листа» невозможна; необходима сложная работа по «принятию — отвержению» того, что наследуется от «старших». Несколько упрощая, можно сказать: поколение — это стиль.

В поисках стиля. *«А он плевать хотел на изящество, на стиль. Это архитектор, у которого нет стиля. Стиль придумал шайтан, так он считал. Стиль — это все, что "не ритм". Зачем гению стиль?»*

Эта эпатажная фраза из «Книги Синана» становится понятнее на фоне тех проблем выработки стиля, которые выпало решать прозаикам поколения «тридцатилетних».

В отличие от «двадцатилетних», почти сразу начавших писать короткими, экономными фразами, «тридцатилетние» довольно сложно «избывали» постмодернистские требования к стилю. И преодолевали тот тупик, в который заводил прозу «шайтан» изощренной метафоричности и цитатности письма, по-разному.

Общей тенденцией стало опрощение стиля, возрождение интереса к сюжету, рассказу. Естественно, с исключениями, которые, как и полагается исключениям, подтверждают основную тенденцию. В прозе Гуцко и Кудрявцева метафорический язык еще довольно плотен, а у Иличевского — плотен настолько, что можно было бы даже говорить о своего рода реванше постмодернизма¹, если бы не отказ этого прозаика от игры в цитаты и аллюзии, от постмодернистской иронии. С другой стороны, у Романа Сенчина стиль почти изначально стремился к нулю, благодаря чему возникает эффект документальности, бытописательской подлинности.

Эта работа над стилем заметна и в трилогии Шульпякова.

Стиль «Книги Синана» еще мозаичен. Импрессионистическая «путевая проза» чередуется с экскурсами в историю и архитектуру; «теплый» стиль детских воспоминаний — с языком приключенческого романа. Картина возникает пестрая — под стать стамбульским мозаикам, — но целостная; чередование разностильных кусков

¹ Иличевский подчеркивает свою близость к поэтам «метаметафористам», прежде всего к Алексею Парщикову. В каком-то смысле тексты Иличевского — несколько запоздалая реализация в прозе стилистических поисков поэзии начала 80-х, что несколько отделяет Иличевского от остальных «тридцатилетних» и сближает с прозаиками старшего поколения — Леной Элтанг и Ольгой Славниковой (у последней, однако, все заметней опрощение стиля).

создает особую ритмику. (Несколько «выпадали» по темпоритму лишь исторические хроники — не случайно в журнальном варианте романа их нет).

В «Цунами» стиль более однороден. Путевые заметки ограничиваются первой, «тайландской» частью; там же, в конце этой части, идет как бы информационная врезка о цунами, написанная почти газетным языком — «взгляд сверху» на катастрофу. Со второй части — возвращения героя в Москву и начала его жизни под чужим именем — стилистическое разнотравье исчезает. Вообще, если вынести за скобки концовку (развязка с обязательной «охотой» на главного героя присутствует в каждом из романов), то «московская часть» «Цунами», на мой взгляд, лучшая проза во всей трилогии. Именно здесь, среди хаотической урбанистики центра Москвы, голос автора, его стиль оказывается «у себя дома»¹. Именно здесь, освободившись от пут экзотики, он начинает не просто отражать, преломлять — но лепить свою реальность... Фланирование по исчезающему городу («Москву... уничтожали прямо на наших глазах», — сказано в «Цунами») оказывается для прозы плодотворным.

«Ведь что такое писательское ремесло? В чем оно состоит? В том, чтобы строить воображаемые миры и брать с собой в эти миры то, что уничтожается здесь. Призрачная, исчезающая Москва есть идеальное место для современного писателя...» («Цунами»).

От третьего романа я первоначально этого и ожидал — развития московской темы. Несмотря на высокую плотность прозаиков в Первопрестольной и высокую частоту в прозе «московских сюжетов», современный «роман о Москве» пока не написан... Но название романа — «Фес» — не оставляло на первый взгляд на это никаких надежд.

Оговорюсь: мне нравятся путевые очерки Шульпякова. Нравятся его визуально, осязательно, даже обонятельно точные зарисовки. *«У парапета выстроились рыбаки: рубашка навывпуск, на спине пузыри. Лес удочек торчал в мыльном небе Стамбула и скрещивался с минаретами»* («Книга Синана»). Однако стиль травелога — и именно такой, в котором чувствуется уверенная рука мастера этого жанра, — на протяжении всей трилогии оказывается в противоречии с экзистенциальными вопросами, которые буквально плещутся под тем самым парашютом с фактурными рыбаками.

Возникает противоречие между пейзажем внешним и внутренним, между экзотикой и экзистенцией. Противоречие, которое в двадцатом веке пришлось решать многим. Как правило — за счет наведения резкости на первый план (героя), с «размыванием» пейзажа. «Приглушенная» североафриканская экзотика в рассказах Сартра. Или взятая «не в резкости», сквозь серую пелену дождя и тумана, Италия в «Ностальгии» Тарковского. (Впрочем, и Тарковский не устоял, сняв сцену самосожжения на красивейшей и туристичнейшей Piazza del Campidoglio в Риме...).

Частично это противоречие в трилогии снимается с помощью **театральных метафор**. Пейзаж, несмотря на его матерчатость, осязаемость, — не более чем декорации.

Театр возникает уже в «Книге Синана».

При осмотре катакомб: *«Горячий воздух тут же окутал меня. Открыл глаза — декорация переменилась как на театре»*.

При встрече с уличным театром: *«В одной из улиц наткнулся на представление кукольного театра. Это был знаменитый Карагез. Я долго смотрел, как на тряпичном экране получает колотушки бородатый старик. И думал, что ничем от него не отличаюсь. Такая же плоская фигурка в чужом спектакле»*.

В «Цунами» это самоощущение героя «фигуркой в чужом спектакле» уже превалирует. Если театр «Книги Синана» — это кукольное представление, в котором герои управляются незримыми кукловодами, то в «Цунами» — это разваливающийся советский театр, в котором актеры продолжают играть в прежних, лишь слегка подновленных декорациях. Вообще, «Цунами» — театральный роман. Герой — драматург, его

¹ Собственно, «московский текст» «Цунами» представляет собой освоение в прозе того материала, который Шульпяков уже несколькими годами раньше освоил в стихах: прежде всего в поэме «Грановского, 4».

жена — актриса, текст «прокладывается» театральными историями, байками, легендами...

Ну а «Фес»... По жанру — возвращение к «роману-путешествию». Снова — исламская архитектура, природа Южной Азии, пальмы-бунгало. Но исчезает живость, импрессионистичность описаний; в «Фесе» они скорее отталкивают, настораживают. Происходит разрушение жанра, его раз-эстетизация. Травелог особого рода: отчет о посмертных странствиях души.

Если в «Цунами» герой сознательно выбирает «посмертное существование» — живет по документам погибшего человека, в его квартире, сам числится в погибших, — то в «Фесе» никакого выбора уже нет. Зброшенная квартира; удар, потеря сознания. Был ли вообще герой? Начало романа — выписка из протокола осмотра места происшествия: температура, освещение, найденные предметы, пятна «предположительно крови». Героя, собственно, нет — как на занесенной в протокол расческе отсутствуют отпечатки пальцев. Все, что происходит с ним, — не Моуди с его светом в конце тоннеля, а утомительный посмертный туризм души. Путешествие в распадающихся декорациях прежней жизни. В эпилоге распад прежнего «я», наконец, осознается (осознается?) душой — вернувшейся из затянувшегося метемпсихоза в Москву, с ее поливалками, гриль-барами, пыльными деревьями.

«Я — дерево. Оно растет за верандой нашего сада, у кирпичной стены. Большое, корявое. Такое старое, чторосло в стену. Меня зовут дерево, говорю я, когда меня спрашивают. Как же так? Удивляются все. Какое же ты дерево?

Я не могу объяснить, почему я дерево, но я — дерево.

Раньше я был вороной. ...До выходных я был Коляном. Это большой мальчик и в сад не ходит. У него есть собака, по вечерам они гуляют. Я вижу их, потому что вечером сижу у ворот, жду родителей. В это время они тоже выходят. У Коляна белая спортивная курточка и красные сапоги. Я хочу такие же сапоги и собаку. Но собаку больше. Я — Колян».

Распад «я» связан с исчезновением стиля (стиль — последнее убежище «я»). «Фес» написан приглушенным, почти «никаким» стилем. Минимум метафор, эпитеты — самые простые. Предложения становятся все более краткими. Диалоги — все более длинными, эшелонируясь в нескончаемый разговор души с самой собой.

В поисках «я». «Роман с персонажами, безусловно, принадлежит прошлому, он является характерной приметой определенной эпохи, отмеченной апогеем индивидуальности», — писал один из теоретиков «нового романа» Ален Роб-Грийе¹.

В романах Шульпякова индивидуальность не исчезает. Напротив, в них даже слишком много главного героя.

Но индивидуальность эта, скорее, размытая, претерпевающая.

Главные герои трилогии — безымянны. Мы не знаем, как зовут каждого; не проявлена внешность, национальность — прочерк. «Человек без свойств».

Отсутствие типичности восполняется тонко разработанной телесностью героя. Герой тщательно регистрирует свои ощущения, внутренние образы, воспоминания. «Я отвинчиваю окно — горячий воздух лупит по лбу». «Я пригубил из наперстка, и по небу разлился густой матерчатый вкус». «Я вытирал шею и слушал, как сердце колотится в горле». «Несколько минут я сидел без движения, сжимая мокрую от пота трубку»...

Из двух архетипических персонажей, которые в каждом романе встречаются на пути героя — женщины (его «анимы», уязвимого, чувственного начала) и мужчины (всезнающий случайный спутник, «анимус» героя), — главное место занимает именно женщина.

Как когда-то заметил по поводу стихов Шульпякова Вячеслав Курицын: «Его лирический герой — нервно-тихий Пьеро, который тусуется по поездкам и кафе, смотрит на чужие лица, слышит обрывки фраз, изредка сам подает голос»².

¹ Роб-Грийе А. О нескольких устаревших понятиях // Называть вещи своими именами: Программные выступления мастеров запад.-европ. лит. XX в. Сост., предисл., общ. ред. Л.Г.Андреева. — М.: Прогресс, 1986.

² С клапана первой поэтической книги Шульпякова «Щелчок» (М.: «Независимая газета», 2001).

Из поэзии этот герой, лишь немного остепенившись, перебрался в прозу.

«Живет на свете человек. Человек неплохой, неглупый. Может быть, даже талантливый. Имеет небольшое дело, успешное. Умных друзей и красивых женщин. Квартиру в престижном районе, дом за городом. Людям, которые его знают, жизнь этого человека кажется легкой и безоблачной. Он плывет по течению, порхает — так они думают. Живет одним днем, по настроению. Однако дело обстоит совсем иначе. Жизнь, которую он ведет, тщательно спланирована. Расписана по мелочам и занесена в ежедневники — на месяцы, на годы» («Фес»).

Между «плыть по течению» и «тщательно планировать жизнь» противоречия нет. Оба состояния — лишь различные стратегии ухода от своего «я», своей «самости».

От романа к роману герой плывет вроде бы в верном направлении. Все более социализируется, преуспевает. В «Синане» это еще несколько легкомысленный молодой холостяк, едущий по Турции «по работе». В «Цунами» он уже с женой-красавицей — и не абы какой, а актрисой известного московского театра, сыгравшей когда-то в знаменитом детском фильме; драматург он пусть не очень известный, но достаточно преуспевающий, чтобы своими пьесами содержать себя и жену, а на отдых летать в Таиланд. Да, после цунами он принимает неожиданное и рискованное решение — пожить жизнью другого, погибшего человека. Но — погибший этот оказывается человеком не бедным, и на его деньги и в его квартире в центре Москвы герой устраивает себе мрачноватые, но, в общем, довольно сносные каникулы...

Наконец, в начале «Феса» герой выглядит уже полностью социализированным. Жилье в центре Москвы, издательский бизнес. Жена ждет ребенка, ее наблюдает «врач, лысый француз из Евроцентра»...

Далее возникает экзистенциальный коллапс.

Толчком оказывается вызов в Отдел по борьбе с экономическими преступлениями. И — *«еще вчера надежная и предсказуемая, жизнь на глазах рушилась. Распадалась под натиском чужой силы. "Сколько мы продержимся на взятках — полгода, год? С долгами за квартиру и клинику, с огромными кредитами — с моими сотрудниками, выброшенными на улицу — с ребенком и женой на руках — что мне делать? Как жить?"».*

Интересно, что «Фес» писался уже во время экономического кризиса, который, как точно заметил Александр Мелихов, совпал с более глубоким, экзистенциальным, когда «ощущение социальной неудачи резко обостряет и чувство незащитности не только в социуме, но и в мироздании»¹.

Собственно, трилогия — о возрастании незащитности, уязвимости одновременно с социализацией, «ростом благосостояния».

Тема эта, опять же, довольно распространенная у «тридцатилетних»: можно вспомнить «Близнецов» Кудрявцева, «AD» Садулаева, «Матисс» Иличевского... Пожалуй, только у Шульпякова она становится объектом поколенческой рефлексии.

Поколение, оканчивавшее школу и входившее в жизнь в годы перестройки, походило на плохо подготовленный воздушный десант: за спиной разваливалось вонявшее соларкой нутро советского «кукурузника», на спине болтался парашют, без гарантии, что раскроется. У большинства все же раскрылся. Проболтавшись меж небом и землей в 90-е, они приземлились в 2000-х, стабильных и безветренных. И стали страдать от этой безвоздушности, от своего социального одиночества, особенно отчетливого на фоне разросшихся «возможностей общения» и «социальных сетей». От своего отчуждения — от мира, от друг друга, от своего «я», поисками которого и озабочены герои Шульпякова.

«В сущности, я нашел в ней себя, свое отражение. Типичного представителя поколения, чья внешняя природа изменчива и податлива, управляема — а внутренняя неодолима в последней, крайней своей правоте и цели. В чем состояла эта цель? Какой правотой она обладала? Я не знал или не хотел знать. Потому что у людей моего поколения эти цели часто оказывались не только непредсказуемыми — но и пугающе разными» («Фес»).

¹ Мелихов А. Борьба с ничтожностью: Психология против экономики // Нева, 2010. № 12. (magazines.russ.ru/neva/2010/12/me7.html)

Есть ли вообще то, что объединяет людей этого поколения — а заодно и принадлежащих к нему авторов?

Поколение, как правило, самоопределяется в конфликте с другим поколением. В противостоянии более старшему, «отцам». «Во все прошлые времена, — пишет Умберто Эко, — для того, чтобы выстраивалась диалектика отцов и детей, требовалось наличие такой сильной отцовской модели, для которой провокационное новаторство детей оказалось бы совершенно неприемлемым»¹.

Однако «тридцатилетние» входили в жизнь в конце восьмидесятых, когда сам «мир отцов» рушился на глазах. «Отцы» сами должны были заново приспосабливаться к жизни, переучиваться, приобретать новые навыки — иными словами, социально сравнивались с «детьми». Поэтому и конфликт «отцов» и «детей» в прозе «тридцатилетних» не слишком заметен — за исключением разве что воспоминаний детства и раннего, доперестроечного, отрочества (например, в «Пепле» Андрея Иванова). Но и в этих воспоминаниях конфликт чаще всего выстраивается не столько с «отцами», сколько с более пассионарными «дедушками-бабушками» («Похороните меня за плинтусом» Санаева).

Вообще, если верить тому же Эко, последний поколенческий бунт — «протест «новой» молодежи против общества взрослых, против тех, кому нельзя доверять, кто старше тридцати лет» — был в 1968-м, и с тех пор не повторялся². Конфликт между поколениями перестал быть актуальным — и у «отцов», и у «детей» одни и те же ценности. «Образовалось одновременное и синкретическое культурное предложение: актуализировались все вкусы, можно даже сказать — все ценности. ...Стушевываются традиционные различия между левыми и правыми, прогрессистами и консерваторами, окончательно утратили остроту любые конфликты поколений»³.

Тем парадоксальнее тот конфликт поколений, который обозначился во второй половине «нулевых».

В отличие от традиционного конфликта между «отцами» и «детьми» этот generation gap возник между старшими и младшими «братьями».

Условно говоря, между «тридцатилетними» и «двадцатилетними». Причем зачинщиками его были именно старшие, «тридцатилетние»,

«Младшее поколение, рожденное в перестройку, держал за зверьков, годных для трансплантации органов. Тех, кому за сорок, боялся и презирал, поскольку сквозь буржуазный лоск у них все резче проступали черты совка» («Цунами»).

Излишне резко? Но в том же 2007-м, когда это было опубликовано в «Новом мире», на ту же тему одновременно с Шульпяковым, и порой еще жестче и эмоциональнее, высказывается еще несколько, совершенно, казалось бы, разных по своим идеологическим и стилистическим установкам представителей «тридцатилетних».

Роман Сенчин (1971): «Из поколения потенциальных борцов делают первое поколение идеально дисциплинированных работников каптруда. Они не склонны к водке, разгильдяйству, депрессиям, в отличие от рожденных в вялые, застойные 70-е; они умнее, восприимчивее к новому — да, они будут отлично исполнять возложенные на них обязанности. Из них можно создать отличный муравейник, где все на местах. Но муравьи, многим симпатичные, — все-таки насекомые. Нельзя становиться насекомым!»⁴.

Близкий перечень обвинений в конце 2007-го предъявляет «двадцатилетним» Захар Прилепин (1975). «Как показало время, в основной своей массе мои сверстники оказались безвольными: в политике, бизнесе или культуре мы явное меньшинство, так уж получилось. Ко всенародному разделу мы не успели, а быть падлотой толком не научились: в итоге жизнь протекла до середины, а мы все в тех же ландшафтах, что и прежде. ...Поколение, рожденное за время неумного реформатор-

¹ Эко У. Полный назад! «Горячие войны» и популизм в СМИ / Пер. с итал. Е.Костюкович. М.: Эксмо, 2007. С. 564.

² Там же. С. 561.

³ Там же. С. 565, 572.

⁴ Сенчин Р. Не стать насекомым // «Органон». 13 августа 2007 г. (organon.cih.ru/kritika/senchin.htm).

ства (ну, скажем, начиная с восьмидесяти пятого, а то и раньше — по начало девяностых), являет собой во многих наглядных образцах удивительный гибрид старческого безволия и детской, почти не обидной подлости. Эти странные молодые люди ничего не желают менять»¹.

Наконец, в том же 2007-м Валерий Нугатов (1972) публикует текст «Старперы это мы». Стихотворение большое, приведу отрывки: «детство прошло / и отрочество прошло / и юность прошла / и бытием поросла / зрелость пришла / и выяснилось / что старперы это мы / рокеры это мы / байкеры это мы / <...> / планокуры это мы / распиздяи это мы / <...> / а молодежь это вы / красивые это вы / здоровые это вы / ясные чистые глаза это вы / юные ритмичные сердца это вы / тугие гладкие отверствия это вы / тонкие звонкие голоса это вы / но мы все равно вас съедим / увы»².

Не успел Нугатов выполнить свое обещание (может быть, кого-то и съел, — история умалчивает), как в 2008 году по «поколению 20-летних» открыл обстрел журналист Андрей Архангельский (1974). «Наблюдая их все чаще — на работе, в быту, — я поражаюсь их конформизму, способности подстраиваться и растворяться в среде. По степени подбострастия и лояльности начальству они чем-то напоминают комсомольцев 80-х: те, однако, чаще притворялись, держа фигу в кармане, — эти растворяются без всякой задней мысли: лепи что хочешь»³.

Архангельский набрасывает «социальный образ» представителя этого поколения: «широко информированный, активно потребляющий, однако при этом лишенный ярко выраженного личностного начала, Я-личности; тип социально пассивный, а точнее сказать, социально отсутствующий».

Причину этой аморфности журналист видит в том, что «двадцатилетних» не научили пользоваться свободой, «не сформулировали отношение к свободе как к духовной, а не только как к материальной ценности».

Что ж, может, и так. Думаю, однако, что проблема «отношения к свободе» оказалась не менее фатальной и для остальных поколений, родившихся при Союзе. Для тех же «тридцатилетних». Не случайно у героя «Цунами» еще в 90-е была написана и поставлена пьеса «Аморетто»: «история о молодых людях, внезапно разбогатевших на фальшивом ликере. О свободе, которую им подарили, — и бесконечном тупике, в который она завела». (Интересная смежность «свободы» и «фальшивого ликера»...).

А поток претензий «тридцатилетних» к «двадцатилетним» не иссякает — на эту тему успели высказаться и прозаик Герман Садулаев (1973), и критики Андрей Рудалев (1975) и Евгения Вежлян (1973)⁴...

Впрочем, конфликты между «старшими» и «младшими», когда социальная трещина проходила между поколениями, разделенными одним десятилетием (а то и менее), в русской истории и литературе редко, но случались.

Например, в конце 1820-х — между интеллектуалами пушкинского поколения (тогдашними «тридцатилетними») и московскими «любомудрами» «архивных юношей» («двадцатилетними»). Александр Койре не без основания видел в этом конфликт между двумя поколениями, которые «разделяли всего лишь десять лет»: старшие родились «на закате правления Екатерины Великой», младшие — «в первые годы царствования Александра»⁵. «Умственный настрой «любомудров», — писал Койре, —

¹ Прилепин З. Молодежь к выходу на пенсию готова. Самая реакционная часть общества // Русская жизнь. 7 декабря 2007 г. (www.rulife.ru/mode/article/422).

² Нугатов В. Новые стихи из цикла «fAKE» (2007) // «Абзац»: альманах. 2007. Вып. 3. С. 56—58. Интересно, объектом отцовского «комплекса Сатурна» оказываются не дети — но, условно говоря, младшие братья...

³ Архангельский А. Поколение проигравших. Журнал «Афиша» и поколение 20-летних: когда бы грек увидел наши игры... // «Взгляд». 12 февраля 2008 г. (vz.ru/culture/2008/2/12/144289.html).

⁴ Садулаев Г. Поколение трусов. 7 августа 2009 г. (sadulaev.livejournal.com/50764.html); Рудалев А. Двадцатилетние «пенсы». 17 августа 2009 г. (www.lentacom.ru/analitics/589.html); Вежлян Е. [Без заглавия]. 25 мая 2009 г. (vejlyan.livejournal.com/2009/05/25/).

⁵ Койре А. Философия и национальная проблема в России начала XX века / Пер. с фр. А.М.Руткевича. М.: Модест Колеров, 2003. С.185 (Исследования по истории русской мысли, 9). С. 46—47.

⁶ Там же. С. 46.

отсутствие у них интереса к проблемам действительной жизни все больше воспринимались старшими как убожество и признак моральной недостаточности»⁶.

Ничего не напоминает?

Уточняя мысль Коире, замечу, что более важным, чем время физического рождения, является время рождения социального, вхождения во взрослую жизнь.

Ко второй половине 1820-х «старшие» успели отучиться и приобрести определенный социальный опыт (послужить в войсках, в департаментах, окунуться в светскую жизнь...), пока «архивные юноши» еще досиживали в университетских классах. Социализация «тридцатилетних» отличалась и тем, что проходила она между Отечественной войной и восстанием на Сенатской, под непосредственным влиянием участников войны 1812 года, будущих декабристов...

То же самое можно сказать и о нынешних «тридцатилетних». «Реперными точками» их социализации стало начало перестройки, которое они застали еще подростками, и распад Союза и всей прежней инфраструктуры, совпавший для многих из них с началом самостоятельной жизни. *«Люди, чья юность пришлась на эпоху инфляций»*, как сказано о них в «Фесе».

Поэтому в «нулевые» «тридцатилетние» ощущали себя так же, как пушкинское поколение в 1830-е — как в некоем безвременье, в историческом вакууме, особенно на фоне более конформистски настроенных «младших братьев».

Нельзя сказать, что сами тогдашние «тридцатилетние» были поколением неудачников. Но их амбиции, их социальные ожидания, их протестные настроения — безусловно, были значительно выше градусом, чем у «младших». Отсюда и возникали претензии — более ярких к более стабильным, более ироничных к более прагматичным...

Есть и исторически более близкая аналогия поколенческой эскападе сегодняшних «тридцатилетних».

Я имею в виду то литературное поколение, которое Лидия Гинзбург (1902 г.) назвала «людьми 20-х годов» (и к которому принадлежала сама).

«Им казалось тогда, что они мрачные и скептические умы, — писала о них Гинзбург. — На самом деле, сами того не понимая, они гигантски верили в жизнь, распахнутую революцией. ...Была восхитительная зыбкость границ и неизвестность возможного»¹.

Речь идет о поколении, родившемся на стыке двух веков и успевшем отучиться в гимназии или сельской школе, однако во взрослую жизнь входившем уже в военные и революционные годы. Действительно, тогда в коротком промежутке между 1897 и 1902 годами родилась целая плеяда прозаиков: Анатолий Мариенгоф, Илья Ильф, Валентин Катаев, Михаил Агеев, Андрей Платонов, Владимир Набоков, Константин Вагинов, Юрий Олеша, Леонид Леонов, Вениамин Каверин...

Конечно, в отношении эмигрантов Набокова и Агеева говорить о вере «в жизнь, распахнутую революцией», не приходится. Однако с тем, что касается «зыбкости границ и неизвестности возможного», в которой начинали взрослую жизнь «люди 20-х», можно согласиться.

А следом за этим поколением начинается обрыв. «Рассеялся мерцающий туман будущего, — пишет Гинзбург. — ...Переживание молодости качественно изменилось — выпали неизвестность, непредреженность человека. ... Между нами и теми, кто на двадцать пять, на тридцать лет моложе, разница заметная, но в основном негативная. Они тем-то не интересуются, того-то не знают или не любят, о том-то не думают. Но те из них, которые думают, — думают довольно похоже. Вместо того чтобы врать нас молодыми зубами (по правилам XIX века), они смотрят ласково»².

Не соглашусь только с тем, что «поколенческий обрыв» Гинзбург отодвигает так далеко — на 25—30 лет. Как раз это поколение, родившееся в середине 1920-х, чье вхождение во взрослую жизнь совпало с войной, дало немало ярких прозаических

¹ Гинзбург Л. Человек за письменным столом: Эссе. Из воспоминаний. Четыре повествования. Л.: Сов. писатель, 1989. С.188.

² Там же. С.190.

имен — Астафьев, Быков, Васильев, Казаков, Трифонов, Адамович, Айтматов, Синявский, Окуджава... А вот с середины 1900-х, действительно, «поколенчество» в прозе почти на два десятилетия исчезает. Отдельные яркие прозаики рождаются — например, Солженицын (1918); нет — прозаической генерации.

Правда, здесь необходимо учитывать не только «удачный» (то есть сопряженный с периодом социальной и политической ломки) момент для социализации, но и наличие «удачного» момента для прозаического дебюта. Оптимальная ситуация — наличие институциональной базы (журналов, издательств, премий...), интереса к прозе в обществе и отсутствие либо минимальная степень цензуры. По этой причине смог состояться прозаический дебют у «людей 20-х», хотя цензура с каждым годом становилась все жестче, — и не смог у тех, кто родился на десять, пятнадцать, двадцать лет позже, чей приход в прозу совпал с репрессиями, тотальной цензурой, войной.

Сегодняшним «тридцатилетним» в какой-то мере повезло. Ко времени их дебюта была отчасти восстановлена институциональная база — прежде всего «толстые журналы»; в обществе, уставшем от книжного фастфуда, затеплился интерес к серьезной прозе; наконец, несмотря на «тоску по цензуре», цензуры в «нулевые» не было. Но — кому больше дается, с тех больше и будет спрошено.

В свое время Максим Амелин (еще один «тридцатилетний» — правда, не прозаик, а поэт) написал: «Мне тридцать лет, а кажется, что триста».

Этот синдром — неиспользованных исторических возможностей — мучит и героев «Феса»:

«...Вот вам — не кажется, что к сорока годам вы прожили не одну жизнь, а несколько? Пять или шесть?»

Я пожал плечами, выдохнул: — Думаю, это свойство времени.

Она перешла на шепот.

— А сколько надежд, иллюзий у тебя было — это тоже свойство времени? Или ты никогда не думал, что мы будем жить по-человечески? Цивилизованно — как свободные люди? Не строил планов? Не ты ли пришел в отчаяние, когда понял, что ничего не вышло? Что история дала круг и мы вернулись к тому, с чего начали — в старое гнилое русло? И что нам делать с нашим опытом, таким «уникальным»? Таким «неповторимым»? Таким «историческим» — что? Никому он оказался не нужным. Ничего мы, чтобы не попасть на эту свалку, не сделали...» («Фес»).

«Тридцатилетние» — пока последнее в современной русской прозе *историческое поколение*, но оно же и первое поколение, остро ощущающее конец истории, ее истощенность в современном изводе, будь то законопослушная западная демократия или стабильная нефтекратия местного образца. И трилогия Глеба Шулпякова — возможно, наиболее честная попытка такой поколенческой саморефлексии, попытка осмыслить свой исторический — приобретенный во времена «зыбкости границ и неизвестности возможного» — опыт.

На этом стоит завершить разговор, отложив его продолжение, условно говоря, лет на двадцать, когда границы поколения «тридцатилетних» станут более определенными и состав его представителей — более каноничным. Тем более что с началом 2010-х «тридцатилетние» постепенно переходят в категорию «сорокалетних», а среди вчерашних «двадцатилетних» — все больше отметивших свое тридцатилетие. И, возможно, для них, как и для тех «тридцатилетних» 2000-х, только-только наступает время формулировать свой поколенческий миф...

Евгений Степанов

Эволюция души

В новой книге известного русского поэта из Литвы Юрия Кобриня представлено творчество разных лет — от 60-х годов прошлого века до 2010 года.

В сборнике напечатаны стихи, переводы поэзии живого классика литовской поэзии Юстинаса Марцинкявичюса, а также эссе об Арсении Тарковском, с которым Юрия Кобриня связывали долгие годы дружеского общения.

Завершают том статьи о творчестве автора, в том числе рецензия Даниила Чкония на книгу «Высокое давление», опубликованная в 2008 году в «Дружбе народов».

Палитра стихотворных жанров, в которых работает Юрий Кобрин, на удивление велика и разнообразна. Он пишет и венки сонетов, и верлибры, и моностихи, и двустихия, и фигурные, и заумные стихи. Форма, конечно, не самоцель для мастера, а только способ выразить состояние души.

Душа это главное.

Эволюция души поэта представлена в книге ярко и красноречиво. И в определенном смысле трагически.

В характерном стихотворении 1978 года поэт открыт нараспашку, радуется жизни, как ребенок, видит только хорошее.

Удивителен мир
и в разлуках, и в радостях встреч,
и в безумствах любви,
и когда ты от смерти на волос.

Лирический герой раннего Кобриня восторжен и окрылен идеями, замыслами, эмоциональными порывами. Словом,

Юрий Кобрин. Постскриптум. — Вильнюс: Благотворительный фонд поощрения русской культуры писателя Константина Воробьева, 2010.

«юноша бледный со взором горящим». Со временем он претерпевает существенные изменения.

После перестроечных лет интонация поэта резко меняется. Окружающий мир позднего Кобриня не только не удивителен, он одиозен и зачастую страшен. От лирических восклицаний поэт переходит к острой, социально-публицистической гражданской поэзии. Поэзии прямого высказывания. Стихи позднего Кобриня обнажены как исповедь человека, которому нечего терять. Он называет вещи своими именами. Белое — белым, а черное — черным.

Поэт — созданная Богом лакмусовая бумажка мироздания. Он не может ошибиться и показывает только то, что есть на самом деле. Что есть в сердце и вокруг.

Если ранний — лирический — Кобрин изобилует метафорами, сравнениями (вспомним замечательный верлибр: «пощелуй твои легки и упруги, как теннисные мячи, / стремительно касающиеся земли / и взлетающие в глубину-голубизну неба»), то сейчас он пишет жестко и нелюбезно, как мужественный и непродажный репортер из горячей точки. Тут уже не до метафор.

Пришли такие времена,
Кто крут, того и кнут!
Какая в том твоя вина,
Что ты остался тут?..
Что для себя завоевал?
Горбатился в цеху.
И проклинал лесоповал,
И тех, кто наверху.

Так Юрий Кобрин в стихотворении «Празднующим 9 мая» говорит о ветеранах Великой Отечественной войны, оставшихся в Литве. Он защищает русского ветерана, всем сердцем протестует про-

тив квасных патриотов, забывших, какой ценой была завоевана победа. В том числе и для коренного населения.

Вместе с тем в других стихотворениях поэт дает и беспощадный вердикт негативным тенденциям развития российского общества.

Не буду приводить много цитат. Напомню только двустилишие «Отношения», на мой взгляд, очень емкое, выразительное и горькое, как, собственно, все стихи поэта, написанные в XXI веке.

Бог не выдаст, свинья не съест.
Русский русскому lupus est.

Русский русскому волк. Разве это не точно сформулировано и не отражает реальное положение вещей в современном российском обществе? Разве это не характеризует тенденцию отношений между людьми (и не только русскими!) в постперестроечное время?

Обижаться на поэта не стоит. Нечего на зеркало пенять... Поэта надо услышать. И сделать выводы.

Особый разговор — переводческая деятельность Юрия Кобрин. Он один из немногих поэтов-переводчиков с литовского, который знает язык оригинала. Глубоко и всесторонне изучил культуру страны, в которой живет. Кобрин переводил Юозаса Мацкявичюса, Юозаса Некрошю-

са, Пранаса Ращюса, Рамуте Скучайте, Эдуардаса Межелайтиса, составил Малую антологию литовской поэзии. Вот уже несколько десятилетий в поле зрения Юрия Кобрин стихи Юстинаса Марцинкявичюса, творчество которого представлено в книге. Многие произведения этого литовского поэта Кобрин сумел сделать фактом русской поэзии. В этом, наверное, заключается высшее мастерство поэта-переводчика. Представлены и силлабо-тонические стихи Марцинкявичюса, и его верлибры.

Особенно запомнилось стихотворение «Пророк»:

Странник одной дороги.
Человек одного слова.

Остановив, спрашиваем:
где твои губы,
где твое сердце,
где твои глаза?

Чудак:
он указал на нас.

Поэты, как и пророки, отдают свои эмоции, свои лучшие слова обычным людям. Думаю, в этом кредо и предназначение не только Юстинаса Марцинкявичюса, но и замечательного русского поэта Юрия Кобрин. Книга «Постскриптум» тому подтверждение.

Елена Зейферт

Десять шагов Бога

«Читатель может сам переконструировать текст», — пишет автор в предисловии к роману, предлагая воспользоваться своеобразным навигатором по нему. Путеводителем служит оглавление, внут-

ри которого 5 сюжетных линий. Наиболее подробная из них, включающая в себя 19 разделов, — вторая. В первой линии — 5 разделов, в третьей — 9, в четвертой — 7, в пятой — тоже 7. Главные герои первых трех линий — соответственно диктатор по прозвищу Бабр (главки, пронумерованные 1.1, 1.2 и т.д.), «странное существо»,

Олег Клинг. Последнее утро Бабра. Роман. — М.: Школа радости, 2009.

уже почти не человек по имени Дерево и писатель с необычным, словно бы проглоченным именем Че...к (Человек). Четвертую и пятую линии составляют вставные новеллы и «своего рода лирические отступления нелирического характера».

Читатель, ориентируясь по нумерации, может сам прочертить свой сюжет и построить композицию романа «Последнее утро Бабра» и получить несколько интерпретаций одного и того же текста или даже пять вполне самостоятельных произведений (под разными углами зрения проявляющих неразрывную цельность как роман). Роман позиционируется и как книга на бумаге, и как E-book: «Этот роман создан как будто специально для интернета и напоминает виртуальное пространство», «Читатель, представь, что ты сидишь перед монитором, работаешь "мышкой", другими словами, листай странички...».

Читатель-соавтор оказывается внутри интеллектуального романа и одновременно — внутри некоего аналога мира, созданного по современным технологиям: словно внутри компьютерной программы. С каждым шагом, особенно неординарным, за спиной читателя и впереди его будут трансформироваться образы. Будут возникать новые дорожные указатели и рушиться пройденные ступени. Этот гибкий текст поощряет инициативу, устремление вперед.

Разбегающиеся линии романа Олега Клинга сходятся в финале. Сюжетные переплетения здесь напоминают схему метро, линии которого, не пересекаясь или периодически пересекаясь с отдельными другими, соединяются в одном месте, в центре полотна. Финал, в котором автор собирает всех героев, — это и номинальный конец, и смысловой центр книги.

Открывается роман масштабной картиной крушения «Нововавилона», «новой Атлантиды», — советской империи. «Рушилась-шаталась империя...»: сильные мира сего начали ее делить, простые люди «умирали от голода и ран, лезли от отчаяния в петлю», другие, кого более миловала судьба, продолжали жить, «жизнь текла-истекала», как и тысячи лет назад... Апокалипсическая картина распада СССР в романе показана с исторической изнанки, но Олегу Клиngu удалось включить это совсем еще недавнее про-

шлое в извечный поток жизни: на путч 1991 года в романе можно взглянуть как, к примеру, на восстание Спартака, увидеть эти исторические события в одном ряду.

Клинг отнюдь не ностальгирует по империи. Он ощущает и передает читателю планетарную пульсацию жизни. Вот волки потянулись в села и города, «говорят, в империи это случается каждый раз перед бедой»... Не пакт, не подписи нескольких человек решают судьбу империи, в природе все подчинено и соподчинено своим законам — к примеру, пикам активности солнца.

Тема агонизирующей империи возникает вновь и вновь — с помощью метафор, в основе которых противостояние по принципу «женское/мужское» (империя-самка — и ее правитель Бабр; королевская тигрица — и тигр-Бабр), «личность/несвободное общество» (Че...к — и имперский Парнас; кремлевские соколы — и мелкие птички; соколенок — и Кремль).

Дерево, Че...к и Бабр — центральные фигуры трех линий повествования, пересекающиеся между собой в ходе романа. Все они — необычные, другие, «странные». Дерево — «уже почти не человек». Автор постепенно приводит читателя к этой мысли с помощью сравнений («зачало, как будто он дерево, стоящее на ветру») и намеков (поначалу Дерево как знакомых узнает не людей, а деревья, хочет общения только с ними). И все же автор оставляет читателю возможность думать, что это просто человек с помутненным рассудком считает себя деревом. Диктатор Бабр — человек и тигр одновременно: видя тигра, герои замечают «внутри мохнатой громады мерцание человека». Бабр — королевский, царский тигр, отличающийся особой лютостью; он изредка появляется в Южной Сибири, Кайсацкой степи, Закавказье: эта справочная информация многократно повторяется в романе. Для автора география его обитания не случайна: Горбачев родился на Ставрополье в северо-кавказском крае, Ельцин — в Свердловской области...

Дерево провел долгие годы в психиатрической лечебнице, куда был упрятан как неугодный обществу. В самом начале 1990-х Дерево обретает не только свободу, но и уникальный дар читать мысли других людей. При нем можно думать

вслух, говорить про себя. Героям Клинга свойственно ассоциативное мышление, в наибольшей степени проявляющееся у Дерева. Череда странных ассоциаций характеризует сознание сумасшедшего или выходящего из долгого забвения человека. Дерево вспоминает слова, извлекающая их из памяти, но это память интеллектуала, эрудита, для которого важна не только оболочка, содержание, но и этимология слов.

Друг Дерева Вадим — фигура тоже «странная». Сначала даже возникает впечатление раздвоения личности у Дерева. «Двойник» появляется и исчезает, когда в нем есть необходимость: «Вадим, до сей минуты как бы и не присутствовавший, объявился в ухмылке». Возможно, Вадим выступает как прагматическая часть сознания Дерева, лишившегося способности практически мыслить. «Давайте учиться, давайте учиться чувствовать и переживать», — почти весело предложил Дерево. Вадим заскучал. Или вправду у него были неотложные дела, или он их выдумал, но, сославшись на них, он удалился». Но на самом деле здесь нет ни ситуации раздвоения, ни авторской мистификации: просто образ Вадима, попав в орбиту странного существа Дерева, также воспринимается неоднозначно.

Высокое имя другого героя — Человек — проглатывается, как в спешке нашего времени нередко проглатывается человеческое достоинство. «Кто будет произносить такое длинное и слишком торжественное имя?» Духовно близкие, соприродные персонажи — именно Дерево и Че...к. Для этого общественного типа в романе нет определения. Есть другой типаж — «приличные люди». Они «не победители», «вечные странники по жизни, перекати-поле», «всегда страдающие», «материал для истории, естество жизни и сподручный материал для тех, кто любит вершить историю». Еще в детстве Че...к понимал, что «не приспособлен к жизни», он другой. В разговоре с Вадимом Дерево признается, что раньше причислял себя к «приличным людям», но затем попытался переломить земную судьбу и стать иным.

Образ Че...ка отчасти автобиографичен. Этому персонажу, писателю и литературоведу, человеку скромному, раннему, жертвенному, Олег Клинг дарует и

часть собственной биографии. Че...к вырос в далеком степном городке, «закинутом на берег единственного в мире полу-соленого-полупресного озера» (безошибочно угадывается Балхаш), и уже давно проживает в Москве. У него, как и у автора, трое детей, двое из которых — близнецы.

Клинг словно наблюдает, считывает происходящее. То, что не замечает герой, замечает автор. Че...к «летел и не замечал черного, пропитанного грязью, бензином, машинным маслом, помоями снега-льда на тротуаре...». Это изнанка жизни: «не заметил стариков и старух, продающих старые зубные щетки, свои стертые пластмассовые протезы, золотые коронки, поломанные часы». Автор, конечно, видит не только изнанку. Автор создает ощущение пульсации мегаполиса, ритм чтения совпадает с ритмом большого города (Москвы), к тому же находящегося в состоянии упадка.

Даже если читать текст подряд, не экспериментируя с композицией, то и тогда многомерность и релятивность художественного пространства и времени будут очевидны. Конкретные московские улицы и дома обрисованы порой с историческим комментарием, но реальность ландшафта в романе относительна. Безбожный переулочек неожиданно превращается в Богоугодный; в самом преддверии лета, «как в первые дни зимы», идет снег. Физическое время-пространство переходит в метафизическое. Че...к наклоняется к полу, и на ковре зацветают цветы: Че...к оказывается в стране своего детства, на поле цветов. Существо по имени Дерево прорастает кроной и корнями на соседние этажи. Над полем цветов летит Че...к, летит маленький Бабр в образе тигра в веночке: в отдельных ситуациях герои словно переходят друг в друга, система персонажей колеблется.

Иногда автор объясняет причины аберрации восприятия. Мир видоизменяется в глазах человека, находящегося в пограничном состоянии, к примеру — влюбленного. Но чаще всего пластичность окружающей действительности — одно из необъяснимых проявлений особой условности этого художественного мира.

Условность здесь к тому же многослойна: ключевые события романа предвосхищены и зафиксированы в собственном романе-пророчестве писателем Че...ком,

и лишь затем герои попадают внутрь этого сочиненного одним из них и ставшего реальностью мира. Виртуализация здесь особая: мир «Последнего утра Бабра» реален по отношению к виртуальному пространству романа Че...ка и виртуален по отношению к действительности.

Ткань романа, рождаясь и бытуя, создает *течение*. Читатель без навигатора сам бы начал искать пути-дороги внутри романа, плыть по тем или иным излучениям.

Олег Клиг — русский писатель российско-немецкого происхождения. Национальная идентичность в творчестве может проявляться не прямо, а подсознательно. В рецензируемом романе состояние постоянной уязвимости и как следствие страх не в последнюю очередь связаны с боязнью остаться без корней, что и случилось с Деревом: «...это вся моя жизнь: родился — был мальчиком — ждал взрослого будущего, которое сулит наконец свободу и счастье, — учился-учился — мучился — вырос — ждал этого счастья и свободы, но так и не дождался: вырвали с корнем и бросили в дурдом».

Квартира Древа становится временным убежищем для «потерявших самих себя»; Че...к считает свою квартиру, «ласточкино гнездо», единственным местом для отдохновения, автор тщательно описывает внутреннее расположение и утварь «ласточкина гнезда». Но Че...ка внезапно постигает острое желание уйти из дома куда глаза глядят. Дерево тоже уходит из своей квартиры, причем навсегда, и все предметы интерьера рассыпаются в пыль. Так проявляется ментальная раздвоенность автора — немецкая привязанность к камерному миру дома и русское непреодолимое стремление к воле.

Русское в романе доминирует над немецким, и это объяснимо — роман написан православным человеком. Линия священника, страдающего особым видом гордыни (от осознания, что он «олицет-

ворение Божье»), пересекается только с линией Че...ка (их роднит мотив творения). Стремящийся к раскаянию, священник получает в пасхальную ночь от Бога в дар видение мерцающей далеким светом церквушки и, несмотря на препятствия, прежде всего мистическую непогоду («И снова дождь — тот дождь из детства — полился с бывшего неба»), израненный, добредает до нее. Из года в год на Пасху происходит великое таинство очищения. Священник совершает в заброшенном храме литургию, получая в помощники трех уголовников. Он очищается сам от налипшей на него грязи греха и спасает ближних. «Пасхой жили... Пасху ждали... И на Страстной неделе умирали и возрождались». Божья благодать доступна каждому, кто ее хочет и может принять.

Тема очищения, снятия вины проходит и через вставную новеллу — притчу о белом камне, сопрягаясь здесь с темой власти. Темы, пересекаясь, пронизывают разделы книги. Власть напрямую связана со свободой (свободы становится ровно настолько меньше, насколько больше становится власти), свобода — с жизненной усталостью (наступила свобода, но нет сил лететь).

Тема творчества в романе отражается в теме Творения, Бога. Че...к улавливает творческие импульсы от Бога и как Творец передает свои творческие импульсы чуткому, умеющему читать мысли Дереву. Олег Клиг фиксирует внимание на процессе творческого созидания и проблеме ответственности Творца за свое произведение: Че...ку важно писать так, чтобы «его и их — этих людей — жизнь не прошла бесследно».

По мнению Олега Клинга, «писатель рождается там, где умирает человек». Автор романа «Последнее утро Бабра» хочет быть писателем и остаться человеком.

Евгений Москвин

Песни на болоте

В 2009 году в ныне почившем издательстве «Вагриус» вышла одна из последних книг серии «Молодая литература России» — сборник рассказов «Курбан-роман» Ильдара Абузярова. На книге уже даже нет названия издательства и тираж минимальный — к большому сожалению, потому что это, кажется, одна из лучших (если не лучшая) книг серии.

Проза Абузярова разительно отличается от прозы «тридцатилетних» — Садулаева, Прилепина, Сенчина. В ней отсутствуют общественная направленность, социальная острота и, тем более, военная тематика, но зато есть сюрреалистический уклон в общечеловеческие ценности. Если в ней и есть стилизация, то она гораздо менее выражена, отчего остается впечатление, что читаешь что-то по-настоящему необычное.

На презентации сборника в «Булгаковском доме» одна из выступавших (видимо, критик) заметила, что манера Абузярова начала ее непомерно раздражать с первых строк, потому что там бесконечно повторялись одни и те же слова, типа «игрушки», «лягушки», «погремушки», и ничего не было понятно, но чем более она вчитывалась, тем более ее это увлекало. Вероятно, имелся в виду самый первый рассказ сборника, «Корильные песни». Абузяров вообще чаще отдает приоритет мелодии, интонации письма и почти не нагружает его информацией, описаниями обстановки и людей. Здесь это чувствуется наиболее явственно, так что у читателя неминуемо возникнет вопрос, о ком вообще идет речь в рассказе. Какой-то таксист везет девушку на свадьбу? Об этом догадываешься далеко не сразу — на первом месте стоит именно звукопись; Абузяров по-легкому «звенит» этими самыми погремушками-словами. В похожей манере написан и рассказ

«Подстилка из соломинок». Рассказ о любви. Автор, впрочем, всячески избегает остроты чувств и деталей, которые могли бы, что называется, пронзить читателя. Вместо этого просто порхает прозаическая ткань. Здесь и есть манера, идея. Ощущение любовного драматизма осталось во мне совершенно особенным образом — рассказ будто нырнул в меня точно на четверть глубины и вынырнул, остался только чуть печальный пузырек воздуха... сложно даже сказать, почему остается такое конкретное, явственное ощущение — легонькой грусти. Очень точно подобраны слова? Тебя не трогает по-настоящему, однако четкость впечатлений, которые оставляет «Подстилка из соломинок», доказывает безусловную авторскую удачу.

Вообще говоря, «игрушечность» персонажей свойственна большинству рассказов и достигает своего апогея в «Сокровенных желаниях». Перед нами и не люди в полном смысле слова — девочка Ляйне, Арве, писатель Оверьмне бесконечно обсуждают поездку в несуществующую Вышнюю Финляндию... которая, как выясняется, не существует и в рассказе — герои и сами начинают упрекать друг друга за фантазии, за вранье, за подаренный ластик, который не стирает... и все это растянуто на страницы и страницы, мастерски написано, однако за бесконечными повторениями и абсурдом рассказ доходит почти до бессмысленности. Он так и заканчивается — «игрой в упреки и ластик»; настоящий эпизод из песочницы, в которой играют не дети, а непонятные существа. *Куклы.*

Совсем иную форму «кукольность» принимает в рассказе «Баскетболисты». Абузяров описывает умственно отсталых детей, инвалидов с физическими недостатками. Этот рассказ лишен «красивостей», художественности. Внимание жестко заострено на самих физических недостатках персонажей и подробнейшем описа-

нии издевательств друг над другом в школе-интернате. Подчас это вызывает даже тошноту, однако за схематичностью рассказа она быстро пропадает: одному инвалиду двинули по башке так-то, другому — подстроили такую-то гадость (его же сверстники). У первого мать ходила на рынок, у другого — в магазин; потом они встречались и обсуждали неполноценность своих детей — что-то в таком духе, но родители не выказывают к детям никаких чувств. И Абузяров — тоже — не просто не испытывает сострадания к персонажам, но в полном смысле слова хватается героев за волосы и нещадно бьет головами об пол — подолгу стучит, подолгу, на всем протяжении текста, пока, наконец, не убивает одного... у которого, по сюжету, было как раз меньше всего недостатков.

Вот и все. При этом — никакого ощущения безысходности, одна только бесцветная искра счастья — здоровенный ребенок, двухметровый Боря, бросил мяч в баскетбольную корзину, попал и выиграл приз — телевизор.

Надо сказать, «Баскетболисты» единственно выбиваются из всего сборника — как раз своей грубой натуралистичностью и реализмом. Так-то книга оставляет впечатление цельности. И заключается цельность прежде всего в мягком отходе от реализма — в ту или иную сторону, почти каждый раз неожиданную. Отход этот сделан метафорами и своеобразной плавучестью текста. В прозе Абузярова слышатся самые разные авторы: то Кортасар, то Цвейг, то вдруг построение и мотивы начинают напоминать японскую классику: Акутаву и Абэ Кобо... и даже Кавабату. Но чаще это только едва уловимые отголоски.

Несмотря на то что под многими названиями рассказов в скобках сделана приписка «из цикла такого-то» и нет ни одного, где бы этот цикл повторялся, рассказы не разрозненны. Их можно объединить в группы — по три, по четыре рассказа, написанных примерно в одной манере, а затем обнаруживается, что каждая группа как бы вытекает из предыдущей — с нарастанием глубины.

И только в «Баскетболистах» напрочь отсутствует мелодика прозы, а вот в других рассказах в дополнение к звукописи и «погремывающим» словам Абузяров часто добавляет музыкальные образы, пе-

сенки, ритмические стихи (каприсы Паганини в рассказе «Курбан-роман», стихи — в «Муках творчества» и т.п.)... ну и вдобавок его герои — по сюжету — ставят пластинки, слушают и обсуждают музыку. Чаще она служит фоном и сливается с манерой письма.

Иная ситуация с именами главных героев. Русских имен либо нет совсем, либо крайне мало. Автор либо выдумывает имена (вроде девочки Ляйне или писателя Оверьмне), либо использует иностранные: Сантьяго, Пауло в «Муках творчества», Венцеслав, Стасик, Юсик и др. в «Курбан-романе», Кюллики, Суло, Тайсто в «Возе душных кошмаров», Августа, Эвелина — в «Почте»... Вместе с тем они чаще не несут в себе никакой культурной нагрузки, и колорит той страны, в которой вроде бы происходит действие, не рисуется. Другими словами, в «Муках творчества» я не увидел Испании, а в «Курбан-романе» отсутствуют обстановка и традиции Польши; имена условны, замысел автора — тщательно абстрагироваться, чтобы более доходчиво показать суть человеческих ощущений и отношений.

Если же автор рисует какой-либо восточный сюжет, то он появляется спонтанно и логически почти не связан с тем, что происходит в реальности. Таков, к примеру, рассказ «Бедуинка». Сначала идет описание отношений с женой, о том, что герой то сходится с ней, то расходится, что отношения клонятся к закату... Однако главным в рассказе является эпизод в зубоврачебном кабинете. Из совершенно обыденного события — зуб заболел, и его надо удалить — разрастаются непомерные литературные галлюцинации. Чего только не кажется герою, пока ему сверлит зубы врач — женщина, которую он называет «бедуинкой». Собственно, автор и хотел создать комический эффект, а не ощущение страха (от которого могла бы как раз возникнуть «подвижность» и неточность образов). Красная луна, которую представляет в пустыне главный герой, не имеет связи вообще ни с чем, однако именно она больше всего и запоминается.

И все же Абузярову надо помнить, что, если замышляешь грубые неточности и по этим законам развиваешь весь текст, где-то надо, наоборот, быть *абсолютно точным*. Вот, к примеру, момент, когда

герой уже выходит из врачебного кабинета и видит других пациентов. Медицинские карты у них между колен сравниваются с саблями. Это одна-единственная деталь, а не миллион, которые были раньше, и здесь нужно быть абсолютно точным, выстрелить и попасть в цель, а Абузьяров как раз таки допускает промах.

Нечто похожее наблюдается в рассказе «Лунная белизна бумаги», который продолжает тему галлюцинаций и сновидений. Расплывчатость, аллюзии, круговерть — после того, как Пако остается ночевать в комнате своего друга, намеренность и расплывчатость образов напоминают новеллы Цвейга, однако в «Белизне» отсутствует пронзительность чувств. Герой выпрыгивает из окна комнаты в поисках листа бумаги, который сам же и выкинул, но возникает ощущение, что он медленно плывет по воздуху и опускается на землю. Непонятно, то ли он спит, то ли бодрствует по сюжету, то ли засыпает потом — все накручено, туманно, это замысел, который выполнен просто замечательно, однако опять возникает момент, когда надо быть точным. Вот она, чисто описательная ошибка детали: «Капли влаги сползают по позвоночнику Гильермо и по ветке, на которую взобрался Пако». Как можно увидеть капли на позвоночнике — при дожде, темной ночью, с улицы через стекло?

В рассказе «Мавр», напротив, нет никаких неточностей и повествование выстроено идеально и четко, — хотя потом выясняется, что почти все события — сон главного героя. Перед нами чисто сюжетный рассказ, который по безэмоциональной стилистике сближается едва ли не с детективной прозой. Смысл его, к сожалению, глубоко вторичен, а финал разочаровывает. В сцене, когда студент начинает играть со своим преподавателем в шахматы, настолько читается новелла Борхеса «Сад расходящихся тропок», что все оказывается едва ли не загубленным.

В рассказе «Почта» сборник наконец-таки сходится в одну точку. И по стилистике, и по манере «отвлеченных имен», и по сновидческой образности, и по фоновому колориту осени... рассказ как будто взял все самое хорошее, все достоинства из каждого другого — в таких идеальных пропорциях, что в результате... нет ни одного лишнего слова! И снова это ощущение легкости, ажурности, но и

«форменности», которая характерна для кленового листа... и такими неожиданными являются в «Почте» японские мотивы!

Настоящей глубины проза Абузьярова достигает в рассказе «О нелюбви». В нем, как мне кажется, и заложены важные мотивы и те направления, в которых автору нужно двигаться. Этот рассказ (и еще несколько других) пронизан неким однородным мотивом сравнений — в данном случае, каждый образ прикрепляется к морскому образу, зачастую даже как бы сводится к нему и становится чуть навязчивым... За всей расплывчатостью, рассуждениями и медленным дрейфом, неясностью автору удивительно тонко удается нащупать грань между любовью и нелюбовью, а еще вернее — схватить искры любви в море нелюбви. Они явственно отпечатываются за общим течением прозы и тканью ощущений и эмоций.

И как после этого все хорошо и точно переходит в обыденность, которая замещает нелюбовь.

Здесь и в рассказе «Бербер» — настоящие человеческие отношения и чувства. И в «Бербере», в отличие от многих других рассказов, к ним прибавляются еще культура, традиции, религия и социальные проблемы. Этот рассказ — отход от игры и «словесного ажюра». По ходу чтения часто возникает впечатление, что эмоции героев долетают до тебя как бы через стену, которая в то же время чуть прогибается, как глухая резина, и в конце концов успокаивается — вместе с Абдулом, узнавшим о смерти чужой жены, к которой у него была симпатия, и поначалу пришедшим в дикое волнение. «С помощью этой «стены» в рассказе отображены законы и дух мусульманского мира, мировосприятие, течение эмоций. Герои так до конца и остаются масками, но благодаря им и возникает культурное обобщение.

В сборнике, пожалуй, и нет рассказов, равных «Берберу» по социальной значимости. И это именно то русло, в которое автор двинулся в своем романе «ХУШ». Общественная направленность требует времени, постепенного созревания и терпения. Но уже и в «Курбан-романе» Абузьярову как будто удается перепрыгнуть многих своих современников. В его прозе отсутствует сухость, она очень колоритна, гармонична и читается с большим удовольствием.

Какой ты мне бог...

Рубрику ведет Лев Аннинский

Все было исправно: и свой шойхет, и свой шорник, и модистка, и кантор, и аптекарь, и банкир, и балагула, и свой каменотес — все было в местечке.

Рада Полищук. Семья, семейка, мишпуха

Все в местечке исправно? А если до местечка доберется так называемая Большая История с ее безумствами? Вдруг каменотес в порыве классовых чувств возьмет за булыжник, оружие пролетариата? А бывший шойхет ножиком для убоя скота вспорет сейф банкира? А шорник обличит кантора в знак протеста против религиозного дурмана? А аптекарь начнет взвешивать динамит для бомбы? А модистка, вступив в тайную организацию революционеров, положит браунинг в муфточку и пойдет выслеживать начальство? А балагула, напившись с горя, пустит свою кобылу вскачь и собьет насмерть проходящую по улочке женщину, которая, падая, успеет прикрыть собой и спасти от гибели размечтавшегося мужа? И все равно они все — мишпуха, то есть семья, то есть, говоря в их смеющейся интонации, — семейка?

Да. Семья. Семейка. Мишпуха. Еврейское местечко. Еврейское место в мироздании. Еврейское самоощущение, даже если нет им места в обезумевшей истории, которая расшвыривает их по обочинам реальности.

А они все равно остаются евреями.

Что их держит?

Этот вопрос незримой (или зримой) сверхзадачей брезжит во всех исследованиях еврейства, от Гершензона до Бердникова (если брать только новейшее время и только русскую иудаику), — это тот ряд, в который становится теперь повесть Рады Полищук. И она этот вопрос ставит вполне зримо.

Итак, что держит вместе пестрое сообщество, называемое то семейкой, то всемирным заговором, то скитающимся братством, то мифическим иллюзионом?

Вера? Да какая там вера, когда человечество впадает в атеизм, куда более яростный, чем любая вера, и самый яркий революционер XX века говорит о своем еврействе с демонстративным пренебрежением, если не с издевкой? Но ведь потому и говорит, что при всем своем отрицании иудейских воззрений — неистребимо остается евреем?

Язык? Да какой язык-то? Когда еврейство в Германии говорит на еврейски окрашенной версии немецкого, а в России — на еврейски окрашенной версии русского, — и потребовалось почти героическое упрямство уроженца местечка Лужки¹, чтобы раскопать в ветхих книгах давно окаменевший иврит и предложить евреям всего мира сесть за парты и учить язык — с нуля.

¹ Элиэзер Бен-Иегуда — «отец современного иврита», отдавший жизнь возрождению иврита в качестве современного разговорного языка, его развитию и обогащению.

И сели учить! И выучили! Потому что и на выжженном языковом пепелище оставались — в неистребимом самоощущении — евреями.

Что уж говорить о месте, в котором можно было бы собраться и жить кагалом? Химерический Биробиджан вспомнить? Латиноамериканские и африканские грезы сионистов? Это теперь в Палестине организовалось, наконец, такое место, и такое государство... да и то стоит под ударом. А до этого в тысячелетнем галуте — когда Вечный Жид обречен был до скончания веков скитаться, — не бездомье ли делалось чуть не главным знаком еврейства? Когда в местечке мало кто выезжал дальше Умани и все в миражном бреде обещали друг другу непреходящий Иерусалим?

Поневоле закрадывается мысль, что сам знак еврейства, или, если угодно, клеймо, ни от каких реальных признаков не зависящее и никаким родством уже не подкрепляемое (ибо никакие матери-бабушки и никакие родословные предания «по женской линии» не удержали бы нитей родства в чресполосно выворачивающейся мировой истории, а в российском варианте — в эпохе революций), — так не состоит ли миссия еврейства в мировой культуре и истории именно в том, чтобы в этом хаосе как раз быть ориентиром постоянства, маяком нерушимости, примером верности себе — даже при полном опустошении окружающей реальности?

Скажем, так: Всевышний, попуская человечество безумствовать в беспамятстве (что тоже весьма интересно в масштабе Вселенной), избирает какой-то один народ в качестве маяка памяти. Кого избрать для такого испытания — наверное, уже дело вселенского случая. Но избранный сидит там, где его мало кто видит, и не озабочен ничем, кроме одного: он *помнит*.

А если надо ему что-то сделать и чем-то озаботиться, то жена берет его за руку и ведет как ребенка, к тому же хроменького, не умеющего ничего, кроме одного: помнить и думать.

Нечто полуанекдотическое в этом, конечно, есть, но исходит юмор от самих евреев и светится — в русской ойкумене — даже и в самих фамилиях, произошедших от прозвищ. Откуда все эти Дворкины, Ривкины, Хенкины, Хавкины, Хайкины? А от ситуации, когда в лавочке сидит жена: Двойра, Ривка, Хана, Хава, Хая — а мужа местечко знает только по имени жены, за мощными плечами которой он сидит где-то в глубине дома и, раскрыв Тору, думает. А на смешную фамилию ему наплевать, как и на домашние прозвища, виснувшие на воротах.

Рада Полищук артистично обыгрывает комизм этой ономастики. Женщина может получить библейски-прекрасное имя Генеся-Рухл — в семейке ее все равно переименуют в Геню. Если не в Геньку. И природнившуюся гойку с гордым именем Евгения — в такую же Геньку. Человеку, может, жить остается считанные месяцы, у него за плечами — десятилетия трудов и десятки наград, однако слышит он свое уважаемое имя в следующем контексте:

— Борух! Бобик! Борюсик! Борик! Иди к нам, мы ждем тебя!

Где «ждем»? Ну конечно же на будущий год — в Иерусалиме! Хотя **до** будущего года Бобик, наверное, не доживет, а Иерусалим останется для них для всех туманной грезой.

Сквозь юмор местечка слышится в прозе Рады Полищук трубный глас исхода и вечная неизбывная боль — то ли от несбыточности грез, то ли от сознания того, какой жребий выпал евреям на этой земле.

Перед утренним пробуждением — всегдашняя необъяснимая тоска, «даже солнечным утром в разгар лета».

И слезы, которые просветляют душу, а объяснить, отчего тоска и боль, — невозможно: «ни дня, ни ночи, ни жизни, ни смерти — только мука неистребимая».

Как разгадать тайну, которую тысячи лет хранят евреи, «нося в себе и беды, и победы, и песни еврейские, и плач».

Сквозь узнаваемые, утепленные юмором подробности конкретной семейной хроники — какой-то неземной, запредельный гул. Или наоборот: сквозь тысячелетний гул легенд — такие странно-близкие отзвуки «молитвы моего деда».

Сложная партитура, контрапункт мелодий, подхватывающих и подсекающих

одна другую. То ли благодарение Всевышнему — верность Договору, до которого Он допустил людей, то ли зудящее желание этот Договор оспорить и спросить со Всевышнего за все несчастья, которые Он обрушил на людей.

Он?!

А может, не Он, а сами люди, Его признавшие?

«Ты так старался, чтобы я утратил веру, чтобы из уст моих перестала звучать хвала Тебе, но знай: Тебе не удастся, этому не бывать вовек»...

Поразительное место в диалоге евреев со Всевышним. Если это Он создал людей и внушил им веру, — то диалог законен. Если же это они, люди, выносили Его в своих сердцах и свои же сомнения Ему вменяют, то, значит, это их, людей, природа обращается в такой воображаемый диалог, и это их, людей, инстинкт самосохранения избирает их для фиксации преемства во Вселенной, где царит предательство и подстерегает людей безумие.

В любом случае драматургия протеста подпирает драматургию верности.

Рада Полищук не объясняет читателю, почему в роковой час жители покидают родное местечко и уходят... нет, не в Иерусалим, а... куда-то в мироздание. Что гонит их? Какая-нибудь зеленая банда? Что ведет? Какие-нибудь революционные идеи? Что манит? Манна небесная в лице Советской власти, обещающей им светлое будущее?

Нет ответа.

Эпоха «перемены мест» уложена Радой Полищук в реплику героини, матери троих сыновей, потерявшей мужа уже на этой, на Великой Отечественной войне.

— Какой он мне Бог, такая я ему еврейка.

С этого момента, то есть с этой предсмертной реплики, с переходом от первой части повести ко второй меняется стиль, и из легендарного простора, в котором резонирует гулкое эхо веков, мы попадаем в современную постсоветскую реальность, которую с грустной иронией и веселой горечью воплотила Рада Полищук в других своих книгах («Одесские рассказы, или Путаная азбука памяти», «Жизнь без конца и начала», «Пасынки судьбы», «Суссана с двумя С», «Роман-мираж», «Любить хочется»).

Спор о судьбе еврейства переходит в новую тональность.

— Евреи, русские, мне плевать и на тех, и на других! Ненавижу евреев!

— За что? — переспрашивает дочку Борух, он же Борюсик, заслуженный советский пенсионер.

Дочка отвечает коротко и ясно:

— За то, что евреи! За то, что из-за них я еврейка!

Пункта пятого в анкетах нет. Обозначения национальности в документах нет. И даже погромов — о, небо! — нет. А вопрос о том, зачем евреям оставаться евреями, по-прежнему рвет души.

И если в ауре духовного Иерусалима им все равно, где пребывать на этой грешной земле, ибо, где бы они ни были, — они «езде», — то почему бы и внучке Боруха не сменить место прописки — она «стремительная и свободная рыба-птица, ныряет, летает и плавает, где вздумается». И перекрещивается из иудаизма в христианство...

Галюня становится Ксенией.

И в тот же момент ее брат-близнец, в семейке носивший ласковое имя Колюня, берет себе библейское: Арон.

Так Колюня и Галюня обозначают новые координаты еврейского счастья-несчастья: Арон и Ксения (между прочим, имя-то не русское, а греческое и означает иностранку).

Вечный зов: На будущий год — в Иерусалиме! — приобретает паспортные очертания: подавай документы, покупай билет и дуй в Израиль!

А что там? Историческая родина?

— А под Уманью — не твоя историческая родина? — увещевает Колюню Борух. — Вот куда тебе следует репатриироваться, если для тебя так важны твои еврейские

корни!.. В этой земле лежат все твои родственники, убитые и замученные бандитами в начале двадцатого века и расстрелянные немцами в сорок первом году. При чем тут Израиль, я тебя спрашиваю?!

Смотря какой Израиль, — можно было бы ответить на этот овировский вопрос.

Можно ответить, что, если еврей, мобилизованный в 1941 году в Красную армию и погибший от немецкого снаряда, пал за дело, которое в его судьбе «ни при чем», все его еврейское счастье осталось там, на дне воронки.

А воронка на месте взрыва рейсового автобуса в Иерусалиме (не духовном, а реальном) лучше? Воронка, на дне которой остались лежать родители тех приемных внуков Боруха, которых взял на воспитание его сын Арон, он же Колюня?

Так какая воронка роднее?

А на этот вопрос ответ зависит... то ли от зоркой воли Всевышнего, то ли от слепой логики «исторического процесса».

Если среди иерусалимских воронок маленькое еврейское государство устоит под напором то ли арабского прибоя, то ли мирового хаотического океана и евреи, скитающиеся по чужой земле, обретут наконец свою, — эта земля положит конец их скитаниям (и станет похожа на маленькую западноевропейскую Бельгию, как злословили политики в первые десятилетия существования Израйля).

Теперь, когда столица маленькой Бельгии объявлена центром всего Евросоюза, — шутники могут переменить тон: а ну, как Израйлю суждено не просто устоять, но сделаться центром некоего ближневосточного союза народов — тогда и евреи растворятся в этом новом «империуме», и останется от евреев одно только имя.

Впрочем, в пору скитания у них и было — только имя.

Тогда уж не на них, а на каких-то других изгоев падет избрание: стать мировыми скитальцами.

А повесть Рады Полищук останется яркой художественной вехой памяти о той поре, когда у евреев и впрямь не было ничего, кроме памяти об Имени.

Если же не устоит маленькое государство, зацепившееся за берег Средиземного моря, и рок бросит евреев продолжать вечное скитанье по дорогам Истории, тогда повесть Рады Полищук останется острой художественной репликой в вечном диалоге:

— Какой ты мне Бог...

Summary

VLADIMIR NECKLYAYEV. Vera's Home-Coming.

This long short story was written in 2008, when there was still two years till December, 2010, and V. Necjcklyayev himself has been neither the leader of the drive «Tell the Truth» nor a rival of the present president at the elections but just one of the best-known Belorussian writers and the head of Belorussian PEN-center. Half-detective «realistic surrealism» of the story doesn't lay claim either of today's regime exposure or criticism of the opposition. The author is looking inside trying to understand what is going with the nation and the national character of his compatriots within and outside Belorussia.

Lithuanian poetry in translations of GEORGIJ EFREMOV and ELENA PECHERSKAYA is presented by lyrics of the spiritual leader of the Lithuanian people BERNARDAS BRAZDZIONIS who lived in the USA the most part of his life and also of the wonderful poet and translator YONAS STRELKUNAS who used to be our author and who, alas, passed away last year.

ELENA CHUMAYEVA. In a Small Hospital Next to Moscow.

«I'm opening a tiny container with an artificial crystalline lens, taking it with the micropincers and putting it in the eye cavity. With one motion the lens surprisingly goes in its place. The tension in my hands and mind drops to the zero mark. It really reminds the devastation after the culmination of the love act»

ULVI MEKHTI MAMEDOV. Abroad.

«A rare Azerbaijanian remembers today when the last train, the last plane, the last bus started from Azerbaijan to the neighbouring republic of Armenia,» — thus begins his «travel notes» Azerbaijanian cinematologist and film director Ulvi Mekhti Mamedov who after a long interval did accomplish a roundabout trip to Armenia to take part in the Fest of Turkish Cinema and told of his impressions with wit, keenness of observation and — which is most important — kindness.

ALEXANDER DJUMAYEV. An Attempt to Comprehend Incomprehensible City.

«The real Bukhara, Bukhory Sharif, Noble Bukhara, is concealed, coiled up inside, inaccessible for every- and anyone; it is impossible to comprehend it acting on impulse Having undergone many ordeals on its historical way Bukhara has worked out its forms of cultural protection. The city is opening itself little by little, slowly, gradually». Our regular author Uzbek art critic A. Djumayev is setting ajar for us the mysteries and peculiarities of this unique city.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
В 2011 г.
распространением журнала занимается
агентство «Роспечать».
Ищите «ДН» в его каталогах.
Наш индекс 70250

Редакция не имеет возможности рецензировать и возвращать рукописи.

Сожаеем, но редакция нашего журнала не имеет возможности рассматривать рукописи, приходящие электронной почтой.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию, указанную в выходных сведениях журнала.

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Дружба народов» обязательна.

Технический редактор Наталья Кузнецова

Верстка Елены Жирновой

Свидетельство о регистрации № 73 от 14.09.90 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

Свидетельство о регистрации товарного знака № 288681

Зарегистрировано в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания РФ 12 мая 2005 г.

Адрес редакции: 121827 ГСП Москва, Г-69, ул. Поварская, 52.

Телефоны: главный редактор, заместитель главного редактора — 691-62-27, заместитель главного редактора (производственные вопросы) — 695-52-03, зав. редакцией — 691-62-27, отдел прозы — 691-85-10, отдел поэзии — 691-63-63, отдел публицистики — 691-05-09, отдел критики — 691-64-50, факс: 691-63-54.

E-mail: dn52@mail.ru, <http://magazines.russ.ru/druzhba/>

Сдано в набор 20.01.11. Подписано в печать 21.02.11. Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆. Печать офсетная. Усл.-печ. л. 19,60. Усл.кр.-отт. 20,30. Уч.-изд. л. 22,05. Тираж 2500 экз. Заказ 577. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ОАО «Издательский дом "Красная звезда"». 123007, г. Москва, Хорошевское ш., 38. <http://www.redstarph.ru>